

*НОВЫЙ  
Журнал*

88

*THE NEW  
REVIEW*

**THE  
NEW REVIEW  
Новый Журнал**

---

*Основатели — М. Алданов и М. Цетлин*

*С 1946 по 1959 редактор М. Карпович*

*С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев*

*Двадцать шестой год издания*

Кн. 88

НЬЮ ИОРК

1967

РЕДАКТОР: РОМАН ГУЛЬ  
СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

*NEW REVIEW, September 1967*  
*Quarterly, No. 88*  
*2700 Broadway, New York, N. Y. 10025*  
*Subscription Price \$9. — for one year*  
*Publisher: New Review, Inc.*  
*Second Class Mail postage paid*  
*at New York, N. Y.*

## О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
<i>Н. Ульянов</i> — Сириус . . . . .	5
<i>И Чиннов</i> — Стихи . . . . .	32
<i>Ив. Бунин</i> — Записи . . . . .	35
<i>И. Елагин</i> — Современная баллада . . . . .	38
<i>Ю. Кротков</i> — Д. Д. Т. — Инженеры чел. душ . . . . .	40-49
<i>В. Злобин</i> — Стихи . . . . .	61
<i>А. Величковский</i> — Таксист . . . . .	63
<i>О. Ильинский</i> — Стихи . . . . .	72
<i>Г. Панин</i> — О русском акrostихе . . . . .	75
<i>Странник</i> — Стихи . . . . .	104
<i>В. Роу</i> — О символике А. Белого . . . . .	107
<i>В. Перелешин</i> — Стихи . . . . .	113
<i>Ю. Офросимов</i> — Рифмованные догадки . . . . .	114
<i>Н. Моршен</i> — Стихи . . . . .	123
<i>И. Чиннов</i> — Поздний Мандельштам . . . . .	125

### ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>А. Левитин и В. Шавров</i> — Очерки по истории русской церковной смуты . . . . .	138
<i>А. Н.</i> — Ленин . . . . .	170

### ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>С. Пушкарев</i> — Россия и США . . . . .	185
<i>Г. Гинс</i> — Временное правительство и большевизм . . . . .	222
<i>В. Зернов</i> — Из глубины . . . . .	239
<i>Р. Гуль</i> — Книга Светланы . . . . .	251
<i>От редакции</i> — Г. В. Вернадский . . . . .	263

### БИБЛИОГРАФИЯ:

*Хью Маклейн* — S. Karlinsky. M. Cvetaeva. *Н. Берберова* — S. Karlinsky. M. Cvetaeva. *А. Небольсин* — В. Вейдле. Рим.  
*Р. Гуль* — С. Аллилуева. Б. Л. Пастернаку. *Г. Адамович* — Ю. Иваск. Хвала. *К. Померанцев* — Z. Schakovskoy. *La folle Сюю. Г. Глинка* — И. Елагин. Косой полет. *П. Дебрецени. L. Pedrotti, J. Sękowski. С. Зеньковский* — Н. Ульянов. Происхождение украинского сепаратизма. *Т. Бирд* — G. V. Florovsky. *С. Волин* — F. Schatten. Communism in Africa. *Ю. Иваск* — F. Ingold. Schwarz auf Schnee. *R. Gustafson. The Imagination of the Spring.* О. Мандельштам. Собр. сочинений. Том II. *С. Карлинский* — Н. Моршен. Двоеточие. — *Письма в редакцию.*

## ОТ РЕДАКЦИИ

Отмечая в этом году 25-летний юбилей «Нового Журнала», редакция не может не выразить свою большую благодарность давнему другу «Нового Журнала», Израилю Григорьевичу Раузену, под техническим руководством которого «Н. Ж.» выходил все эти годы, сначала в типографии братьев Раузен, вместе с покойным Лазарем Григорьевичем, а потом у Н. О. Bullard, где И. Г. состоит директором иностранного отдела — Rausen Language Division.

Р е д а к ц и я.

PRODUCED BY RAUSEN LANGUAGE DIVISION  
150 VARICK STREET. NEW YORK, N. Y. 10013

## СИРИУС

В царском поезде, несмотря на привычный распорядок, не было, на этот раз, приятного расположения духа прежних поездок. Государь не показывался. Он курил, читал по-французски Юлия Цезаря, и Долгорукий, зайдя к нему в кабинет видел строки подчеркнутые карандашом: «Построив войско в три линии, он быстро прошел восемь миль и достиг неприятельского лагеря, прежде чем германцы успели понять в чем дело. Их все сразу ошеломило: быстрота нашего наступления, отсутствие своих и невозможность за недостатком времени, посоветоваться друг с другом и взяться за оружие; в смятении они не знали, что лучше — вывести ли войско против неприятеля, защищать ли лагерь или спастись бегством».

Когда пришло время обеда, император не захотел выйти в салон-вагон.

— У меня сегодня кашель, Василий Александрович.

Ему был накрыт стол в купэ.

В салон-вагоне, в отсутствии императора, горячо обсуждалась причина внезапного отъезда. Все знали, что первоначально он был назначен на первое марта и полагали, что при теперешнем тревожном положении в Петрограде царю нельзя было уезжать далеко от столицы. Смущал не столько ропот на недостаток хлеба, сколько думские речи и зловещие рапорты генерала Глобачева, начальника петроградского охранного отделения.

И во дворце неблагополучно. Воейков, явившийся чтобы проститься с наследником, застал его в постели, с покрасневшим лицом, с шеей повязанной белой фланелью. У Алексея Николаевича началась корь, занесенная во дворец Васей Макаровым, воспитанником Первого Кадетского Корпуса, приглашенным поиграть с цесаревичем. Слегли, также, три великих

княжны и воспитатель Жильяр. Штакельберг доказывал, что преждевременный отъезд в Ставку не случаен; не мог же государь так просто, без важной причины, оставить больных детей и выехать за неделю до назначенного срока. Тут что-то есть! У его величества — какой то план.

— Никакого плана, — пробурчал Нилов.

Нарышкин и Граббе молчали. Один Воейков был весел. Ему еще в Царском Селе смертельно надоели разговоры о приближающейся катастрофе. Дворцовый комендант, сколько ни силился, не мог себе представить, каким образом она могла бы произойти. Монарший гнев, немилость, отставка — это понятно и возможно. Но он давно решил, буде с ним такое случится, стойко перенести удар, облобызать царскую руку, удалиться в имение, заняться «Кувакой», а там видно будет... Но «все-российская катастрофа» казалась формулой придуманной со злым умыслом и нарочно затуманенной наподобие «категорического императива». Последние дни он просто раздражался если в его присутствии говорили о «могущих последовать событиях». Он искренно жалел, что императрица и великие княжны не едут сегодня с ними; тогда бы и переезд Нини в Могилев не бросался в глаза. В своем купэ он вез картины и вазы для украшения особняка на Днепровском проспекте, купленного и отделанного для предстоящего переезда жены.

— Не ломайте головы, господа; по приезде в Ставку все прояснится. Алексеев сообщит нечто важное государю, либо государь призовет Алексеева и облечет новыми полномочиями для умиротворения Петрограда.

Утром проснулись в Смоленске. За окнами холодно, ясно и ветрено. Чаепитие вышло хмурым. Мало разговаривали. Государь опять ушел к себе и до самого Могилева читал Юлия Цезаря.

В Могилев прибыли в три по полудни.

На платформе, как всегда, почетный караул, толпа генералов, вернувшийся к исполнению обязанностей, недолечившийся и все еще больной Алексеев. Государь вдруг понял, как он отвык от всего этого за два месяца и как надоели серые шинели, папахи, военные автомобили. Даже знакомая дорога

к губернаторскому дому показалась грязной, поганой, облезшей. Только пулеметы в чехлах на крыше генерал-квартирмейстерского особняка, похожие на телескопы, устремленные в небо, напоминали о важности дела ради которого собралось столько важных особ в этот глухой городок. Генерал Алексей, проводив царя до покоев, хотел удалиться, но государь предложил ему сесть и провел с ним наедине целый час.

Штакельберг многозначительно подмигивал: — Разве я не говорил, что так будет?

Но когда Наштаверх вышел, узнали, что царь расспрашивал его о здоровье, о том как лечился и какая погода в Крыму.

\*

В знакомый губернаторский дом государь вошел, как в забытую усадьбу. Все осталось таким, как было, но от всего веяло утратой — от пустых комнат, от спальни, где в углу около камина так и стояли две походных кровати. Вспомнил как на одной из них каждый вечер, перед сном, щебетал цесаревич.

Николай зашел в его комнату и сидел там, глядя на его безделушки и фотографии стоявшие на столе, на подоконниках, развешенные по стенам. Где то похлопывала незакрытая на защелку форточка. Вспомнилось, как в детстве читал сказку братьев Гримм о девочке брошенной отцом в лесной избушке и принимавшей хлопанье подвешенной к двери дощечки за удары топора, которым будто бы работал отец в лесу.

Позвал Терентьича и велел закрыть форточку. Тот доложил, что все форточки закрыты. Потребовал смотрителя здания, сходили на чердак, осмотрели весь дом — ничего не нашли. А форточка хлоп да хлоп!

Перед обедом, в зале — рукопожатия, улыбки, разговоры с союзническими генералами. Обед прошел оживленно. А через час, Ставку ошеломило телеграфное известие из Петрограда. Забастовало девяносто тысяч рабочих. На улицах толпы, красные знамена. Протопопов доносил, что муки достаточно, но пекарни, почему то, сократили выпечку.

В губернаторском доме началось хлопанье дверьми и не-

прерывные хождения из комнаты в комнату. Нилов с необыкновенным проворством обежал всех своих коллег.

— Вот, когда в Царском то Селе надо быть!

Иногда он, открыв дверь и не входя в комнату, кричал:

— Уехали! Уехали!

Воспользовавшись общим смятением Дубенский отправился на телефонную станцию. Вернулся через час красный, задыхающийся.

— Что с вами, Димитрий Николаевич? — спросил Федоров.

— Пойдемте ко мне, — прохрипел Дубенский.

В комнате он, как угорелый выпил махом стакан воды и тяжело опустился в кресло.

— Революция! Бабы начали!.. Уже к двенадцати часам, эти ведьмы подняли до тридцати тысяч человек, на Выборгской стороне. А там, пошла писать губерния! Забегали агитаторы, выросли, как из-под земли всякие социал-демократы и прочая сволочь.

В дверь постучал Нилов. Он пронюхал, что Дубенский пришел с новостями.

— Ну, а власти? — спросил Федоров. — Почему не пресекали в корне?

— В корне! Разве у нас когда пресекали в корне? У нас любят дать расцвести, созреть... Ну, как бы там ни было, а с Выборгской стороны прорвались на Литейный и на Невский. Пресекать то оказалось некому. Не пустили на мост — пошли через Неву по льду. Тут бы и стрелять, да рука не поднялась. А когда тысячи перешли по льду, то и мост охранять не стало смысла.

Нилов взволнованно проговорил: — Да неужто ни одного решительного человека не нашлось?

— Александр Иваныч говорит, что поймали девятнадцать агитаторов. Их бы тотчас судить и тут же расстрелять, но суду не предали.

Рассказывая, Дубенский не заметил, как в комнате стало тесно от набравшегося потихоньку народа. Пришли Лейхтенбергский, Граббе, Мордвинов. Кто-то подал голос:

— А может, в самом деле, хлеба не хватает?

— Полно господи! Пора серьезно смотреть на вещи. На заводе Айваз, где хлеба сколько угодно, тоже кричат и требуют хлеба. Началась настоящая революция. На глазах у полиции агитаторы бегают с завода на завод, призывают к прекращению работы, а где не помогает агитация — вваливается толпа с соседних заводов и снимает работающих. Останавливают трамваи, отбирают рукоятки у вагоновожатых.

\*

За вечерним чаем сидели пришибленные. Один государь спокоен и ровен. Вставши из-за стола, он пошел дописывать письмо Александре Федоровне. Признавался, что тоскует по дорогому Бэби и что здесь ему не хватает получасового пасьянса вечером, но повидимому, он скоро примется в свободное время за домино. В окно глядела синяя ночь. Далеко покрикивал паровоз, а в доме чуть слышные, как из подземелья, голоса. Это в комнате у Долгорукого надрывались Нилов, Граббе, Дубенский, Мордвинов.

— Все уладится, — успокаивал Долгорукий, — на завтрашнем докладе даны будут указания Алексееву. Не может же быть, чтобы его величество оставался глух к происходящему в столице.

Наутро, доклад в квартирмейстерской части длился до половины первого. Стало ясно, что это не обычный доклад, а совещание. А когда пришла из Петербурга телеграмма, сообщавшая о двухстах тысячах бастующих и о том, что в помощь полиции поставлены пехотные и кавалерийские части, никто не допускал мысли о безразличном отношении государя к событиям.

Пришло письмо от Александры Федоровны, полное кипения против Думы: — «Ты должен дать почувствовать свой кулак. Они сами просят этого. Сколь многие недавно говорили мне: «нам нужен кнут». Это странно, но такова славянская натура... Твоя жена, твой оплот — неизменно на страже в тылу... Чувствуй мои руки, обвивающие тебя, мои губы, нежно прижатые к твоим — вечно вместе, всегда неразлучны...»

После завтрака — весть о стычке толпы с конными горо-

довыми на Знаменской площади. Казаки поддержали народ и оттеснили городских.

— Этого еще не хватало! Ну, берегись наша деревня!..

За обедом — все глаза на государя. Но он непропускаем, как всегда. Дубенскому удалось узнать, что на докладе никакой речи о петербургских событиях не было. Когда он сказал об этом Долгорукому и Штакельбергу, те оцепенели и не произнесли ни слова.

Опять петроградские новости: на Выборской стороне — столкновение забастовщиков с полицией, Хабалов принимает бесконечные делегации от пекарей, от общества фабрикантов, от городской думы; до сих пор не открывает стрельбы, несмотря на то, что убито уже двадцать восемь городских. Родзянко в сопровождении Риттиха, с утра объехал город, заезжал в министерства и к самому председателю Совета министров, чего-то требовал, на чем-то настаивал.

— Эта толстая бочка уже почувствовала себя хозяином!

— Бочка — не бочка, а их взяла, — пробормотал Граббе.

Штакельберг вдруг нашел, что у монархии есть еще средство спастись, как у тонущего корабля.

— Это что такое?

— Пожертвовать некоторыми из своих прерогатив.

— Парламентаризм ввести?

— Называйте как хотите. Вы знаете, что великий князь Александр Михайлович представил недавно записку государю об учреждении ответственного министерства. Только ответственным оно должно быть не перед Думой, а перед государем. Сам государь будет не управлять, а править. Я нахожу, что это прекрасная мысль.

— Ваша мысль хороша была два месяца тому назад; теперь слышать ни о чем не хотят, кроме, как об ответственности перед Думой.

— Ну и что же? Перед Думой, так перед Думой, раз ничего не остается. Не революции же дожидаться!

Разошлись поздно и долго не могли заснуть. Долгорукий заметил, что дольше всех горел свет в комнатах у императора. Он писал царице о своем прекрасном самочувствии. Обстанов-

ка Ставки бодрит его и мозг отдыхает. Ни министров, ни хлопотливых вопросов требующих обдумывания.

\*

На другой день, в субботу, Клембовский осторожно спросил Дубенского — чем объяснить странное поведение государя? На Невском свергают самодержавие и провозглашают республику, в Думе, Керенский, Чхеидзе и Родичев произносят антиправительственные речи, а император, зная это, разговаривает о погоде, совершает обычные прогулки и виду не подает, что в России начинается революция. Ни Алексеев, ни чины Ставки понять не могут, а союзнические генералы просто покоя не дают, для них такое бездействие необъяснимо.

— Да, признаюсь, это и для меня загадка. Ясно одно: государь отлично понимает положение, но события оглушили его. Тяжесть совершающегося превосходит его силы и мы все чувствуем, что от него не будет указаний и распоряжений. Наш долг, в эти минуты, помогать его величеству, а не ждать инициативы от измученного царя.— Дубенский слишком хорошо знал Клембовского, чтобы не заметить того, что мелькнуло у него в лице: — измученного!.. Чем это он измучен? И почему измучен он, а не мы, труженики Ставки, несущие на себе бремя войны, да еще обязанные теперь думать об успокоении тыла? Он почти высказал свою мысль, сухо ответив: — Мы военные призваны служить оружием и собственной кровью, с нас никогда другого не требовали.

Дубенский давно понял, что с чинами Ставки нельзя больше говорить о государе прежним придворным языком, о его неустанных трудах и снедающих заботах, о его сложной, чистой душе и о том как он одинок. Воейков еще вчера рассказал, как Алексеев оборвал его: — Неужели вы считаете возможным говорить об одиночестве главы стапятидесятимиллионной империи?

— Послушай Вячеслав Наполеонович, — тоном старого однокашника заговорил Дубенский, — что там много толковать! Государь ходит, как в трансе, он умрет, погубит себя и нас, но не отдаст ни одного приказа; мне это ясно, как Божий день. Надо подвинуть его на действия. Никто из близких не в

силах этого сделать. Сослужи великую службу, подай Михаилу Васильевичу мысль послать к государю Трегубова.

Клембовский не сразу понял о чем идет речь. Сенатор Трегубов, состоявший помощником Алексеева по гражданской части, так мало требовался в делах, что о его существовании забыли. Вечно сидел у себя в комнате и читал. Теперь он оказался якорем спасения. Дубенский полагал, что доводы Трегубова подействуют на царя. Когда Клембовский, не скрывая улыбки, доложил об этом Алексееву, тот немедленно отдал распоряжение об исходатайствовании высочайшего согласия на такую аудиенцию.

Наутро, в воскресенье, как всегда — обедня. Государь на своем обычном месте. Вся церковь украдкой смотрит на него. Потом — завтрак. Много народа. Приглашены люди редко бывавшие за царским столом. Государь всех обходит, со всеми здоровается. С генералом Вильямсом беседует особенно долго.

После завтрака — поездка по Бобруйскому шоссе. Возле часовни в память 1812 года император вышел из автомобиля, углубился в лес по дорожке и задумчиво гулял там около часа.

По возвращении состоялся доклад Трегубова.

Вращавшийся во время войны сплошь в военной и придворной среде, Николай отвык от правильного гладкого языка, которым заговорил с ним сенатор и перед которым он всегда испытывал род смущения и приниженности. Трегубов старый судебный оратор с неумолимой логикой и диалектикой, пронзил и превратил в неподвижную фигуру своего августейшего слушателя беспощадным анализом положения.

Он поставил дилемму — либо принять вызов, вступить в бой с революцией и действовать быстро и решительно, либо предотвратить катастрофу уступкой «прогрессивному блоку», допущением ответственного перед Думой министерства и смелым вступлением на путь конституционной монархии.

— Если мне позволено будет давать какие-нибудь советы вашему величеству, то единственный совет, который я осмелюсь сделать — это немедленно принять то или иное решение. Нет ничего гибельнее промедления.

Государь поблагодарил и отпустил сенатора ничего не

сказав. По удрученному виду его поняли, что доклад произвел действие. Но наступил обед, потом обычное чтение телеграмм и писем, а о распоряжениях — ни слова.

— Да что же это такое! — бесился Нилов. Он ворвался к Фредериксу, сидевшему в кресле, как изваяние. — Граф! Граф! Вы ближе всех... Пойдите!.. Скажите!.. Ведь это гибель!..

Фредерикс оракульски произнес: — Я никогда не давал советов его величеству, если меня не призывали для этого. Я слуга, а не советник.

Потом немного оттаяв и перевоплотившись из статуи в человека, протянул адмиралу листок — телеграмму государю от Родзянко. Председатель Думы писал об анархии в столице, о параличе власти, о беспорядочной стрельбе на улицах и просил поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Он призывал к немедленному действию и молил Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца.

— Знаете, что мне сказал государь, передавая эту телеграмму? Он сказал: опять этот толстяк Родзянко написал мне разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать.

А в Ставке были нарасхват два молоденьких офицера из ведомства генерала Тихменева, только что вернувшиеся из Петербурга. Оба свежие, радостные, как от пасхальной заутрени.

— У заутрени не были, ваше превосходительство, а в Александринском театре побывали. Чудесный спектакль!.. Маскарад... Рампа убрана и сцена соединена со зрительным залом. Все ярко освещено. Блеск, как на балу...

— Неужели театры открыты?

— Да еще как! На улице стрельба, а театры полны. Публика приходит и расходится под свист пуль.

— Ну а на улицах?

— Светло. Подмораживает. Горят костры, солдаты стоят бивуаком. Газеты выходят. Только «Земщина», да «Христианское чтение» прекратились, потому что толпа сняла с работы наборщиков. Горит Окружной суд. Из Предварительной тюрьмы выпускают заключенных.

— Вот она, молодежь! Для нее что спектакль, что революция — все одно.

— Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, у всех в Петербурге такое же мнение. Все чего-то ждут, лица ожили.

— Да что ж они не понимают что такое революция?

— Понимают. Всем страшно, но всем весело.

— Ну тут уж моего ума не хватает.

— Осмелюсь доложить... Мне один александрийский артист объяснил: репертуар приелся. Шутка ли, два с половиной года война и никаких событий; это все равно, как если бы у нас на сцене шла одна «Каширская старина» — со скуки бы подошли. Так и тут: война, война и за все это время одного Распутина убили. Нечем жить стало, вот и радуются революции.

\*

Мордвинов с Лейхтенбергским решили костью лечь, но завести с государем речь о столичных беспорядках. Ждали его появления к вечернему чаю.

— Я обо всем знаю, мне все известно, — оборвал он их с первых же слов.

Он с необыкновенным искусством переводил разговор на что-нибудь другое, как только видел его приближение к петербургским событиям.

Придя к себе, адмирал Нилов опустил перед образом.

— Господи! Не дай возроптать на помазанника Твоего!

Ночью дежурному адъютанту подали депешу, прочтя которую он счел себя обязанным разбудить начальника штаба генерала Алексеева.

Войска Петроградского военного округа переходили на сторону восставшего народа. Утром Нилов торжественно поздравлял: — У нас революция! Такая, какой еще ни у кого не было. Все будем висеть на фонаре!

Больше всего разговоров было в штабном собрании, в гостинице «Бристоль». Там, вдали от «двора» и свиты, офицеры чувствовали себя свободнее. Вопреки привычке расходиться по домам сразу же после обеда, сегодня толпились в бильярдной и даже в читальне. Читальня всегда пустовала; акку-

ратно получавшиеся номера «Сатирикона» оставались неразрезанными, а «Столица и Усадьба» никогда не раскрывалась. Ее и на этот раз никто не раскрывал, но комната битком была набита. Осаждали офицеров ближе всех стоявших к высшему начальству. О том что думал Наштаверх никто не знал, но слова генерала Лукомского, сказавшего, что со дня объявления войны не было более рокового события, повторялись с волнением.

Ставка была оскорблена случившимся в Петербурге.

В этот день, генерал Алексеев, углубившись в бумаги и в телеграммы с фронтов, часто отодвигал все в сторону и подолгу сидел прищуриив глаза и откинувшись на спинку кресла. Приближенные царя ходили тенями. Один Воейков не терял ясности взора. Видели его редко. Он пропадал на Днепровском проспекте, в своем особняке уже готовом к принятию Нини. Она слала письмо за письмом и собиралась на днях приехать. Впрочем, и у него заметили признаки волнения.

Около двенадцати дня, Алексеева вызвали к прямому проводу. Великий князь Михаил Александрович просил доложить государю, что по его мнению, необходимо сейчас же распустить Совет министров и объявить о согласии на ответственное перед Думой правительство. Сформирование нового кабинета он предлагал поручить председателю Общеземского союза князю Львову или Родзянко.

Алексеев доложил. Государь велел передать благодарность брату за совет, но прибавил, что сам знает, как надо поступить. Он писал в это время нежное письмо: «Был вчера у Пречистой Девы и усердно молился за тебя, моя любовь, за милых детей и за нашу страну, а также за Аню. Скажи ей, что я видел ее брошь приколотую к иконе и касался ее носом, когда прикладывался».

\*

В Ставке рушилась власть «Золотой Орды», как называл генерал Борисов свиту, и началось возвышение «воинства». Прошло то время, когда воинство ходило со скромным видом «наше дело служба», а у свитских на лбу сияло «Государь». Государь был выше службы, выше войны, выше России. Те-

перь ничего кроме растерянного взгляда и трясущихся губ. У штабных же ясно обозначилось: «Россия», «Армия» и «Михаил Васильевич». В произношении это звучало — «Наш Михаил Васильевич».

Сам Алексеев с опаской отстранялся от «нашего», ни с кем не разговаривал о политических событиях, но в каждом его слове ловили манифест. Его стали оберегать и когда не заставляли в кабинете — не искали и не допытывались, знали, что стоит в своей комнате на коленях и кладет бесчисленные поклоны перед образом.

— Только бы армию Бог спас! — твердил он без конца в этот день.

К нему поступила новая телеграмма, на этот раз от председателя Совета министров. Князь Голицын повторял просьбу великого князя Михаила доложить государю о немедленном увольнении существующего правительства и о необходимости поручить Родзянко или князю Львову формирование нового кабинета.

Алексеев хотел передать телеграмму царю через дежурного флигель-адъютанта, но Лукомский, которому он показал ее, поднял на него глаза.

— Михаил Васильевич, надо, чтобы вы сами отдали ее государю.

— Это почему?

— Ваше слово много значит; если оно прибавлено будет к словам телеграммы, то быть может, государь на что-нибудь решится.

Алексеев пошел неохотно и вернулся мрачный.

— Государь не стал со мной разговаривать. Если он пришлет какой-нибудь ответ, сейчас же придите мне сказать... Я чувствую себя плохо и сейчас прилягу.

Температура у него, в самом деле, поднялась до тридцати девяти. Пошел слух, будто Алексеев опустился на колени, умоляя царя согласиться на просьбу председателя Совета министров.

Часа через два государь сам принес в генерал-квартирмей-

стерский особняк телеграфный бланк с ответом князю Голицыну.

— Это мое окончательное решение, которое я не изменю, а поэтому бесполезно мне докладывать еще что-либо по этому вопросу.

В телеграмме значилось, что царь не допускает каких бы то ни было перемен, требует принятия решительных мер для подавления бунта и предоставляет, временно, князю Голицыну диктаторские права по управлению империей вне района подчиненного верховному главнокомандующему.

— Нашел кому вручать диктатуру! — мелькнуло у Лукомского, когда он прочел телеграмму.

\*

После завтрака император с Воейковым, Мордвиновым и Лейхтенбергским поехали в автомобиле по дороге на Оршу. Как всегда, царь, в одном месте велел остановить машину и прошелся пешком. День был солнечный и синицы весело перекликались в голых ветвях. Заметив, что Мордвинов с Лейхтенбергским отстали, Николай вполголоса спросил Воейкова: — Ну как? Получили что-нибудь?

— Так точно, ваше величество.

Воейков достал из-за обшлага шинели записку и не успел еще протянуть государю, как тот вырвал ее из рук. В записке значилось: — СИРИУС. Потом нарисован был треугольник с вписанным в него кругом. За ним следовала цифра 988080000000, знак умножения и другая цифра 304. В четырех углах двух пересекающихся линий стояло: в одном «Дыхание», в другом «Ярость», а в смежных углах какие-то знаки. Вторая строка состояла из слов: — «Иды марта». «Отклонение — О». Все завершалось цифрой поставленной под знаком квадратного корня — 1000000000000.

— Это все?

— Все, ваше величество.

Государь вдруг покраснел от гнева, скомкал листок и швырнул на дорогу.

— Шарлатан!

Но остановившись, велел Воейкову поднять смятый листок и спрятал себе в карман.

— Домой! — Он зашагал к автомобилю так быстро, что приближенные едва поспевали за ним.

Как только вернулись, князь Долгорукий постучался в комнату к Нилову. — Что вы знаете про Иды марта? Адмирал знал изотермы, Куро-Сиво, Княо-Чао, но Ид марта не знал. Граф Граббе, после долгой мобилизации остатков кадетско-пажеских знаний вспомнил, что Иды у римлян означали что-то календарное. Один Дубенский блеснул литературным образованием, он ответил цитатой из Шекспира: — «Цезарь! Бойся Ид марта!»

Долгорукий растерялся. — Я не могу передать это его величеству.

\*

К концу дня, Дубенский с Федоровым отправились на вокзал в салон-вагон к генералу Иванову. Николай Иудович всю войну провел на колесах и так привык к вагону, что и здесь, в Могилеве, никакой другой квартиры не хотел. Лейб-хирург и генерал летописец очарованы были прелестью его жилища. Ни занавесочек, ни мягких кресел, ни фотографий. Только полуразвернутая карта на столе, да висевшая в простенке шашка и фуражка.

И все-таки, встретивший их старик похож был не на генерала, а на боярина в опале. Ничего не делавший, предававшийся вечно обиженным думам, Николай Иудович рад был посетителям, стал угощать чаем и без всякого перехода заговорил на петроградскую тему.

— Хоть на полчаса избавьте от этих ужасных дум. Господи Боже мой, что же это будет? Чем все это кончится?

— Многое будет зависеть от вас Николай Иудович.

— От меня? Вот уж никак не пойму.

— Надо прийти на помощь государю. Он совершенно один и измучен. Вам надо отправиться в Петроград, принять командование всеми войсками и водворить порядок.

Хотя старик наливал чай, и лицо его было в наклон,

Федоров заметил, какой музыкой прозвучали для него эти слова. Он с трудом сохранил достойную мину.

Лейб-хирург был уверен, что сейчас начнутся вздохи и причитания о том, как он несправедливо обижен. Выдержав горькую паузу, Николай Иудович, в самом деле, покачал головой.

— Где уж мне за такие дела! Я старый служака, а для такого важного предприятия нужны ученые, академические, с теориями...

Федоров отвернулся, чтобы не рассмеяться. — Ведь это «Хованщина»! Ведь это старый князь Иван из третьего акта оперы: сидит в своих хоромах и на просьбу Шакловитого пойти к царевне на совет отговаривается обиженными репликами — он де никому не нужен и без него обойдутся.

Насмешливый лейб-хирург заметил, что Николай Иудович и лицом напоминает Шаронова в роли князя Ивана. Теперь было ясно: еще несколько увещаний и все произойдет по Мусоргскому. Он подтолкнул Дубенского и тот так хорошо сказал о полной незаменимости старого генерала в трудный момент, что бывший главнокомандующий юго-западным фронтом, сам начал смотреть на себя, как на сосуд избранный. Речь Дубенского представляла расширенную редакцию слов Шакловитого: — «Царевна говорит, что без тебя совет не может состояться». Федорову показалось, что генерал вот-вот развалится в кресле и запоет: «Теперь мы на совет идем и вновь царевне нашим разумом послужим».

Когда все полагающиеся внутренние борения были выполнены, Николай Иудович тяжело вздохнул и сказал, что раз так, то грешно было бы ему отказываться, но ведь поздно теперь, войска зашатались, верных мало осталось. — Я рад и счастлив помочь его величеству, но как это сделать?

— Вы переговорите с государем, скажите ему свои соображения и доложите, что готовы принять на себя поручение поехать в Петроград для водворения порядка. Мы вам устроим сегодня за обедом место рядом с государем. Я скажу об этом гофмаршалу князю Долгорукому.

Было уже темно, когда Дубенский с лейб-хирургом покинули салон-вагон. Возвращаясь во дворец, видели на Днепровском проспекте ярко освещенные окна дома, а у ворот автомобиль дворцового коменданта.

— Он все еще пропадает здесь!

Обед начался в восемь часов. Государь вошел бледный, с каким-то новым выражением лица. Обошел всех молча, только командиру полка, прибывшему с фронта и приглашенному на обед, сказал несколько ласковых слов. Когда сели за стол, Николай Иудович оказался рядом с государем. Между ними начался тихий разговор, который князь Долгорукий всячески охранял, дабы он не прерывался.

Когда кончился обед и государь сделав общий поклон ушел в свой кабинет, Дубенский бросился к Иванову: — Ну как? — Борода Николая Иудовича распустилась неопалимой купиной, а взор смотрел в пространство вверх Дубенского.

— Государь согласился на мои доводы и направляет меня в Петроград с Георгиевским батальоном. Дополнительные указания получу от его величества, когда явлюсь еще раз к нему, как он приказал.

— Слава Богу! Слава Богу! Теперь Николай Иудович вся надежда на вас.

Весть о миссии Иванова облетела Ставку. Нилов прибежал в комнату к Федорову и начал его трясти за грудь.

— Ну, Сергей Петрович! Только бы Бог дал! Памятник вам воздвигну при жизни! Не дадут в Петрограде — в своем имени воздвигну. Так и напишу: «Спасителю отечества»...

Внезапно вошел Штакельберг. — Господа! Господа! Собирайтесь. Сейчас уезжаем. Государь едет в Царское.

Нилов сразу остыл.

— Боже мой! Эти ужасные переезды! Ведь они бессмысленны! Бессмысленны!.. Как из Царского уехали неизвестно зачем, так и теперь...

Показавшийся на минуту Мордвинов сообщил, будто Алексеев предлагал императору оставаться в Ставке и отсюда действовать против Петрограда, но государь не внял.

К половине двенадцатого, царский и свитский поезда

стояли наготове. В два часа ночи, Днепровский проспект разбужен был гулом машин. Люди вскакивали с постелей, подбегали к окнам и с недоумением смотрели, как темные массы автомобилей вереницей мчались по направлению к вокзалу. Даже чины Ставки не знали, что это царь уезжает.

Вскоре по прибытии государя, в вагон явился генерал Иванов. Когда он вышел, к нему подошли Федоров и Дубенский.

— Ну как, Николай Иудович?

— Что как? Еду.

— А что государь?

— Государь дал мне все нужные указания.

— Куда же вы едете, в Петроград или в Царское?

— Гм... Это смотря по обстоятельствам.

— А достаточно ли у вас войска?

— Да уж мы с государем об этом подумали.

Федоров с Дубенским переглянулись и поспешили проститься с Ивановым, пожелав генералу успеха.

— Чорт возьми! Он уже видит себя спасителем отечества. Вдруг да спасет — не дай Бог!

— Оставьте, — махнул рукой Дубенский.

\*

В вагоне император принялся за чтение писем. Александра Федоровна сообщала, что дети всё еще болеют, а насчет петроградских событий успокаивала: «Говорят, это не похоже на 1905 год, потому что все обожают тебя и только хотят хлеба». — В письмо положен был кусочек дерева с ЕГО могилы, где императрица стояла на коленях. — «Солнце светит так ярко и я ощущала такое спокойствие и мир на ЕГО дорогой могиле! Он умер, чтобы спасти нас».

Поезд тронулся под утро, около пяти часов, когда император крепко спал. Он всегда спал хорошо после того, как принимал то или иное решение. Проснулся в десять утра. Углы и края вагонных стекол чуть подернуты морозом, за окном яркое солнце. Задержались минуты три на каком-то тихом полустанке. Поблизости, что то строили, стучали молотками и кто-то напевал приятным голосом.

Стаканчики граненые  
Упали со стола,  
Упали и разбились.  
Разбита жизнь моя!

Проехали Смоленск. Из Вязьмы Николай послал телеграмму императрице по-английски, о своем отъезде, о том что погода прекрасная и что много войск послано с фронта.

На станциях, железнодорожное начальство — на вытяжку, публика с отдаленных платформ с любопытством смотрит на царские вагоны. Часто мелькают городские виды с тихими улицами, одинокими извозчиками и пешеходами, с колокольнями, с галками. На каждой крупной станции, в свитский поезд садился путевой инженер и ехал до следующего участка. Обычно, он сидел в купе Эрделя — инженера царских поездов. Один из них сказал, что все телеграфные распоряжения по железным дорогам исходят теперь от члена Государственной Думы Бубликова, назначенного комиссаром путей сообщения.

— Кто же это его назначил?

— Комитет Государственной Думы.

Эрдель был ошеломлен. Ему до смерти хотелось расспросить про загадочный комитет, но положение инженера поездов его императорского величества обязывало к сдержанности.

— Никакие комитеты не имеют права делать подобные назначения без ведома его величества. К тому же, законный министр путей сообщения...

Путевой инженер, человек средних лет и, судя по лицу, умудренный опытом, с удивлением и интересом посмотрел на Эрделя. Он сразу понял свое преимущество в этом разговоре и хоть был добряк по натуре, не устоял перед соблазном хоть раз в жизни посмотреть сверху вниз на лощенных господ.

— А разве вы не знаете, что все министры арестованы?

Эрдель остался нем. А путевой продолжал: — Мы железнодорожники про своего министра, во всяком случае, знаем, что он сегодня арестован Бубликовым в помещении Министерства Путей Сообщения и содержится под домашним арестом, а начальник управления железных дорог Богашев отправлен под конвоем в Таврический Дворец. Рассказывают, что когда Буб-

ликов пришел и расставил караулы у дверей, все в министерстве готовы были целовать его.

— Да?

— В Петрограде идет разгром правительственных учреждений. Полицейские участки разносятся вдребезги. Толпа хватает министров, генералов и приводит их в Думу. Некоторых по дороге убивают. Убит Валуйев, начальник Северо-Западных дорог. Чиновникам теперь нельзя показываться на улице в форме. Вот и у нас в министерстве ходили все, как приговоренные, ждали бушующих солдат или толпу. А тут, вдруг, этаким интеллигентный господин, с небольшой командой, вежливо арестовал кого надо, а остальным предложил оставаться на своих местах. Самому министру предложено было тоже, да он отказался по причине расстройства нервов. Так как же не видеть спасителя в этом Бубликове!

Эрдель провел языком по запекшимся губам и с трудом проговорил:

— Откуда вы все это знаете?

— Служу на железной дороге. Каждый час приходят поезда из Петрограда, ежеминутно принимаются телеграммы, звонит телефон. Как не знать?

— А что этот, как его... Пирожков...

— Бубликов?

— Да Бубликов. Что же он вам предписывает?

— Пока, от него разослана по всем дорогам телеграмма, призывающая всех честно выполнять свой долг. Дождаясь вашего поезда, в кабинете начальника станции, я принялся списывать ее, да успел переписать только половину.

Эрдель взял протянутый ему клочек бумаги и прочел воззвание к железнодорожникам, где говорилось, что старая власть, создавшая разруху во всех областях государственной жизни, оказалась бессильной и что Комитет Государственной Думы, взяв в свои руки создание новой власти, обращается к ним от имени отечества, от них теперь зависит спасение родины. Движение поездов должно поддерживаться непрерывно, с удвоенной энергией...

— И вы говорите, что это разослано по всем направлениям?

— Так точно. Я полагаю, что теперь не одни железнодорожники, но все прилегающие к железным дорогам города и селения знают о падении старой власти.

— О каком падении вы говорите? Государь император следует за нами в своем поезде. Он едет, чтобы навести порядок... Кроме того, в Петроград послан с войсками генерал Иванов.

— Дай то Бог!.. Только вам необходимо знать еще об одной телеграмме. Она исходит от какого-то сотника Грекова, коменданта станции Петроград. Он предписывает оба ваши поезда направить из Тосно не в Царское Село, а прямо в Петроград.

Как только путевой инженер вышел, Эрдель бросился к коменданту поезда подполковнику Талю, и с ним вместе — к Цабелю. Цабель велел немедленно пригласить Штакельберга и Дубенского.

— Что делать, господа?

— Сергей Александрович, а что если мы доедем до Тосно, можете вы с помощью своих солдат и офицеров заставить железнодорожников направить поезда не в Петроград, а в Царское?

— Могу, — ответил Цабель, — если там не будет других враждебных нам войск.

— А неужели они могут быть?

— Конечно могут. От Петрограда до Тосно рукой подать. Уверен, что туда уже понаехало...

— Надо довести до сведения государя.

Решили, что Дубенский напишет письмо Федорову, едущему в царском поезде, дабы тот сообщил обо всем слышанном дворцовому коменданту, а дворцовый комендант — его величеству. Тут же, не выходя от Цабеля, Дубенский написал карандашом на листке, что поезда до Тосно идти не могут и что лучше из Бологого повернуть на Псков с тем, чтобы оттуда, опираясь на фронт генерал-адъютанта Рузского, начать действовать против Петрограда.

Один из офицеров сошел с этим письмом на ближайшей станции, чтобы дожидаться там прибытия царского поезда. Сам Дубенский заперся в купэ и проехал несколько станций не показываясь. До сих пор он был созерцателем, записывал не мудрствуя лукаво все виденное в дневник, а сегодня оказался в роли воздействующего на ход событий. Он хоть и называл в своих описаниях поездки царя «историческими», но все понимали это выражение условно. Сегодня впервые почувствовали, что от движения двух синих литерных поездов зависит судьба монархии в России. Генерал-летописец вздрогнул при мысли, что он колебнул стрелку на весах истории. Что, если будущее определяется не великими людьми и событиями, а ничтожным случаем? Вдруг да его записка продиктованная самими верно-подданическими чувствами, окажется роковой? Она может испугать Воейкова, повлиять на решение государя, заставит его изменить маршрут, а маршрута может-быть и не следует менять... Он стал думать, что могло бы произойти в Тосно, если туда придут царские поезда, а станция окажется занятой мятежниками? Опасность велика. Но, быть может, одной маленькой команды литерного поезда окажется достаточно, чтобы разогнать распушенную солдатню? Ведь это толпа, а не войско. Нескольких выстрелов иногда достаточно, чтобы разогнать ее. Зато, какой выигрыш во времени! Утром были бы в Царском Селе. Курс же на Псков удлинняет путь на целые сутки. А Бог знает, что произойдет за сутки? Мысли генерала приобрели философско-мистическое направление. Он думал о тонкой завесе, отделяющей одну минуту от другой, за которой кроется тайна рождения событий.

Из инженерского купэ, на каждой станции, выходил человек и справлялся об ответной телеграмме. Воейков молчал.

Поздно вечером опять собрались все у Цабеля. Приближалось Бологое. На этот раз сам начальник станции вручил Эрделю телеграмму на имя генерала Дубенского.

Воейков требовал, во что бы то ни стало, пробираться в Царское Село.

— В уме ли он? Мы сами хотим в Царское. Стоило посылать ему письмо и ждать, чтобы получить такой ответ!

Подполковник Таль, без распоряжения об изменении маршрута, не считал возможным задерживаться в Бологом и приказал двигаться дальше. Никто в поезде не лег спать. Конвою приказано быть наготове.

Начались нервные хождения по коридорам, лихорадочное курение. Разговаривать о грозящей опасности считали неприличным, но ни о чем другом ни говорить, ни думать не могли. Тянуло всем быть вместе. Незаметно очутились в купэ у Цабеля — человека с жестяным лицом, делавшим молчание особенно тягостным.

— Господа, давайте рассказывать любовные истории, — предложил Штакельберг.

Дубенский встал, погасил свет и отдернул оконную занавеску. Открылось засыпанное звездами небо — синее, как вагон царского поезда. Все притихли и ехали молча. Свисток возвестил о приближении Малой Вишеры. Стоять предполагалось недолго. Но как только подошли к платформе, в поезд вбежал офицер в форме собственного его императорского величества железнодорожного полка и потребовал, чтобы его провели к генералу Цабелю. Он доложил, что станции Любань и Тосно заняты. Туда прибыло из Петрограда несколько рот лейб-гвардии Литовского полка с пулеметами.

— Наши солдаты железнодорожного полка сняты с постов. Сам я бежал на дрезине, чтобы предупредить ваше прервосходительство.

Под каждым офицерским мундиром что-то дрогнуло. Мундиры из превосходного сукна, но ни один не бывал в бою. Теперь сукно испытывало чуть заметную вибрацию, как только стало известно, что до пуль, до смерти — не больше сорока верст.

На платформе — слова команды, стук прикладов, мерный шаг нескольких десятков ног. Это Цабель приказал своему отряду выстроиться и занять телеграф, телефон, диспетчерскую и дежурную комнаты. Решили дальше не ехать, дожидаться царского поезда, а свитский перевести на запасный путь.

Станция пустынна. Только в зале третьего класса драма-

ли на своих сундучках и корзинках несколько мужиков да баб. Снаружи — ни души.

Рельсы, перрон, строения тоже дремали и грезили под горящим куполом вселенной. Большая Медведица, Орион, Дева, притаившееся у края небес созвездие Пса, пристально рассматривали их из вечности.

\*

Раздался свисток приближающегося царского поезда. Он тихо подошел к платформе. Ни звука внутри, ни искры света в окнах. Прошло несколько минут, прежде, чем стукнула дверца. На перрон медленно вышел дежурный флигель-адъютант Нарышкин. Он выразил недовольство гулким топотом ринувшихся к нему людей.

— В поезде все спят.

— Как спят! Навстречу нам движутся из Петрограда восставшие войска. Любань и Тосно захвачены... Мы ведь писали...

Нарышкин перевел взгляд на ближайший чугунный столбик, поддерживавший навес и молчал, как это умеют делать неразговорчивые люди. Не дожидаясь, пока он что-нибудь выговорит, все бросились к вагону, где было купе дворцового коменданта. Воейков спал.

— В такое время!.. — процедил Штакельберг.

— Отчего-ж, если спится — съязвил кто-то.

Прошло минут десять, пока он встал и оделся. К нему вошел Цабель. Тем временем, Дубенский отправился к Федорову. Он застал лейб-медика одетым и скучающим.

— Да, я передал ваше письмо дворцовому коменданту, только он не придавал ему особого значения, решил, что поезда могут, все-таки, дойти до Царского Села. Думаю, что он не доложил о вашем письме государю.

— Неужели его величество не знает о том, что случилось?

На платформу один за другим выходили флигель-адъютанты Мордвинов и Лейхтенбергский, флаг-капитан Нилов, гофмаршал князь Долгорукий. Узнав о случившемся, Нилов пришел в неопишемую ярость.

— Да за что его кормят и в царский поезд берут? Везти царя на растерзание, а самому лечь спать!..

Он назвал Воейкова такими словами, что в другое время дело бы дошло до дуэли, но сейчас никто не обращал на них внимания.

— Когда же состоится этот выход его величества, дворцового коменданта?

Минуты через две, ручка вагонной дверцы повернулась. Показался Воейков в полузастегнутом мундире, с растрепанными волосами, заспанный.

— Се жених грядет во полночи! — восхищенно воскликнул флаг-капитан.

Воейкова обступили не дав ему опомниться. Говорили все разом.

— Ну как же не революция? — не унимался Нилов. — Толпа! Сушная толпа на Большой Зелениной!

Он забыл свой гнев и словно даже обрадовался, когда на генеральский галдеж вышли из зала третьего класса мужики, ошалело смотревшие на небывалое зрелище. Наконец, из самой гущи кричавших повалил дым. Это Воейков закурил неизменную сигару. Шум понемногу стих, начались членораздельные речи. Говорили по очереди, иногда длинно.

— А теперь митинг в вольно-экономическом обществе!

После жаркого совещания, Воейкова отпустили к себе в купе, откуда он через пять минут вышел причесанный, в полном порядке, отправился в вагон государя, и попросил Тетятникова разбудить его величество.

— Его величество не спят. Пожалуйте.

Император стоял у открытого окна, выходящего на рельсовые пути и силуэт его тонул в небе и в звездах. Казалось, он не смотрел, а слушал. Воейков ждал, боясь нарушить сосредоточенное состояние царя. Но тот, не поворачивая головы, знаком подозвал его.

— Посмотри туда. Видишь звезду, что над водокачкой?

— Так точно, ваше величество. Она все время мигает. Это мне напоминает фонарики контрабандистов в Крыму, когда они обходят патрульные суда. Вероятно она трепещет от разницы температур в воздушных слоях.

— Но соседние с нею горят ровно... Знаешь что это за звезда?

— Никак нет, ваше величество.

— Это Сириус.

Воейков понял, что с вопросами сейчас к государю нельзя обращаться.

Минут через десять, когда звезда стала скрываться за водокачкой, Николай обернулся.

— Ты зачем?

— Ваше величество, в Царское Село невозможно проехать через Тосно. Любань и Тосно заняты мятежниками.

— Так как же быть?

— Есть возможность через Дно пройти на Псков.

— Ну и хорошо. Поедем во Псков.

На перроне, тем временем, читали неизвестно откуда взяшуюся прокламацию. Как только Воейков вышел от императора, ему сообщили состав Временного Правительства, а подбежавший Нилов поднял руку вверх и воскликнул:

— Да здравствует кабинет его величества Винавера Первого!

Один Цабель был занят делом. Получив приказ, он позвал начальника станции, низенького старичка, и спрашивал, как лучше отправить поезда в направлении Дно? При недостаточности сети рельсовых путей, трудно было пустить свитский поезд, стоявший на запасном пути, вперед. Для этого требовались сложные маневры и много времени. Согласились на том, что до Дна царский поезд пойдет впереди, а там сделают перестановку.

Услышав, что государь согласился ехать во Псков, все повеселели. Тронулись в пол-третьего. Дубенский записал в дневнике: «Все признают, что этот ночной поворот в Вишере есть историческая ночь в дни нашей революции. Государь по прежнему спокоен и мало говорит о событиях. Для меня совершенно ясно, что вопрос о конституции окончен, она будет введена на верное».

\*

Днем прибыли в Старую Руссу. Народ снимал шапки и

кланялся. Прямо на платформе часовня. Монахини, богомольцы. Стоя в глубине вагона, так чтобы его не было видно, Николай рассматривал простые русские лица, серенькие поношенные одежды. Он всегда любил провинцию больше, чем Петербург. Вот это и есть народ.

Пока паровоз брал воду, Воейков распорядился снестись по телеграфу со станцией Дно. Выяснилось, что только в это утро туда прибыл генерал Иванов с Георгиевским батальоном.

— Отчего он так тихо едет? — спросил император. — Ему надлежало быть в это время в Царском.

— Генерал был сам этим удивлен, — ответил Воейков. — Проснувшись в Дно, он думал, что это Семрино, но оказалось, что вместо ожидаемых пятисот верст, он прошел двести.

Старый генерал немало поработал для умиротворения на железной дороге. К Воейкову привели какого-то господина, час тому назад прибывшего из Дно. Он видел, как Николай Иудович собственноручно «смирал» разнузданную солдатню и приводил ее в великий трепет своим грозным видом. «На колени!» — крикнул он и вся толпа повалилась в ноги.

Выяснилось, что станция Дно очищена от бунтарских элементов и государю там никакой опасности не грозит.

Теперь поезда шли не так быстро, как раньше, путь не был приготовлен, боялись неожиданностей. На каждом паровозе был офицер железнодорожного полка с двумя солдатами. К концу дня подошли к Дно. На перроне дожидался телеграфный чиновник с депешей на имя императора.

Председатель Государственной Думы сообщал о своем намерении выехать навстречу государю для доклада обо всем происходящем и о мерах спасения России. Местом встречи предлагал Дно.

Но Воейкову и Федорову удалось убедить государя, что удобнее и безопаснее устроить свидание во Пскове. Решили не задерживаться в Дно.

Царский поезд попятился назад, потом, как большая синяя муха попал в паутину рельсовых путей и долго метался из стороны в сторону, испуская назойливые вопли. Пока он запутывался в сплетениях рельс, мимо него тихо прошел свитский

поезд, получивший теперь возможность идти по уставу, впереди царского.

В обоих поездах люди улыбались стоя у окон. Конвой, офицеры, солдаты железнодорожного полка, с обеих сторон, отдавали честь. Сами вагоны приветственно отражали друг друга в своих темно-синих с золотыми вензелями плоскостях. В раскрытой двери, на площадке своего вагона, стоял Воейков с сигарой в зубах. Он весело помахивал рукой, а увидев Дубенского крикнул:

— Надеюсь, вы довольны? Мы едем во Псков.

— Чудо — наш дворцовый комендант, он и на похоронах будет улыбаться, — проговорил Штакельберг.

*Н. Ульянов*

\*

Ну, а тебе — дела не опротивели?  
Не надоело волноваться?  
Давай, поблагодушествуем в Тиволи,  
Где веет райская прохлада.

Побалуем скучающую душеньку  
Чайком, винцом, воображеньем.  
Послушаем копеечную музыку,  
Колпак с бубенчиком наденем.

С большими ангелами повстречаемся,  
Побалагурим и подвыпьем.  
И к повести, которая кончается,  
Добавим неземной пост-скрипtum.

\*

И жизнь — будто мельничный жернов на шее,  
будто бревно, рухнувшее на зеваку.  
Жизнь, как смерть — только нет в этой смерти  
покоя.

Где он, покой, похожий на светлое летнее поле?  
Не золотые сады, в которых  
живут Геспериды. Просто  
дорога в ухабах, коровьем и конском навозе  
и мы выходим в летнее милое поле.

\*

Утоли мои печали  
Летним ветром, лунным светом,  
Запахом начала мая,  
Шорохом ночного моря.

Утоли мои печали  
Голосом немого друга,  
Парусом, плечом и плеском.

Утоли мои печали  
Темным взглядом, тихим словом.

Утоли мои печали

\*

Так и живу,  
жуком, опрокинутым на спину,  
жертва своей скорлупы.

Беспомощно бьюсь,  
барахтаюсь, шевелю  
жалкими конечностями,  
членистоногий.

Да, конечно, законы тяжести  
спорить — напрасно.  
Уже занесен,  
уже надо мной  
черный сапог,  
любитель хруста.

\*

Ну, не бессмертие, хотя бы забытье.  
 Да, “упокоиться”, забыться.  
 На свалку жизнь — отжившее старье.  
 И ночь, блаженная царица.

И даже не нужна высокая звезда  
 Над ворохом житейской дряни.  
 Бессмертие — какая ерунда.  
 (Питаться падалью мечтаний!)

Есть только ночь. Смешно — всегда в законный час  
 Придет волшебницей чудесной:  
 Закрывает житейский хлам, земную грязь  
 Блаженно-синенькой завесой.

А что касается бессмертия... Всегда  
 Вообразится глупость, небыль.  
 Бессмертие — какая ерунда.  
 Но — звезды... Удивляюсь. Небо...

\*

Разлетается сердце черными хлопьями сажи,  
 Ключья души висят на терниях жизни —  
 Колючая проволока судьбы, в шипах заржавелых.

Так и терзайся при жизни в серном пламени ада,  
 Связанный пленник, потрепанный, перегоревший.  
 Что, — освежает тебя холодный пепел мечтаний?

*Игорь Чиннов*

# ЗАПИСИ\*

## ДНИ И ГОДЫ

### Скитания

\*

Lassus maris et viarum  
Vita scribi nequit.

Das ewige in Menschen  
Das Menschliche in der Ewigkeit.

\*

Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag

\*

Ничто не определяет нас так, как род наших воспоминаний.

\*

Анна, — хотя в Одессе, где я знал ее девушкой, звали ее Матильдой, — Анна Ильинишна, в девичестве Денисевич, вторая жена Андреева,<sup>1</sup> жила осенью 39 года в Грассе, недалеко от нас и часто ходила к нам. Говорила, что, живя с ним десять лет, целых десять лет не спала: он по ночам или диктовал ей или просто не давал спать — без конца говорил.

\*

Я встретил его в первый раз зимним вечером в буфете Художественного театра, во время антракта. Увидал в толпе возле буфетной стойки знакомого журналиста, Алексеевского, впоследствии его зятя, и черного молодого человека в сюртуке, который что-то живо говорил, держа в руке рюмку водки. Алексеевский сказал мне:

— Позвольте представить — мой приятель Леонид Николаевич Андреев.

---

\* Автографы И. А. Бунина. Л. Зуров.

<sup>1</sup> Писателя Леонида Николаевича Андреева.

Тот быстро поставил рюмку на стойку и с готовностью тиснул мне руку цепкой смуглой рукой:

— Чрезвычайно рад!

Во взгляде, которым он блеснул на меня, было сразу несколько выражений: зоркое любопытство, что-то хитрое, веселое и что-то слегка грустное, что-то будто искреннее и деланное и какая-то мысль о чем-то своем, тайном, которая так и осталась в нем во все время нашего дальнейшего разговора, сразу завязавшегося с легкостью и шутливостью. Впоследствии эту мысль о чем-то своем, тайном я видел в нем почти постоянно.

И во всем был у него в тот вечер черный блеск: в хитрых черных глазах, в довольно длинных, закинутых назад волосах, в шеголеватых тонких усиках, в сюртучке с атласными лацканами, в лакированных ботинках. И во всем — ..... нечто легкое и приятное — еще молодая сухошавость и студенческая готовность на быструю дружбу, на приятельство.

\*

«Изыде от земли Твоя, и от рода Твоего, и от дома отца Твоего».<sup>2</sup>

«И пошел, не зная, куда идет... Обитал на земле полученной как на чужой... ибо ожидал города, коего художник и стоитель — Бог... все сии (подобные) говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Все они, свидетельствованные в вере, не получили обещанного: ибо Бог предусмотрел о нас нечто лучшее...»

«Пришелец аз есмь на земли». Пс. 118.

\*

«Отдался течению дней».

\*

Как все было ничтожно, **случайно**, как быстро прошло!  
Революции, войны, зверства.

<sup>2</sup> Лист с этими записями находится среди автографов, на которых И. А. Бунин сделал пометку: «Жиз. Арс.» («Жизнь Арсеньева». Л. 3.). Эти записи и выписки из Библии были предназначены для работы над последней частью романа. Л. 3.

\*

В ту зиму (после ее бегства, перед Москвой) осмотрел свой край — страшные картины! Елец, Огнев., Бабарыкина (сумерки волчь), мужицкие избы, у Софьи (тепло, вонь), у Арсика, у Цвил., у Рышк., у «Волка», у Баева...<sup>3</sup>

\*

«Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною...»

Итак, было, будто бы было время, когда я еще только всходил на корабль: «Итак, ты взошел на корабль, совершил плавание, достиг гавани — время сходить».

Целая жизнь прошла с тех пор.

«Чего еще ждать мне, Господи?»

«Вот Ты дал мне дни, как пяди и век мой, как ничто перед тобою». И не только перед Тобою, но и передо мной самим. Так где же время?

*Ив. Бунин*

---

<sup>3</sup> Город Елец. Усадьба Огневка, усадьба Бабарыкина. «У Софьи у Софьи Николаевны Пушешниковой, двоюродной сестры Ивана Алексеевича. Арсик Бибикив. Помещики Цвилленевы, Рышковы, Баевы. Л. З.

## СОВРЕМЕННАЯ БАЛЛАДА

Завязка баллады моей коротка:  
В лифте злодей удушил старика.

Лунным сиянием взмылен,  
Кричал романтический филин.

Вернее была витрина  
И чучело филина пыльное, дымнолохматое  
Средь рухляди всякой старинной.  
Сиянье неоновой трубки голубоватое, матовое.

Крики. Свистки.  
Луна маскировщица.  
И толпа на куски  
Растерзала злодея у лавки старьевщика.

...Кусок окровавленный  
Уволок сверхпрославленный  
Фильмовой постановщик,  
Поставщик поножовщин!

А ногу отгрыз хореограф.  
Он даже от радости плакал.  
Из дел, исключительно мокрых,  
Он ставил балетный спектакль!

А прозаик кровью налился,  
Человечины налопался, —  
Влез путем психоанализа  
В суть злодеевского комплекса!

И кусок в полпуда весом  
Драматург урвал для пьесы!

Вместо старых действий  
(Для чего считать их?)  
Пьеса в трех убийствах  
И в шести кроватях.

Тема-то какая!  
“Кокаин и Каин”.

Вгрызались в месиво пунцовое,  
Над трупом чуть не подрались,  
И вот последним кость берцовую  
В зубах уносит журналист!

Но ни в одной строке  
Ни слова о старике.

В свете современности  
И научных книг  
Не представляет ценности  
Удушенный старик!

А ему того и надо,  
Раз баллада, так баллада,  
И ко всем этим сволочам  
Он является по ночам.

Подберется тихо сзади  
Иогреет по крестцу!  
Разрешается в балладе  
Развлекаться мертвецу.

*Иван Елагин*

## Д. Д. Т.

Да, мой фильм, то-есть, фильм, который я режиссировал и сценарий для которого я писал вместе с сыном известного советского поэта Михаила Сержикова, под названием «Сок юности» (О комсомольцах, строителях межпланетной ракеты), получил на французском кино-фестивале пальмовую ветвь. Это, вообще говоря, меня поразило потому, что я ожидал, что его разругают в пух и прах, за тенденциозность и за то, что мы у себя называем «партийностью». Я даже предупреждал наше руководство, что мой фильм, вообще говоря, вовсе не для зарубежного фестиваля, да еще с жюри, в подавляющем большинстве, из представителей кап. стран. (За исключением нашего Семена Петровича Малашева). Я говорил на Новой площади зав. сектору кино, товарищу Скрипишкину, что этот фильм, вообще говоря, преимущественно для внутреннего пользования. Но на верхах решили послать именно «Сок юности». (Тут и мой дорогой родитель постарался, нажал на кнопки).

Дали пальмовую ветвь. Гигантская штука. Я сразу стал одним из первых в плеяде молодых талантов. Полифоническая история. И все же я до сих пор не понимаю почему мне дали пальмовую ветвь.

Вообще говоря, Семен Петрович, однажды, подвыпив, сказал мне, что ему удалось выторговать четыре голоса представителей кап. стран. Он сказал, что голоса эти «покупаются» и что все эти зарубежные фестивали не что иное, как обыкновенная рыночная сделка, торговля. (Мол, если ты проголосуешь за этот фильм, я проголосую за тот...). Действует и шампанское и, конечно, русская икра, которую наша делегация каждый раз берет с собой в неограниченном количестве. Действует, конечно, и личное обаяние и всякие другие житейские факторы.

Я думал, между прочим, что может-быть тут замешана политика. Ведь намечается новая ось: Париж—Москва. А что если мой фильм попал именно в тот момент, когда обе стороны галантно расшаркивались друг перед другом...

В парижских газетах и журналах хвалили фильм главным образом за одну сцену, в которой комсомолец, сын секретаря Обкома КПСС, делает попытку покончить жизнь самоубийством. Парижские газеты и журналы писали, что это первый раз, чтобы в Советском фильме показывалась таким образом сцена самоубийства.

Вообще говоря, это правда. И, между прочим, мало кто знает, что мы с сыном Михаила Сержикова положили в основу этого эпизода реальную историю, то-есть то, что имело место в моей жизни. Этот эпизод носит автобиографический характер. Вероятно поэтому он и производит впечатление.

Приходилось ли вам стреляться? Нет? А я стрелялся. Правда, неудачно. Но вся эта эпопея весьма занята и даже поучительна. И я вам ее, вообще говоря, расскажу.

Это было еще тогда, когда я занимался во ВГИК'е, то-есть, во Всесоюзном Государственном институте кинематографии, на режиссерском факультете. Вообще говоря, первые год-два я принимал активное участие в общественной жизни института, выезжал с группой студентов в подмосковный колхоз для уборки урожая, работал агитатором на избирательном участке во время выборов в Верховный Совет, был даже членом факультетского бюро КСМ.\*

А затем со мной что-то случилось. Вообще говоря, трудно мне точно определить, что со мной тогда случилось, но, вероятно, началось с того, что я влюбился в Викторину Бархударову, эту черноволосую Брижит Бардо из Еревана, которая училась в актерской мастерской у Народного артиста СССР Ивана Юматова. Однако, тогда уже я подозревал, что Витюшка живет одновременно и со мной и с самим Юматовым, которому уже исполнилось 66 лет. Это обстоятельство, вообще говоря, создавало между нами сложные взаимоотношения. Может быть

---

\* Бюро комсомола.

именно оно и явилось толчком. Словом я стал «мужать» и, употребляя винный термин, «бродить».

В то время неизбежно на горизонте появился пресловутый **Запад**. Я увлекался западом по-мальчишески, как многие другие мои сверстники. Шил брюки дудочкой, покупал в комиссионных магазинах американские сорочки с пуговицами на кончиках воротничков, швейцарские часы на золотой браслетке и так далее. Пользуясь тем, что мой отец, крупный работник ЦК КПСС, имел право заказывать в Гос. комитете по делам кинематографии, на Гнездиловском, заграничные картины из секретных фондов, я устраивал в отсутствие папаша (мать у меня умерла в последний год войны от рака) на гос. даче в Архангельском, где у нас были бильярд, купальня с бассейном, тир и кино-зал, — просмотры таких картин, как «Милашки» Шаброля, «Источник» Бергмана и других. У меня на квартире (в высотном доме на Котельничевской набережной, в этом «небоскребе» квартиры распределял лично товарищ Сталин), собирались молодые поэты-гении, которые читали свои, с идеологической точки зрения, весьма сомнительные стихи. Мы спорили о форме, о новизне, о свободе творчества. В результате я сделал учебную работу, одночастевку о местечке Абрамцево, где жил Врубель, но так, что мой «шеф», крупнейший советский кино-режиссер Михаил Гром, несмотря на то, что он «уважал» моего дорогого пахана, все же вынужден был признать ее формалистической.

Кроме перечисленного, вообще говоря, один за другим произошли два скандала.

Первый: в ноябрьский вечер, посвященный очередной годовщине Великого Октября, в концертном отделении, показывалась наша студенческая самодеятельность. Это был капустник. Я конферировал его. Среди других сильное впечатление оставил номер под названием: «Машина времени». На сцену выкатывалась будка, сколоченная из фанеры, на внешней стороне которой помещался большущий электрический рубильник. Оркестр исполнял какую-то джазовую штуку. Из-за кулис выходила Витька Бархударова, почти голая, с длинными фиолетовыми ногтями, с подвязками на красных чулках, с сигаре-

той во рту. (В зале поднимался гогот). Она раскачивала бедрами и пела на английском языке следующую песню:

Эврибоди вонтс май боди,  
Бат май боди вонтс нободи...

Это в переводе означало: «Все хотят моего тела, а мое тело не хочет никого». Вообще говоря, эта песенка после этого стала весьма популярной среди наших студентов. Дальше я обрывал «растленное» пение Витюшки и насильно запихивал ее в фанерную будку. Включал рубильник. Из будки доносился истошный крик Викторины, словно ее там режут. Над будкой возникали клубы пара, электрические искры, вся будка тряслась. Наступала тишина. По моему сигналу оркестр исполнял на этот раз мелодию известной революционной песни: «Смело, товарищи, в ногу». Будка открывалась и из нее выходила Бархударова, но уже в простом «пролетарском» платье, сшитом из мешковины, в стоптанных мужских ботинках, безо всякой косметики на лице, скромная, с косичками. Под мышкой у нее была самоварная труба и старый цинковый таз. В правой руке она держала наполовину сгнившую жестяную печку. Викторина шла на авансцену и кричала во весь голос, как кричат на наших митингах: «Граждане, собирайте металлолом! Это укрепит оборонную мощь нашей Родины!»

(Представляете какой кадр?)

Через неделю в институт приехала специальная комиссия МГК ВЛКСМ. Знатоки определили ситуацию, как ЧП (чрезвычайное происшествие). Комиссия окупировала две комнаты институтского комитета КСМ. Допрашивали. Выясняли. Заседали. Знатоки предсказывали, что меня, студентов операторского факультета Синицу и Копштейна, студента сценарного факультета Головки, студентов актерского факультета Румба и Викторину Бархударову, исключат из ВГИК'а, за этот капустник.

Нет. Не исключили. Вступился мой отец. Он взял меня «на поруки». И остальных простили. Хотя все мы, вообще говоря, получили строгие выговоры с последним предупреждением по комсомольской линии.

Однако, через два-три месяца я «влип» в новую «чашечку» (т. е. ЧП). Это уже скандал номер два. Поэт Зигмунд Игла́, из

Литературного института, познакомил меня с другим поэтом, Антоном Королевым, а тот ввел меня в почти революционную молодежную литературную организацию под названием «Смог». Я принял участие в демонстрации на площади Маяковского, которая была устроена молодежью в защиту свободы творчества. Я даже нес в руках плакат с надписью: «Долой цензуру!» Меня, конечно, сфотографировали «корешки» из КГБ и вместе с другими активистами «Смог» а я был арестован. На сей раз мой батя не вмешивался, на сей раз он наблюдал за ходом событий со стороны. Но ситуация, вообще говоря, сложилась таким образом, что на верхах решили не раздувать это дело, тем более, что информация о нем проникла и на Запад, и большинство арестованных, в том числе и я, были выпущены на свободу.

Вернувшись домой, на Котельническую, я не застал отца. Я побрился, надел свежую сорочку и поехал на такси в Архангельское. Вот тут на гос. даче, поздно вечером, между мной и отцом и произошло то самое объяснение, после которого раздался выстрел...

Я принял позу Ленина, выкинув правую руку вверх, (Точно такой план был у Сергея Эйзенштейна в фильме «Октябрь») и прямо без обиняков сказал отцу все, решительно все, никогда прежде не употребляя столь определенных слов. Я сказал ему:

— Ты меня не спасешь, пахан! Я против тебя и всех вас, цековистов. Вы тираны! Вы держите в плену человеческие души. Я ненавижу вас!

(В фильме камера панорамирует на отца. Представляет как эпохальная панорама).

Отец приблизился ко мне, он был кряжист и силен, и наотмашь ударил меня по щеке, вообще говоря, дал по морде. Я вскрикнул и замер на секунду, не зная что делать, как реагировать, потом схватился за лицо и бросился к двери.

(Кадр! А?)

— Стой! — властно окрикнул отец. — Я не собираюсь больше с тобой церемониться. Мне надоел этот «спор поколений». Я предлагаю тебе выбор: либо ты кончишь все эти идиотские фокусы и перестанешь корчить из себя либерала и борца

за свободу духа, либо в газете «Комсомольская правда» появится фельетон о том, как ты поступал во ВГИК. Может-быть тебе напомнить как это было?

Я почувствовал в тот момент, что в груди у меня похолодело, а ноги вдруг стали как из пакли. Я прислонился к стене и прошептал:

— Это ты... ты сделал... это не я... это ты... ты...

Батя ответил:

— Да, я нажал на кнопки. Тебя приняли в институт только потому, что ты был сынком ответработника. Но ты ведь хотел этого. Ты пошел на этот шахер-махер с подменной письменной работы. Ты не кричал тогда, что я тиран. Ты не ходил тогда с плакатом: «Долой цензуру!». Слюнтяй! С жиру бесишься. Я долго терпел. Хватит. Выбирай!

Одними губами я произнес:

— Но я тогда был молод... я ничего не понимал...

— Врешь! — перебил меня отец. — Ты все великолепно понимал...

Прошла секунда, две, пять.

Неожиданно я испытал злость, отчаяние и злость. И я с вызовом бросил пахану:

— Как же в этом фельетоне будет «освещена» роль моего отца?

Отец помолчал, нахмурился и, понизив голос, сказал:

— Так, как он того заслуживает. Я буду вынужден уйти на партийную пенсию.

(В фильме этот момент я дал крупняком).

Отец направился к двери, открыл ее, постоял на пороге, ничего больше не сказал и вышел. Это последнее обстоятельство, вообще говоря, подействовало на меня не меньше, чем всё, что предшествовало, в том числе и затрещина. Щека, вообще говоря, горела. В голове был полный хаос, чистая полифония. Мысли путались и наслаивались, как яблочный пирог. Однако батя ударил с той стороны, с которой я никак не мог ожидать и поэтому этот удар был неотразим. Действительно, я ведь поступил во ВГИК не честным путем. Мою письменную работу подменили. Доцент Ермаков написал за меня другую. Это была

позорная и грязная история. Правда, о ней никто не знал, то есть, никто из студентов. А если теперь это станет известно всем? Как же я могу рассуждать о высоких материях, о свободе духа, о творчестве, о цензуре, когда я сам просто-на-просто мошенник, жулик, прохвост. Как же я могу быть среди других, которые ради свободы рискуют даже жизнями, когда я сам... Мне представилось как те, другие, берут в руки газету «Комсомольская правда» и читают фельетон, озаглавленный «Авантюрист».

Я на ципочках прошел в столовую. Отца там не было. Я открыл дверь в кабинет. И там отца не было. Я подумал, что он вышел в сад. На письменном столе лежало охотничье ружье, двустволка Тульского завода, очень дорогой работы. (Отец любил охоту). Я взял ее в руки. В эту минуту острая мысль пронзила мой рассудок. И как-то точно, деловито, конкретно. А почему бы и нет? Я, вообще говоря, не испугался. Я не думал о том, что это. Это было выходом из создавшегося положения. Это единственное, что меня интересовало. Я открыл замок ружья. На меня взглянули два медных патрона, с чистыми, свежими капсюлями. Ружье было заряжено. Чем? Картечью? Дробью? Какая разница. На столь близком расстоянии это уже не играет роли. Я закрыл замок и с ружьем в руке, опять же на ципочках, пошел из кабинета к себе, на второй этаж.

Сев на кровать, я подложил под спину большую подушку. Я ни о чем, вообще говоря, не думал, я делал то, как я слышал, обычно делают самоубийцы, я устраивался поудобнее. Я вставил стволы ружья в рот. Они были не очень холодными и умещались во рту без труда. Теперь надо было только нажать на спуск, на два, да хотя бы на один. Достаточно будет и одного.

Мне пришлось разуться. Я снял с правой ноги носок и дотронулся большим пальцем до спуска. Отлично. Все в порядке. На секунду мне все же вспомнилась Викторина Бархударова, но почему то рядом с Иваном Юматовым. А вслед за тем мне опять представилось, как те, другие, будут читать «Комсомоль-

скую правду». Заложив снова стволы ружья в рот, я нажал на спуск. Раздался выстрел. Я слышал выстрел..

(Этот момент я так же дал в фильме крупняком, чтобы показать психологическую гамму на лице моего героя).

Однако, как вы понимаете, на том моя молодая жизнь не кончилась. Хотя я и слышал выстрел, но я не умер. Нет, я очнулся. Когда я очнулся, я увидел над собой женское лицо. Это была медицинская сестра из Кремлевки.\* За ее спиной стоял мой родитель. Он смотрел на меня и в его взгляде я уловил тревогу и жалость. (Представляете план. Снился ли такой Гриффитту?). Я не мог понять что же со мной произошло. Я не сразу вспомнил, что со мной было. Ах да, я же застрелился. Я вложил стволы ружья в рот и нажал на спуск. Но что же было потом?

Я чувствовал ноющую боль где-то в районе носа, нёба и, вообще говоря, вся голова была не своя. Одновременно я чувствовал во рту что-то кисло-горько-холодное. Я попробовал двинуть языком, но мне показалось, что языка у меня и нет. Шея моя и затылок были обложены резиновыми сосудами со льдом. Что же произошло? Может быть это уже не жизнь, может быть это мираж, потустороннее видение?

Отец приблизился ко мне, наклонился надо мной и в полголоса сказал:

— Лежи спокойно. Все кончилось благополучно. Ружье было заряжено патронами с ДДТ для опыления нашей клубники, в саду. Ты получил шок, потерял сознание. Вот и все. Понял?

«ДДТ? Зачем ДДТ? — думал я. — ДДТ употребляют против клопов и для опыления клубники. Отец прав. Наш садовник обычно стреляет из отцовского ружья над кустами клубники и порошок плавно оседает на них...»

Я опять встретил взгляд отца. (Кадр! Кадр!). Он точно выпытывал у меня причину, по которой я решил застрелиться. То ли он, неожиданно для себя, открыл в молодом поколении черты, о которых он и не подозревал, то ли он очень серьезно

---

\* Кремлевская (правительственная) больница.

подозревал, что я знал о том, что патроны были с ДДТ и просто разыграл фарс.

А я, я, вдруг, или как говорят, спонтанно, понял, как-то явственно понял, как-то особенно понял, что я жив и что угроза миновала. Только теперь на секунду я ощутил ужас от мысли, что меня могло уже не быть. Но угроза миновала. Гигантская штука этот инстинкт жизни. Гигантская! Я чувствовал неуправляемую физическую радость. Словно я заново родился на свет, но уже взрослым и все понимающим. И вдруг я так очевидно и вместе с тем так спокойно подумал о том, что мне теперь наплевать на всякие там свободы, принципы и пр. Я подумал, что история моего поступления во ВГИК не представляет из себя ничего предосудительного. Ну и что? У каждого человека в жизни есть темные пятна. Это в порядке вещей. Разве можно прожить жизнь без темных пятен? Смешно. Я не испытывал ни малейшего стыда за то, что выстрел мой в рот окончился, вообще говоря, пшиком. Я уже не ненавидел своего отца и готов был тотчас же с ним помириться. Я уже знал, что с легкостью и без сожаления распрощаюсь со своими новыми друзьями из «Смог»'а и, наверное, прощу Викторине ее связь с Юматовым. Я знал, что отныне все будет спокойно, нормально, безо всяких этих, как отец говорит, фокусов.

Патрон с ДДТ принес мне избавление. Я вдруг понял, что самое главное — жить, жить, все равно как, но жить, и лучше так, как все остальные, как большинство.

Да, главное — жить...

Разумеется, в фильме «Сок юности» обстоятельства самоубийства, вернее, попытки самоубийства, моего героя, показаны, вообще говоря, не совсем так. Кое-какие мотивы, конечно, мы со сценаристом, изменили. Но остался трюк с патроном ДДТ, что особенно восхвалялось во французских газетах и журналах и почему-то возводилось в степень символа. Да, еще хвалили капустник и песенку «Эврибоди вонтс май боди», в исполнении Викторины Бархударовой, которая снималась в этом фильме и играла роль комсомолки-нормировщицы и руководителя драматической самодеятельности...

Ах, черт возьми, может быть дело в этой песенке и в бед-

рах Бархударовой? Может быть за это фильм получил пальмовую ветвь? А? Ведь среди членов жюри фестиваля, преимущественно состоявшего из представителей кап. стран, были большие женолюбы. А?

Кстати, наши отношения с Викторинной, особенно, после «Сока юности», остались прежними. Живем втроем. Я, Витюшка и Иван Юматов, которому уже стукнуло 66. Приспособились. Пришли к выводу, что так, даже повеселее...

Ха-ха! А занятым я парнем был. Как батю выдал: «Вы тираны! Держите человеческую душу в плену!» И ведь совсем это недавно было. Гигантская штука — жизнь. Полифония. Ведь вот чего-то я хотел, во что-то верил. А теперь, теперь у меня пальмовая ветвь, врученная французами, теперь я лауреат, теперь... теперь, вообще говоря, если у меня будет сын от Бархударовой, кажется она таки забеременела и кажется от меня, то лет через двадцать может-быть он повторит те же слова, то же о тиранах, о человеческой душе, но уже в мой адрес. Может-быть в возрасте двадцати лет он тоже чего-то захочет, во что-то поверит... как знать?

*Ю. Кротков*

## ИНЖЕНЕРЫ ЧЕЛ. ДУШ

В это лазурное утро с нежными розовеющими облачками, окаймляющими горизонт индустриальной Москвы, спозаранку, я уехал в наш могучий комбинат, издательство «Советский писатель», находящийся как мы говорим, в Гнездиках, то есть, в Гнездиновском переулке, по-соседству с цыганским театром «Ромен», где, в издательстве, разумеется, на редсовете, то есть, редакторском совете, состоящем из видных литераторов, опытных критиков и нескольких представителей общественности, обсуждался мой новый роман «Когда в нас — прелесть». В этом романе я рассказал о жизни обыкновенных и вместе с тем необыкновенных советских подростков-учеников ремесленных школ. В тематическом плане издательства мой новый роман

определялся весьма лаконично: «О ремесленниках». Да, это был роман о ремесленниках.

Обсуждение, заранее, конечно, predetermined, ибо я не новичек какой-нибудь, а видный и вполне маститый писатель, прошло, что называется, на-ура. Говорили о социалистическом реализме, о революционном романтизме, о методе типизации явлений, о выпуклых и «аккумулирующих» характерах наших современников, о сцентрированном сюжете, о поэтических отступлениях, особенно подчеркивая мое мастерство в этой сфере. Критик Семен Семипалатин, по прозвищу «Бакалавр», почему-то сравнил мое новое произведение с какой-то пьесой француза Сартра. Честно говоря я даже на секунду перепугался. Хотя Сартр и был прокоммунистом, но на кой леший мне подобная параллель? Я могу обойтись и без Сартра. Знаете ли литература вещь хитрая. Тут одно неточное слово или не то имя и возникает целая цепь либо недоразумений, либо что-нибудь похуже... Н-на.

Возвращался я домой, разумеется, в лазурном настроении и думал о том, что в следующее воскресенье, если не будет дождя и наш слесарь отремонтирует водяную помпу, я поеду к себе на дачу в Переделкино и буду сажать клубнику и помидорную рассаду, которую надо будет успеть купить в магазине у Неглинной. Сажать клубнику и помидорную рассаду это мое любимое занятие. Это очень освежает интеллект. И в этом занятии, знаете ли, как говорил еще Козьма Прутков, есть сермяжная правда.

Вылез из своей «Волги» бутылочного цвета, с никелированным покрытием радиатора типа «Акула», дал шоферу, Степану Романовичу Щерба, десятку, по случаю такого лазурного дня и сказал ему: «Романыч, сходи в забегаловку и выпей за мое здоровье, после того, как машину поставишь в гараж». Романыч ухмыльнулся, как Талейран, он у меня с талейрановским нравом, но в общем добрейший человек, миляга, и ответил весьма учтиво, так как он меня и уважает и души во мне не чаёт: «Благодарствую, Илья Петрович».

В парадном нашего дома я дал «рупь» лифтерше Ольге Потаповне, старой большевичке, участнице Краснопресненско-

го восстания, пенсионерке, с которой у меня самые розовые отношения и сказал ей: «Потаповна, с праздником!» Она, взяв, конечно, «рупь», посмотрела на мену удивленно и сказала: «Что то я вас не пойму, Илья Петрович, о котором вы празднике? Теперь не первое мая и не седьмое ноября».

Однако, в лифте, неожиданно для самого себя, я нажал кнопку номер шесть, вместо кнопки номер восемь. Произошла ошибка, но именно в тот момент, в момент ошибки, вовсе не задумываясь о психологической биографии этой ошибки, и не анализируя свое душевное состояние, я вдруг просто подумал: а почему бы мне не заглянуть на «пару минут» к Владьке? И я сказал себе: «Пусть так и будет. Загляну к Владьке». Владька жил на шестом этаже.

Н-на. Тут я должен сделать небольшое, так сказать, не лирическое и не романтическое отступление. Мне надо кое-что пояснить.

Дело в том, что это правда, что мы, советские писатели, а нас целая армия, полчище, легион, ведь ССП, Союз Советских писателей, это уникальный институт, насчитывающий в своем составе тысячи инженеров человеческих душ и не официально, но по-существу (что неизбежно, конечно) мы делимся на ранги, если хотите, на категории, если хотите, на квадраты. Мы как жуки, майские и не майские, в коллекции, расположены по соответствующим рядам, по соответствующей линейке. Я бы определил это, выражаясь несколько фигурально, следующим образом: на самой верхатуре, в космосе, на орбите, в квадрате полета, архи-маститые, или как мы их называем, маршала́, эти почти вне закона о всемирном тяготении, или так они думают, или о них так принято думать, засим, уже в зоне всемирного тяготения, вне космоса, но над облаками, парим мы, маститые, или как нас называют, господа генералы, далее, в облаках, а иногда и в тучах, следуют полу-маститые, это полковники и подполковники, ну и в самых низах, в копоти, в миазмах города и села, копошатся заурядные, как мы их называем, кильки, всякие там майоры, капитаны и лейтенантики.

Возникает вопрос: каким же образом каждый из нас узнаёт в каком квадрате он имеет честь находиться? То ли выдает-

ся соответствующее удостоверение, то ли вешаются на плечи погоны, то ли прикладывается к груди жетон, то ли каждый получает свой пароль...

Нет, до этого мы еще не дошли. Мы ведь не китайцы все-таки, да и наш отец, Сталин, вó-время дал дуба. Мы интеллектуальные люди и мы, повторяю, инженеры человеческих душ. (А термин-то этот от отца любимого). Каждый узнает кто он по нижеследующим косвенным признакам:

Первый. В каком доме живет писатель, хотя все мы живем скопом, в одном двух районах Москвы, если иметь в виду москвичей (как колония какая-то). О нас так и говорят: «Эти, из писательского городка», как прежде говорили: «Эти, со слободки». Но имеются различия в качестве строительства и, главным образом, в высоте потолков. В лучших домах они 3.75 метра, есть 2.95, и есть даже 2.10.

Второй. Сколько писателю платят за печатный лист, или как некоторые выражаются, за печатную форму. Максимальная сумма, «лауреатская», 300 рублей за лист; есть расценка в 250 рублей; но платят и «харчевые» — 150 рублей.

Третий. На какой машине разъезжает писатель. (Писатель без машины? Какой же это писатель!) То ли на «Чайке», то ли на «Волге» экспортного варианта, как моя, или изготовленной по спец. заказу, что означает, что уже на конвейере Горьковского автозавода на шасси машины был красный флажок и надпись: «Для товарища (скажем) Анатолия Ермака, автора поэмы «Космогород», то ли на ординарной, серийной «Волге», то ли на «Москвичишке» красного цвета. (Одного нашего писателя по этому случаю прозвали «Брандмайором»).

Четвертый. К какому лечебно-профилактическому учреждению (центру) прикреплен писатель. (Да, да, прикреплен). Сверху вниз следует: Кремлевка, поликлиника МГК и просто поликлиника Литфонда СССР с собственным рентгеном, зубо-врачебным кабинетом и аптекой.

Пятый. Предоставил ли Литфонд СССР, по постановлению президиума ССП, писателю дачу в Переделкино или Мичуринке, или одну дачу напополам двум писателям, или комнату в литфондовском Доме творчества на срок более шести месяцев.

Наконец, архи-маститые получают правительственный паёк, один правительственный паёк на двух маршалов. Замечу, не без чувства зависти, что эти пайки доставляются в особых пикапах и разносятся людьми в белых халатах.

Н-на.

Итак, я живу в доме для маститых, с потолками в 2.95, на восьмом этаже, но на шестом этаже, в квартире номер 54, не смотря на потолки средней высоты, живет маршал, романист, Владислав Салынин. Вот к нему то я и решил заглянуть на 120 секунд. Мы с Владькой дружим и часто спорим по творческим вопросам. Мы даже с ним бываем откровенны и говорим друг другу колкости. Это потому, что наша дружба зародилась и, так сказать, выковалась, в те памятные дни, когда ЦК «по-матерински» прорабатывал наши романы: мой за метафизический лиризм «Берег счастья», о работниках ЭПРОН'а,\* и его «Полеполе», за бытовой сентиментализм, о работниках МТС.

Захожу я к Салынину, а он в коротких пижамных брюках, точно от долгов бегаёт, в лиловой майке, а на голове мохнатое полотенце, как чалма.

— Владь, поздравь меня, роман утвержден к печати!

Сказал я и обнял его. Он как-то надрывно, через горло, засмеялся, это его обычная привычка, и сказал:

— Дурий циферблат, ты что сомневался? Я ж звонил Лисе. Я ж дал ему команду: поставить в план второго квартала.

Я тоже засмеялся.

— Не фантазмагорствуй, дьявол. Команду дал? Ты все же не Бог. И не Ген. сек. еще. Просто-напросто роман произвел лазурное впечатление. Семипалатин сравнил меня с Сартром.

Владька чуть нахмурился, нижняя губа у него свисла.

— Бойся Бакалавра. Он гад. Если сравнивает с Сартром, значит не взлюбил. У него все пакости начинаются Сартром. Сперва Сартр, а потом Кнут Гамсун и Андре Жид. Ладно, поздравляю. Но я действительно видел на президиуме Лису и сказал ему, что твой новый роман получился на-ять. Настоящая

---

\* Управление по производству подводных работ.

вещь. Лапидарно. Сочно. Ярко, Фактурно. Напомни про что твой роман-то?

— Про ремесленников, — сказал я.

— Ладно, садись. Сыграем в шахматки...

Владислав Салынин, конечно тип. Он невысок ростом, сутул и костист, причем кости у него хрустят так, как хрустит хворост, приготовленный в духовке моей дом. рабой Марфой. Владиславу уже за 60 и лицо его напоминает лицо старухи на знаменитой картине Рембрандта, желтое и тоже костистое. Седые волосы, сухие как осенняя трава, челкой прикрывают верхнюю часть лба, а сзади обнажают угловатый, явно дегенеративный, похожий на кокосовый орех, затылок. В глазах у Владьки постоянно горит огонек садиста, человека, для которого высшее благо в жизни издеваться над своим ближним. Но, в основном, сердце у него, безусловно, гуманное и вселюбящее. К тому же Владька убежденный коммунист, партиец, по общему признанию, верный ученик и последователь Максима Горького. Конечно, большинство его романов прочно вошли в сокровищницу нашей советской литературы. Я имею в виду такие, как «Жизнь Клима Чугуна», о строительстве Магнитки, «Гнездо в Минске», о чекистах, верных сынах Ф. Дзержинского, «Сорокоборцы», о новаторах-речниках с Печоры и, наконец, недавно нашумевший роман «Великая година», о советской атомной технократии. Салынин имеет шесть или семь Государственных премий (бывшие Сталинские), у меня их три, а за «Годину» он уже схватил и Ленинскую.

Добавлю, что Владислава Салынина все немного побаиваются, так как он по-пролетарски резок и даже груб. К тому же он любит употреблять матерные слова. И всегда, даже на заседаниях в ответственных учреждениях, даже в присутствии слабого пола, почесывает места, которые чесать не принято.

Живет Владислав в квартире из пяти комнат один с тещей. Жена его, Клавдия Георгиевна, сначала запила, а потом ушла к поэту, тоже архи-маститому, Олегу Гнедому, жена которого, Ольга Антоновна, в свою очередь ушла к драматургу, тоже из архи, Афанасию Уська, жена которого, Сима, однако, просто отдала Богу душу по причине ожирения сердца и, как говори-

ли, жадности непомерной. Теща Владислава отреклась от дочери в его пользу. Зовут ее странно: Софья Асиловна. Но Владька перекрестил ее в Софью Насиловну. У нее есть знаменитая в Москве коллекция кактусов, и рыжий кот по имени «Мальчик».

Эти подробности знают все «маститые» в нашем доме, поэтому встречая Софью Асиловну, они обычно улыбаются и учтиво спрашивают: «Как мальчик»?

Игра в шахматы — страсть Салынина. Однако играет он в шахматы по-своему. Прежде всего — на деньги. От пяти рублей за партию и выше. Играет нечестно. Берет обратно ходы, переставляет, как Остап Бендер, фигуры и приходит в страшный гнев, если проигрывает. При этом все это без капли юмора, все это всерьез, с сопением, с кряхтением, с упоминанием имен Капабланки, Алехина и его коровы, Ласкера и Ботвинника.

Я тоже люблю шахматы, но с Владькой играть избегаю. Одни неприятности. Как-то я выиграл у него, так он не только не дал мне денег, но потом еще три дня со мной не разговаривал и распространял слух о том, что я сын белого офицера из колчаковской армии, который в свою очередь якобы был чуть ли не племянником генерала Ермолова, покорившего Кавказ. (Чепуха на постном масле. Мой отец по принуждению служил у Деникина, а не у Колчака, и был не офицером, а ветеринаром).

Нет, я не из таких, чтобы проигрывать нарочно только лишь потому, что Салынин автор «Великой години», а я «Когда в нас — прелесть».

— Владь, следующий раз. Сейчас я тороплюсь домой. Сюзочка ждет меня.

Попытался я увильнуть от предложения Салынина.

— Подождет, — пробурчал он и недовольно сверкнул левым глазом. — Не убудет тебя...

Н-на. При создавшейся ситуации мне было трудно отказать Владиславу и мы сели за шахматы.

— Ну что, Калигула, по червонцу за партишку? — сказал Владька. — Идет? Ох и жмотина ты, Ильюха. Или твоя Сюзетта

выделила тебе на карманные расходы тотальную пятерку? А?

Я лазурно воскликнул:

— Ты Квазимодо, Владь, потому, что думаешь о людях худо. А моя Сюззи ничем не похожа на покойную жену Афанасия Уськи Симу, она дала мне сегодня целую сотню. Что, получил, кацап?

Владислав проскрипел.

— Ладно, ладно. Отчаливай от дебаркадера, холера. Белые, конечно, мои потому, что ты у меня в доме и это дает мне законное преимущество. Пешка е2 на е4...

Н-на, подумал я, «начинается». Белые его потому что я у него в доме. Ничего себе аргумент, в стиле Салыгина. Но я уступил и не возражал.

Мы играли молча, воды в рот набрав.

А через окно доносился шум индустриального сердца нашей родины, он мешался со звонкими голосами детворы, юных строителей нашей жизни, цветков эпохи, которые, как инкрустация веков заполняла своды великого града. В окно вплывал и чуть усталый, крылатый зной...

Владислав изредка пофыркивал, как кот «Мальчик», лезавший у его ног. Переставляя фигуры Владислав старался с силой «втереть» их в клетчатую доску, но при этом часто помещал фигуру между двумя клетками и вопросительно смотрел на меня, пытаюсь уловить по выражению моих глаз, что меня менее устраивает.

Я играл с чувством собственного достоинства.

— Долго мозгуешь, Эйве, — вдруг вякнул Владислав.

Н-на, подумал я, «начинается», так как в этот момент я заметил, и это заметил уже и Владислав, что он теряет фигуру. Я не выдержал марки, ухмыльнулся и язвительно сказал:

— Фигурёц-то того... на ладан дышет...

Владислав сделал вид, что он меня не понимает:

— Какой фигурец? Что ты там языком трясешь?

Я указал глазами на коня и запел:

Стаканчики граненые упали со стола,

Упали и разбились, а с ними жизнь моя...

Владислав хрустнул суставами пальцев, нахлобучил брови, подобрал отвисшую губу и рывкнул:

— Рано ликуешь. И чего горло дерешь? Эту контру фифы во времена НЭП'а выдавали.

Он взял коня и переставил его на прежнюю позицию. Я конечно запротестовал.

— Нет, Владь, обратно ходов не даю. Мы же условились до начала игры. Ты же поклялся здоровьем Софьи Насиловны...

Он грубо перебил:

— Я поклялся здоровьем не Софьи Насиловны, а Софьи Асировны. Какая она тебе Насиловна. Что за фамильярность. Ты, козлиное вымя, много себе позволяешь в адрес моих родственников.

— Хорошо. Прошу извинить, — сказал я и добавил: — Но коня поставь туда, где он стоял. Иначе я не буду играть.

Словом с коня началось. И пошло. И пошло. Мы разругались насмерть. Владислав вскочил из-за стола, отшвырнул ногой «Мальчика», сорвал с головы мохнатое полотенце, схватился за сердце, как он обычно это делает, и, якобы задыхаясь от гнева, как рыба широко открытым ртом стараясь схватить воздух, закричал на всю квартиру:

— Сука, мещанин! Повесил у себя в кабинете портрет Некрасова и думаешь, что ты писатель. А ты бездарь, мать твою! Да, да, да, писарь грошовый. Соц. реалист подмоченный. Инженер чел. душ! Лазурщик! Лазурные романы сочиняешь. Из пальца их сосешь. Пачками штампуешь. Если бы не я, тебя бы давно на помойку выкинули, мать-размать. Приспособленец! Колчаковец! Всем зады лижешь, жидок...

А я, во-первых, не еврей, честное слово. Моя мать была мордвинкой, родилась в Саранске, а училась в Казани. Во-вторых же, честное слово я не лижу всем зады. Прежде лизал, а теперь нет, потому что занял положение маститого, теперь уже кое-кто другой мне зад лижет.

Я тоже вскочил из-за стола, подтянул чуть сползающие брюки и, размахивая руками, закричал на всю квартиру:

— Ах ты, сукин ты сын! По трупам, с помощью любимого папы, на Олимп взобрался. Да знаешь ли ты, бандит, что твои

романы штабелями лежат в магазинах и их никто не покупает?! Это во-первых, а во-вторых, твой роман «Великая година» называют «Великая гадина», имея в виду тебя, тебя, Смердяков, твой новый социалистическо-смердяковский характер.

Тут Владислав, перестав чесать неприличное место, обнаружив молодецкую прыть, подскочил ко мне, обхватил своими щупальцами мое горло и стал душить меня, продолжая вопить на всю квартиру:

— Кто, кто так называет мой роман? Говори кто, мать-перемать, или я позвоню сейчас в КГБ и тебя арестуют и сошлют туда, куда Макар телят не гонял. Говори кто, мать-размать-перемать! Говори, кто!?

Я в молодости был боксером веса мухи, играл в футбол и даже поднимал гири, поэтому мне без труда удалось вырваться из рук Владислава. Я отпрыгнул в сторону, как газель, встал в позу боксера, готового нанести страшный нокаут и крикнул:

— Народ!!

Финал этой драки был весьма неожиданным. Этого Владислав прежде никогда не делал. Он взял шахматную доску с фигурами и выкинул то и другое через открытое окно на улицу, кому-то на голову.

— Вот тебе! Вот тебе, козлиное вымя!

В лифте, поднимаясь на восьмой этаж, я невольно рассмеялся. Повторяю подобные баталии, все это, бывало уже не раз, в том числе и острый обмен «любезностями», но выкинуть в окно собственные шахматы... Какой он все же идиот этот Салынин!

Я вошел к себе в квартиру, чмокнул в губы Сюзетту, которая как всегда была в синем тренировочном костюме с четырьмя буквами на груди: «СССР», в папилотках и домашних туфлях на высоком каблуке с розовым помпоном у носка, и то и другое привезено из самого Парижа, и, конечно, сразу же рассказал ей о том, что только что случилось у Владислава.

Мой Сюзик, которого в Доме литераторов называют «Танк», потому что во время войны она служила в танковых частях и была в 1945 году уже в чине подполковника, имела орден Ленина и два ордена Красного знамени, в «Правде» о ней

был помещен подвал под заголовком: «Гроза немецких оккупантов», (Сюзетта тоже писатель и пишет повести о боевой учебе в Советской армии и на флоте) сердито двинула желваками своих скул и басовито сказала:

— Это наши.

— Что наши? — спросил я.

— Шахматы, болван.

— Как так? — почти взвизгнул я.

На это Сюзик, затянувшись своим «Беломором», произнесла внятно и раздельно:

— Владислав утром поднялся ко мне и сказал, что он забыл свои шахматы на даче, а что ему очень хочется разобрать один этюд. Он попросил наши. Я, конечно, ему их дала.

Н-на...

— О-ля-ля! — иронически добавила Сюзетта.

С тех пор, как мы с ней побывали в Париже, как сов. туристы, она усвоила эту лягушачью манеру произносить по любому поводу или без повода «О-ля-ля».

В следующее воскресенье Владислав пришел ко мне на дачу в Переделкино, где я живу между старой дачей столпа сов. юмора Аркадия Левши и новой дачей редактора «Лижи», это у нас так называют газету «Литература и Жизнь», бывшего ответ. секретаря журнала «Зеленые околышки», Елизара Поддубного, за спиной которого помещается дача вдовы артиллерийского маршала Кручко и слева, на аллее имени Гоголя, дача известного московского гомеопата Евгения Лачужкина, лечащего, кстати, мою Сюзетту от кострита и подагры, и финский коттедж вишневого цвета, прозванный остряками «Клюквенным домом», видимо потому, что в нем живет критик Крыжовников, специалист по драматургии нашего сов. классика Анатолия Софоклова, дача которого (вернее, огромный русский терем-теремок, в стиле Билибина) находится тут же на аллее имени Лермонтова. Владислав, живущий в шикарной, бывшей даче восточного революционера-публициста Азыма Кривета, у плотины имени Ворошилова, застал меня за работой в огороде, где я сажал помидорную рассаду. Он был в фетровой шляпе, в светлом модном костюме, в двухцветных остроносых туфлях,

все это он привез из Рима, куда ездил в качестве советского делегата на Международный конгресс романистов-гуманистов, проходивший под лозунгом: «Свободный разум — залог прогресса». Спокойно, как ни в чем не бывало, он сказал мне:

— Здорово, Ильюха! Лазурный денек, а?

Я сдержанно ответил:

— Да-а...

Тогда Владислав сказал:

— Что, кустики окапываешь? Это хорошо. Знаешь новую поговорку: «У каждого кустика своя акустика». Имей это в виду. Хэ-хэ... — И он как-то зловеще и хитро подморгнул мне.

Затем, почесав одно место, он еще более спокойно и миролюбиво добавил:

— Слушай, Калигула, когда же будем доигрывать партию? Я ведь помню расположение всех фигур...

*Ю. Кротков*

\*

Мне голову отрубили на плахе  
И покати́лась моя голова.  
Ее хотели отдать собаке,  
Но собака понюхала и ушла.  
И вот, моя голова на площади,  
Под забором, в канаве.  
Ходят люди, скачут лошади  
И во всей своей славе  
Прошел крестный ход.  
А голова живет да живет.  
Всё видит, всё понимает,  
Ей не страшно, она знает,  
Что скоро придет Христос...

Может-быть даже сегодня ночью.

\*

О, как просто и как прекрасно!  
Тишина. За оградой сада  
Расцветает сирень и птицы  
Золотистому рады солнцу.

Приоткрыта чуть-чуть калитка.  
О, не бойся, ты — гость желанный,  
долгожданный. Вступи в ограду,  
там среди земляники яркой,

ты увидишь кота-мурлыку  
и навстречу тебе, с улыбкой,  
из-за свежих кустов жасмина,  
простирая объятия, выйдет...

И не будет вовек разлуки!

\*

*Темире А. Пахмус*

О, эти сны без смысла, без названья,  
 Что снятся в предрассветный час,  
 Не доходя до пленного сознанья.  
 Что надо вам? Боюсь я вас.

И я молчу и нет в душе покоя.  
 Непостижимо для чего  
 Живет во мне какое-то другое,  
 Неведомое существо.

Друг или враг? О чем ты вспоминаешь?  
 Чья на челе твоём печать?  
 Мне кажется, ты мне добра желаешь.  
 А может-быть и нет. Как знать?

И снова я закидываю сети  
 В неплещущее море сна,  
 И снова звуки, снова звуки эти —  
 И тишина.

*Владимир Злобин*


---

Мы с большой печалью узнали, что постоянный наш сотрудник, известный поэт и критик Владимир Ананьевич Злобин недавно заболел и помещен в госпиталь для нервно-больных. Мы от души желаем В. А. скорого выздоровления. Печатаемые стихи В. А. Злобина присланы им за несколько месяцев до болезни. РЕД.

## ТАКСИСТ

Поздней ночью, запоздавших пешеходов застала на дороге снежная метель. Постепенно под широким навесом наглухо запертого магазина, собралась небольшая группа, незнакомых между собой товарищей по несчастью. Навес защищал их от снега не плохо, но все-же на тротуаре образовалась растоптанная их ботинками, снежная неприятная слякоть. Люди натоптались в этой слякоти, промочили обувь, намерзлись, бранили погоду, успели поговорить о политике, осудить своего мэра Эррио, за то, что он набрал в шоферы такси, каких-то белых русских, из которых ни один черт, вот теперь, когда нужен, не появляется. А снег не только не прекращался, но наоборот, как-бы издеваясь над своими пленниками, еще усилился, повалив густыми крупными хлопьями. Люди замолчали, выше подняли воротники, иные пошарив в карманах, нашли газеты, и прикрыв ими головы собрались продолжать дорогу. Скрипач со скрипкой в чехле и господин с красным лицом, лиловым носом и отвисающими красными веками, уже было вышли из-под навеса, но тут в непроглядной белой кисее, замелькали желтые огни, обозначился красный флажок счетчика, забитые снегом фары и вся словно выкупанная в сметане показалась, лимонного цвета, машина.

— Такси! такси! — закричали хором, в сильно смягчающую голоса метель, все кто был под навесом.

Тормоза скрипнули, такси с неподвижными колесами, как санки пронеслось мимо, стукнулось о тротуар и остановилось только метров за двадцать.

Кто остановил его, кто крикнул первый, было неизвестно и потому, все люди бросились бежать на перегонки. Между тем, машина окружила себя облаком дыма и начала пятиться назад навстречу бегущим. Так что кто был первым, оказался

последним. Все перепуталось, смешалось, передние теперь бежали назад и когда такси остановилось, они начали пробивать себе дорогу, расталкивая отставших локтями.

Чувствуя себя как-бы капитаном спасательной лодки, на борт которой лезут, отталкивая друг друга, утопающие, Никифор выскочил из машины с тем, чтобы открыть, туго открывающуюся дверцу.

Рой освещенных фонарем, сверкающих хлопьев, вертелся и падал в необыкновенной воздушной тишине, которая скрадывала голоса, крикливо спорящих о своих правах на такси, нетерпеливых людей.

И машина и фонарь и домá и весь город, все тонуло в этом белом, тихом хаосе густых хлопьев. И в этом летящем белом пуху Никифору вдруг почудилось что-то свое, родное, веселое, словно для него одного пришла в чужой город, своя милая русская зима. Он всей грудью вдохнул в себя этот особенный, пахнущий снежной чистотой, прорывающийся сквозь снежные хлопья ветерок, вдохнул и почувствовал в нем какую-то вечную бодрость стихийных сил мира. И тут, именно тут, он оглянулся и увидел девушку, которая сиротливо стояла у радиатора машины, в стороне от спорящих столпившихся людей.

Запорошенная снегом прядь золотых волос выбивалась из-под ее шелкового платочка, белая шубка, мехом наружу, доходила ей до талии и обжимала ее словно корсет, из-под которого пышно выступало и падало, чуть приподнятое, рукой в белой перчатке, длинное серебряное, бальное платье. Ее бальные туфли увязали в снегу. Лицо грустное с румянцем на слегка скуластых щеках, с подведенными красными губами и угольно черными, длинными ресницами, за которыми виделись большие перепуганные глаза.

«Что-ж я за чурбан?», спохватился Никифор «даже зонтика у этого ангела нет». И решив выручить, спасти эту девушку Никифор широко расставил руки так, что только она одна могла подойти к дверце такси.

— Мадмуазель, — сказал он, — пожалуйста, прячьтесь поскорее в машину, снег идет, у вас зонтика нет!

Она захлопала ресницами, взглянула на других, желающих

ехать. Люди толпились у дверцы машины, явно не желая уступить ей свои права.

— Дайте пожалуйста дорогу мадмуазель, — продолжал Никифор, — я за ней специально приехал, она заказала мне за ней приехать — врал Никифор, видя, что никто не хочет посторониться.

— Заказала под навес магазина приехать? — иронически заметил скрипач.

— Да, да! — подхватили другие — вот именно!

— Даме господа, все-таки, надо уступить, — сказал кто-то не очень решительно.

— Видите, мадмуазель, уже все согласны вам уступить, садитесь же скорее пока не замерзли, — говорил Никифор делая пригласительный жест.

И вот она, подняв высоко свое платье, подошла к такси, Никифор быстро распахнул перед ней дверцу. Ее голова, со снежинкой на реснице и плечи, в пахнувшей духами шубке, утонули в сумраке кареты, сверкнула, похожая на нажимистый восклицательный знак, розовеющая сквозь ажурный чулок, обнаженная до подколена нога.

Никифор захлопнул дверцу...

— Как? Вы только ее одну берете? А меня? А меня, — закричали все и засуетились. Господин, с красным лицом, преграждая Никифору дорогу посоветовал ему убираться в свою Москву вместо того, чтобы заводить тут большевицкие порядки.

Никифор хотел ему ответить, что ничего общего с большевиками не имеет, но господин не дал ему говорить, начал ругаться площадной бранью и бросился на Никифора с поднятыми кулаками. Тогда Никифор толкнул его в грудь. Он думал голько оттолкнуть назойливого человека с дороги, но господин вамахан руками так, словно ему захотелось показать как могли бы летать птицы, попятился, зацепился ногой за люк, куда подметальщики улиц вставляют свои шланги, поскользнулся и грузно упал в снег.

Быстро смахнув снег с переднего стекла, Никифор подобрал длинные полы своего пальто и уселся за руль. Мотор за-

работал, от самой земли начали подниматься к фонарю клубы бензинного дыма. Машина, буксуя колесами, вся дрожала, визжала, но с места не трогалась. В этот момент дверца открылась, скрипнули рессоры, скрипнули пружины сидения, дверца с грохотом защелкнулась.

«Влез какой-то черт!» — подумал с досадой Никифор. Колеса наконец вырыли в снегу канавки до самого асфальта и такси поехало.

Электрическая прочищалка выскребла перед глазами два просвета, на них садились и садились, новые и новые хлопья снега, а изнутри эти просветы покрывались паром дыхания, так что нужно было держать наготове тряпку и время от времени, протирать ею тускнеющую картину призрачных городских улиц. Каждый телеграфный столб, каждая уличная скамейка, круглая тумба для афиш, фонарь, ствол дерева, все эти незаметные в хорошую погоду предметы, сделались теперь путеводными маяками.

Отъехав немного от фонаря он спросил адрес. Девушка назвала улицу, номер дома, непрошенный гость промолчал. Улучив мгновение Никифор оглянулся. В сумерках кареты увидеть лица пассажиров было трудно. Все же ему показалось, что там на улице, такого человека не было. Непрошенный гость сидел так, словно всё место принадлежало только ему. Он сбивал щелчками снег со своей шляпы, а девушка ютилась в самом углу, так что Никифор увидел только, сверкнувший из-под ресниц блеск ее глаз. И показалось ему, что в глазах этих была ирония по отношению к соседу и полное доверие по отношению к шоферу. И еще больше захотелось Никифору сделать путешествие этой прелестной девушки быстрым, легким и безопасным. Он даже пообещал себе, что обязательно въедет на тротуар, подвезет ее к самой двери дома, чтобы она не шла в своих бальных туфельках по снегу.

Много других прекрасных мыслей кружилось в голове Никифора и было ему, как-то, особенно легко управлять машиной, которая как-бы не нуждаясь в управлении мчалась сама собой сквозь метель.

Все это было, конечно, гораздо проще и если Никифор,

так глубоко переживал этот, собственно говоря, пустячек, то это, по всей вероятности, происходило от его природных качеств, которые в его положении были и не нужны и не применимы. Дело в том, что настоящее было у него как-бы вычеркнуто из жизни: он жил только прошлым и будущим. По ночам, как шофер, Никифор часто встречался со всякими городскими отбросами, с низами, бывал по необходимости, со своими клиентами в ночных кабаках, в публичных домах, видел и слышал много грязного, но все это проходило мимо его глаз и ушей. Ему было уже двадцать семь лет, но он все еще по своему внутреннему складу оставался таким же гимназистом шестого класса, каким был, записываясь в добровольческую армию.

Он застрял на этом своем возрасте не потому, что был глуп или не способен, а потому, что так сложилась судьба: недоучившись, он повоевал немного, покинул родину и сразу начал жить прошлым. И в то время, как люди, живущие нормальной жизнью у себя дома, по дороге к тридцати годам постепенно теряют все свои юношеские чувства, Никифор живя вычеркнутой жизнью, не воспринимал новых впечатлений и потому не мог и стареть.

Он знал что ни восход зари, ни поля, ни леса, ни реки, ни люди, ни животные не могут быть лучше, чем были в России и потому всё, что он видел не задевало его внимания, а городская роскошь одежд, набитых товарами магазинов, даже казалась ему как-бы издевательством над голодной и несчастной Россией, которая положила миллионы своих лучших сынов за это чужое благополучие.

Ужасы голода, террора, Соловки, Сибирь, тюрьмы, все это мучило Никифора и он часто с ужасом замечал, что пользуется и сам благами этой богатой, весело живущей, приютившей его страны, в то время как там, на родине, другие русские страдают в голоде, в холоде, в нищете. И ему казалось, что там творится подвиг, а здесь какое-то себялюбивое прозябание. Его мысли всегда были заняты, чем-то отвлеченным, и это был, в его шоферской практике, первый случай, когда он внезапно почему-то занялся судьбой неизвестной ему девушки.

За стеклами машины несло, мело, кружило. Все что шло

навстречу по белому полю улицы, было похоже на привидения в белых саванах, сквозь которые проступали как бы бесплотные тени безлюдного города.

Занятый этой трудной ездой, Никифор долгое время не обращал внимания на то, что за его спиной пассажиры разговаривали.

Но вот, снежные хлопья поредели и постепенно даже редкие отдельные снежинки исчезли. Между белыми ветками уличных деревьев, ярче вспыхнули фонари, показались стены домов, над мостовой, словно укутанные мокрым пухом, повисли трамвайные провода. Дорога перестала требовать слишком большого напряжения, и у Никифора появилась возможность прислушаться к разговору.

С первых же слов он понял, что непрошенный гость выдает себя за значительную персону в кинематографическом мире.

— Для моего фильма я нашел женский тип, — говорил пассажир с какой-то наглостью, — и главное, представьте себе, на балу, на балу где были и вы.

Ах как жаль что я не знала!

— А я вам опишу ее, хотите?

— Конечно, пожалуйста, — заискивающе проговорила девушка.

Выслушав его подробное описание платья, прически, роста, фигуры, лица, она ответила, что такой женщины на балу никак не припоминает.

Пассажир, было, подсел к ней ближе, но опять пересел на прежнее место.

— Как? Даже в зеркале не видели?! — проговорил он. И опять подсаживаясь поближе заговорил вкрадчиво, словно декламируя: — Как же вы до сих пор не поняли, что это я вас выбрал, вас, моя дорогая, будущая звезда экрана, вас, вас, я гнался за вами и поймал вас в последнюю минуту, когда вы садились в это такси.

— Меня? Оооо! — проговорила девушка озадаченно и смущенно. — Меня? Нет! Я ничего этого не могу, я не могу играть, моя мать простая консьержка, простите, я не гожусь, как же я буду выступать?!

Пассажир подсел еще ближе, (Никифор почувствовал, что они сидят прижавшись друг к другу и услышал, что он похлопывает ее по колену).

— Это ничего, ничего, глупенькая, можно сто раз переигрывать каждое место фильма, до тех пор пока оно не выйдет хорошо — говорил он, утешая девуцу, — я тебя выбрал и это главное, а все остальное пойдет у нас как по маслу.

— Неужели правда, что я смогу играть? — и она от радости хлопнула в ладоши.

— Мы обязательно введем в наш фильм, как ты сама себя не узнала в зеркале, — сказал он подхихикивая. И она тоже вдруг засмеялась неестественно и подобострастно.

Никифор услышал шелковый шелест и, похожий на высасыванье мозга из кости, поцелуй.

— Шофер! вдруг обратился к нему пассажир, — скажите, почему вы именно нас выбрали?

— Вас? Я совсем вас не выбирал, — ответил запальчиво Никифор, потому, что вся эта их история ему уже сильно надоела.

— Ах, да я забыл! Вы не меня, а мадмуазель выбрали, видишь, моя курочка, даже шофер тебя выбрал.

— Шофер? Ах, как это интересно! — и она засмеялась. И голос ее, и в особенности смех, поразили Никифора своим контрастом с тем существом иного мира, которое создало его воображение среди падающих хлопьев снега. Вся эта его выдумка теперь его как-то оскорбила. И он сразу почувствовал, что от снежной белизны у него болят глаза, болят плечи и даже как-бы вся кожа болит.

Теперь он уже никого не спасал, а просто вез обыкновенных пассажиров по данному адресу.

— Шофер, послушайте, отвезите нас в парк, — сказал пассажир трогая рукой плечо Никифора, — мадмуазель хочет еще покататься.

Никифор запротестовал: сказал что он слишком утомился. Пассажир начал настаивать. Между ними завязался спор, в который вдруг вмешалась она, затараторив крикливым, неприятным голосом о том, что вот шофер, мол, и там, на улице уже

учинил скандал, подрался с кем-то, что она даже боялась с ним ехать, и, что теперь опять он скандалит, что этого нельзя так оставить, что нужно принять меры, что нужно найти полицейского. Никифор только диву дался: откуда у женщины может взяться столько подлости? Не зная, как от них отделаться, он повернул машину в сторону парка.

На набережной — мостовая была широкая, деревья высокие, фонари яркие, поэтому тени веток бежали по внутренности машины ажурным кружевом. Они темнели, когда фонарь приближался и светлели когда удалялся. За воротами парка последний фонарь отстал и в карете воцарилась сумрачная лесная тишина.

Деревья, аллеи, поляны словно только что вышли, из очистительной купели, только что родились. Всё в парке было чудесно, всё мягко округлялось, сияло незапятнанной чистотой. За темными стволами аллеи виднелись белоснежно ровные поляны с облачными вершинами кустарников, а над самой дорогой ветви образовывали нечто вроде кружевного грота с черными просветами в ночное небо.

Но Никифор уже смотрел на всё это своими прежними глазами и, чтобы избежать сентиментальностей по отношению к не русской зиме, думал, что утром всё это потечет, превратится в болото, по краям аллеи прохожие оставят желтые пятна, набросают бумажки, окурки, а в городе, болваны подметальщики улиц будут посыпать снег солью, скрести, поливать водой, до тех пор пока город не примет свой обычный серый, скучный вид.

Среди этой невеселой картины чужой зимы до его ушей долетел легкий шелест не то по шелковому платью, не то по чулку. В прерывающемся шепоте слышалась просьба, потом взволнованная торопливая мольба и вдруг перейдя почти в возглас о пощаде, замерла на устах... И как бы в ответ на эти жалобные просьбы и мольбы, сразу началось какое-то самодовольно-бодрое поерзыванье и поскрипыванье...

Никифору стало дико и противно сидеть за рулем, черные стволы деревьев и белый снег соединились в одно целое, дорога исчезала и появлялась в неопределенных местах: словно из-за

гор и пропастей. В каком-то самозабвении Никифор резко остановил машину, открыл дверцу и выскочил из нее. Он быстро пошел по глубокому снегу через поляну. В голове шумело словно в пустой раковине. Не особенно сознавая зачем он всё это делает, он дошел до озера и остановился только тогда, когда увидел перед собой, блестящую смолой, зеркальную гладь. На белом отражении вершин прибрежных каштанов спали дикие утки, мирно подвернув головы под крылья. Он посмотрел на небо, на спящих уток, сгреб со скамейки ком снега приложил его ко лбу и отбросил. В этот момент из-за облаков выкатывалась луна, парк озарился тысячами разноцветных искр. Оттуда, где он бросил машину, послышался испуганный голос: — Шофер! Шофер!

«Ничего не поделаешь, надо итти», — подумал Никифор и пошел назад к своему такси.

*А. Величковский*

## ПОРТРЕТ

Я наносил на грубую холстину  
Углы бровей и ласковый овал  
Ее лица. Чтоб краски не остыли  
Я музыку на помощь призывал.  
Выписывал ворсинки карей муфты,  
Рябившие, бывало, сквозь метель.  
Ее зрачок, смеющийся и смуглый  
Шутя прикрыла стрельчатая тень.  
Лицо, бывало, выплывет из мрака,  
А я с дыханьем сладить не могу.  
Дощатый бок вокзального барака  
Припоминает шапочку в снегу.  
Дом улыбнулся, с ней глазами встретясь,  
Мгновенно стала улица иной —  
Ну как я удержу ее в портрете  
Со всей ее лукавой рыжиной?  
Ее возьмет трамвайная площадка,  
Развеет ветер, ототрет толпа,  
Мелькнет, прощаясь, красная перчатка,  
Закружится декабрьская крупа.  
Абракадабру алгебра бормочет,  
Доска сияет меловым лучом.  
Я забываю рыжеватый очерк,  
От мира школьной курткой отлучен.  
И только в сны, набухшие значеньем,  
И множеством смещенных перспектив  
Вплывет глазное карее свечение,  
Наивный, но не меркнувший мотив.

## ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ ВЕЧЕРОМ

В древесных контурах такая чистота,  
Такая память скрыта под корою,  
Как будто эта роща или та  
Присутствует на пиршестве героев.  
Поляны дремлют, но еще не спят —  
В уме у них гомеровские грозы —  
По ним, пятная листьями закат,  
Струится пегий холодок березы.  
Стволы столпились, головы склонив,  
Немая часть вечернего пейзажа,  
Но если люди позабудут миф,  
То сжалятся деревья и подскажут.

## ВАН ГОГ. ВЕСНА

Взорвался в тиши галереи,  
Пьянея от масла, Ван Гог;  
Рванул небеса и деревья  
И выпятил облачный клочок.  
Кругами клубящихся пятен  
Метнулась озерная гладь,  
Как будто мигренным объятьем  
Хотел он вселенную сжать.  
Огромный подсолнух, рыжее,  
Чем солнце, взмывает рябя.  
Природа вспухает движеньем  
И рвется сама из себя.  
Весна отзывается блеском  
Стекла и броженьем умов,  
И пишет зеленую фреску  
На сером подтексте домов.

## МОИ ДОМ

Итак, мой дом запутался в листве,  
Мой дом — ребрастый коробок от спичек,  
Мой дом — не дом и не гамак привычек,  
А словно свищ у дуба в голове.  
Скрипит мой дом — скворешник на шесте  
Невероятностей, ненужностей, нескладиц.  
Мне очень трудно с головою сладить  
На бесприютной этой высоте.  
Как ноют деревянные виски,  
Прижатые железными скобами,  
Зубная боль живет внутри доски,  
Приподнятые плечи выгибая.  
Ночам дощатым некому помочь —  
Они, как ветки, мечутся над миром.  
Страдая флюсом, охает всю ночь  
Простуда деревянного шарнира.  
Мой дом на гибком стержне возведен,  
В нем кровь стучит, как деревянный молот.  
Прохвачен череп ледяным гвоздем  
Ночной тоски, и надвое расколот.

*Олег Ильинский, 1966*

## О РУССКОМ АКРОСТИХЕ\*

Назвать пионера русского акrostиха трудно. Им является, быть может, Маркелл, по прозванию Безбородый, игумен Хутынского монастыря, что возле Новгорода, на берегу Волхова (здесь, заметим, похоронен Г. Р. Державин). Живя на покое, Маркелл написал в 1557 году житие и два канона св. Никите, епископу новгородскому. О существовании у Маркелла «узорного краегранесия» (краегранесием, краестишием или иместишием величали на Руси в то время акrostих) писал Алексей Ремизов.

В XVII в. акrostихи писали Симеон Полоцкий, Евфимий Чудовский, Иларион, Феоктист и др. (о том подробнее в труде М. Н. Сперанского «Тайнопись южнославянских и русских памятников»). Их акrostихи составлялись из первых букв всех стихов виршей. Текст вирш подгонялся под форму, превращаясь в словесную игру. Акrostих этого времени представляет собой или имя автора, или имя того, к кому вирши адресованы, или, наконец, какое-нибудь высказывание, пожелание, то, что автор желает сделать понятным лишь для немногих посвященных. В этом случае акrostих выполняет роль своего рода тайнописи. Пользуясь формой акrostиха, автор начинает искать способ закрепить за данным произведением свое имя, что свидетельствует о пробуждении авторского самосознания.

Когда заходит речь о зачинателях русского акrostиха, невозможно не остановиться на имени Германа, архимандрита Воскресенского на Истре, Новый Иерусалим, именуемого монастыря, воспитанника патриарха Никона. Герман был — одно время — при Никоне иподиаконом; на картине-портрете Никона с Воскресенской братией Герман изображен держащим перед патриархом разогнутую книгу.

Стихотворная эпитафия на его гробнице (он умер в 1682 году) называет Германа «рачителем писания хитроученым». Имя Германа, как автора песен-акrostихов впервые упомянул

---

\* См. «Н. Ж.» кн. 87.

в литературе ныне здравствующий московский профессор А. В. Позднеев («Песни-акrostихи Германа»). Перу архимандрита Германа принадлежат силлабические вирши с акrostихом, — «сложнописание», как называли их современники автора, — на могильном камне патриарха Никона. Но более совершенны его песни-акrostихи. Известны 14 песен-акrostихов с именем Германа, большею частью гимнологические, с восхвалением Бога, Богородицы, с рассказами о житии воспеваемых святых, о событиях, связанных с церковными праздниками или покаянные. Назовем их.

«Господи, возвах Тебе, услыши мя», — ее акrostих: ГЕРМАН МОНАХ, МОЛЯСЯ, ПИСАХ.

«Радуйся, дево, сына Бога смеле», — ее два акrostиха: РАДУЙСЯ и БЛАГОДАТНАЯ, ГОСПОДЬ С ТОБОЮ, ГЕРМАН ВОПИЮ.

«Ангельскую днесь вси радость», — акrostих: ГЕРМАН СИЕ НАПИСА.

«Веселия день и спасения днесь», — один из двух акrostихов ее: ВОСКРЕСЕНИЕМ И ОБНОВЛЕНИЕМ ПИСА, ВЕСЕЛЯСЯ, ГЕРМАН, МОЛЯСЯ, МОНАХ У КРЕСТА, ТЕМ И НЕ ПРЕСТА.

«Христос рождается, славите», — ее два акrostиха: ХРИСТУ ПЕНИЕ И ВОСХВАЛЕНИЕ, ГЕРМАН ПИСАХ, ПОЯ И СКОНЧАХ и УСТАВЩИК.

«Блаженству тезоименитого», — ее два акrostиха, обращенные к Макарию Унженскому: БЛАЖЕННОМУ МАКАРИЮ ГЕРМАН, МОЛЯСЯ, ВОПИЮ и МОЛИ БОГА О МНЕ.

«Да воспримут ныне горы радость», — ДЕНЬ ПРАЗДНЕСТВА ВЕЛИЯ ТОРЖЕСТВА, ПРАЗДНУЯ, ПИСАШЕ, ГЕРМАН ЛИКОВАШЕ и ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

«Все земнороднии внушите», — ее два акrostиха: ВО ПЕЧАЛИ ВОСПОЮ НИКОЛАЯ ВОСХВАЛЮ, ЕМУ ГЕРМАН МОНАХ, УПОВАЯ ВОСПИСАХ и СТРОИТЕЛЬ.

«Небо радуется согласно», — ее два акrostиха НИКОЛАЮ ВОСПЕВАЮ, РАДУЯСЯ В СКОРБИ и ПИСАЛ ГЕРМАН СТРОИТЕЛЬ, ПЕЧАЛИ ОБДЕРЖАШИ ВЕЛИКО ВИД... (окончание акrostиха не расшифровано).

«Память предложити смерти», — ее два акrostиха: ПЛАВАЯ ВОДОЮ, ОМИВАЕМА ТОЮ, ЗРЯ ТУ УМЕРША ПИСА-

ША ВИРШИ, GERMAN PИДАЯ, ПОЯ И ВЗДИХАЯ и МАИЯ МЕСЯЦА БОЛЕЗНЕН.

«Радуйся, благодатная, ангел царю дарованная», — ее два акrostиха: РАДУЙСЯ, БЛАГОДАТНАЯ и ГОСПОДЬ С ТОБОЮ, GERMAN ПОЮ.

«Радуйся, ходатаице ангел и человек», — ее два акrostиха: РАДУЙСЯ, БЛАГОДАТНАЯ, ГОСПОДЬ С ТОБОЮ и ПИСМО СЕ GERMANE.

«Федор, славный воевода», — ее три акrostиха: ФЕОДОРА ВОХВАЛЯЮ, ДА ЗАЩИТИТ УМОЛЯЮ ЦАРЯ ТЕЗОИМЕННОГО ФЕОДОРА УСЕРДНОГО и УБОГИ ЧЕРНЕЦ GERMAN и ЛЕТА СЕДМЬ ТЫСЯЩ СТО ОСМДЕСЯТ ШЕСТАГО ВО ОСМЫ ДЕНЬ ИУНЯ.

«Радуйся зело, дщи Сионя», — ее два акrostиха: РАДУЙСЯ, ПАСТИРЮ ВЕЛИКИЙ, О НИКОНЕ, ТОРЖЕСТВОМ ДНЕСНИМ, ОТЧЕ НАШ и РЕКЛИ ВСИ: ИЕРОМОНАХ GERMAN.

Герман умелый стихотворец — мастер акrostиха, который он с большим искусством вводит в ткань своих песен. Песни Германа можно читать, не подозревая в них акrostихов: они самостоятельные содержательные произведения с определенной композицией. Смысл акrostихов Германа, как правило, связан с содержанием песен. Часто акrostих его представляет собой авторские высказывания или пожелания, в свою очередь оформленные в стихах. Герман умножает свое мастерство, применяя акrostихи, читающиеся то сверху-вниз, то слева-направо, то — одновременно — и те и другие. Иногда в одну и ту же песню он вводит два и даже три акrostиха. В области акrostиха Герман достаточно потрудился. Его песни представляют собой известное движение вперед по пути к овладению поэтическим мастерством акrostиха.

Заметный след в истории русского акrostиха оставил Карийон Истомин, монах московского Чудова монастыря и справщик (корректор) Печатного двора, автор букварей. Истомин — один из образованнейших людей своего времени. Известны его стихотворные приветствия Петру I и посвящения царевне Софье.

Проф. Н. К. Гудзий в «Хрестоматии по древней русской литературе XI-XVII веков» приводит один из акrostихов Карийона Истомина, именно — посвященный сыну Петра I — царевичу Алексею. Вот этот интересный образец акrostиха XVII в.:

Аминь буди слава  
 Любовь чиста права  
 Единому Богу  
 К себе в слогах многу.  
 Израиль не лестный,  
 Избранный и честный  
 Царев сын царевич,  
 Радуйся блаженно,  
 Емли жизнь спасенно,  
 В Господе изрядствуй,  
 Известно отрадствуй  
 Человеком в пользе.  
 В золотых летах долзе  
 Езди умне в книгах,  
 Чти мудрость в веригах.  
 Носит она златы,  
 Обшит в любовь браты.  
 Жити с нею благо,  
 Имство всем предраго.  
 Возрасти тя Бог в славе  
 Имети ю здраве.

начальные буквы строк — фраза: АЛЕКСЕЙ ЦАРЕВИЧ ВЕЧНО ЖИВИ, — оригинал начинается 4-ю строку славянским «кси».

«В рукописных песенниках первой половины XVIII в. со светскими книжными песнями, точно так же как в таких же сборниках песен второй половины XVII в. с духовными песнями, немалое значение имеют акростики. Акростих позднее явление в жизни песенной поэзии и предполагает создание его в тот период ее жизни, когда песня воспринимается на слух и параллельно воспроизводится на бумаге. Назначение акростиха — скрыть от непосвященных то, что автор не хочет сказать во всеуслышание, и что предназначается только для избранных. Практика книжных песен первой половины XVIII в. показывает, что в акростихах автор обычно зашифровывает или идею своего произведения — лирической песни, или собственное имя — имя автора песни, удовлетворяя тем самым свое авторское честолюбие в то время, когда в понятиях окружающего общества сознание личности было развито слабо и вопроса о личном авторстве еще не возникало, или, наконец, имя той (либо того), к кому обращался автор книжной песни,

иногда посвящая ей (ему) эту песню. Так книжная песня «От самой моей младости не имам убо радости» имеет акrostих ОТ НЕЩАСТИЯ В СВЕТЕ ВЕК МОЙ ПОГУБЛЯЮ, передавая этим основную мысль песни. В другой популярной книжной песне «Посмотри в печали, друг любви сердечной» (ее содержание — признание в любви молодой девушке), ее акrostих читается: ПЕТР СЕМЕНОВИЧ ВАХЛАКОВ. Наконец, песня «Аще кто может познати» содержит восхваление девушки, к которой обращается поэт-певец, раскрывая ее имя в акrostихе: А ПАРАСКЕВИЯ ИОАННОВНА; по нашим предположениям автор песни обращался к третьей дочери царя Иоанна, брата Петра».\*

В последние годы царствования Петра I С.-Петербург, став столицей, представлял собою значительный европейский город. Жизнь в Петербурге была поставлена уже на западный лад, в столице появились послы государств Европы, ее посещали германские принцы, установилась и придворная жизнь. Вместе с хорошими манерами вошел в жизнь и светский акrostих — акrostих книжных песен. Три таких акrostиха приводятся в исследовании проф. А. В. Позднеева, посвятившего свой труд акrostиху петровской эпохи. Песня «Какая скорбь меня ныне не сдает», — она сочинена от лица женщины, — начальные буквы первых строк ее двустийши дают акrostих: КНЯГИНЯ МАРИА ЮРИЕВНА. Есть основание считать, что речь идет о Марии Юрьевне Черкасской, урожденной Трубецкой, считавшейся при дворе первой красавицей. Песня «На свете трудно правости сыскати», — также написана от лица женщины, — ее акrostих: НАСТАСИЯ ГАВРИЛОВНА ГОЛОВКИНА. Анастасия Головкина — дочь первого канцлера посольского приказа при Петре I и Екатерине I и кабинет-министра при Анне Иоанновне. В доме ее отца бывал Петр I. Она — первая жена (умерла рано) генерал-фельдмаршала Н. Ю. Трубецкого, которому Антиох Кантемир посвятил сатиру о воспитании. Песня «Како не лишатися веселия мне ныне», — ее акrostих КНЕЖНА ПРАСКОВИЯ ТРУБЕЦКАЯ. Приводим ее, как образец светского акrostиха петровской эпохи:

Како не лишатися веселия мне ныне,  
Надежды уже лишилася во злой сей причине.

---

\* А. В. Позднеев. «Книжные песни-акrostихи 1720-х годов».

Есть бо противно натуре в печали весело быти,  
 Желанного отлучась, в свете без мила жити.  
 Надежда моя от мене днесь уже отходит,  
 Ах, злое несчастье на мя здесь приходит.  
 Полно мне в забаве жити, полно веселится,  
 Разве ко мне моя радость назат возвратится.  
 А хотя я в то время веселится буду,  
 Сердцем же по нем тужити никогда не забуду.  
 Како отлучили от мене днесь мою надежду?  
 О, терзайте и дерите всю мою одежду!  
 Всегда же буду себя слезами забавляти  
 И прменное свое щастие буду проклинати.  
 Я ныне отлученна другой надежды своей,  
 Тебя прошу покорно радости моей.  
 Разве позабудешь днесь всю мою услугу?  
 Убей-то скорей меня, а сам предайся в тугу!  
 Бог бо заплатит тем, кто ныне нас разлучает:  
 Его ввержет в печаль всяку, нас же увеселяет.  
 Цвету всяку уподобись любовь наша ныне.  
 Как цвет опадает без солнца, так мы в сей причине.  
 А как солнце будет паки лучи вон выпускати,  
 Я аки цвет в любви буду себя забавляти.

Прасковья Юрьевна Трубецкая, впоследствии жена графа Салтыкова, это то лицо, через которое императрицу Анну Иоанновну известили о существовании партии, противной Верховному Тайному совету. Это она 23 февраля 1730 года поздно вечером передала императрице прошение, подписанное многими лицами, о восстановлении самодержавия. За верность Прасковью Трубецкую пожаловали в статс-дамы, а затем возвели в графское достоинство.

Автором первых двух только что названных песен-акростихов и соавтором Трубецкой при создании третьей считается воспитатель князя Антиоха Кантемира — Иван Ильинский. Ильинский окончил Московскую Славяно-греко-латинскую академию, где упражнялся в сочинении виршей и песен, а затем состоял переводчиком при Академии Наук. Он — автор нескольких трудов, писал стихи.

Как видим, писание — по заказу — акростихов было модно при дворе Петра I и Екатерины Алексеевны. Песнями-акростихами, о которых шла речь, не ограничивается круг подоб-

ных песен. Среди других, нам известных, упомянем три, акростиhi которых, как полагают, относятся к князю Алексею Долгорукому, к фрейлине Екатерины I — Анне Ивановне Крамер и к Матроне Ивановне Балк — сестре близких Петру I — Анны и Виллима Монс.

XVIII век не может похвастаться обилием акростихов.

«Автор о себе» (Аще и росски пишу, не росска есмь рода) — таков титул акростиха сатирика князя Антиоха Кантемира, которого Г. Р. Державин почтил двустишием:

Старинный слог его достоинств не умалит.

Порок! не подходи: сей взор тебя ужалит.

Начальные буквы стихотворения Кантемира (акростих написан в 1730 г.) дают: АНТИОХ.

Владел акростихом В. К. Третьяковский.

Поэт-баснописец И. И. Хемницер, публикуя, в 1774 году, перевод на русский язык героиды французского поэта Клода Жозефа Дора «Письмо Барнвеля к Труману из темницы», предпослал переводу собственный акростих (Нелестной дружбе труд усердный посвящаю) — обращение к Николаю Александровичу Львову, которому переводчик посвятил свой труд. Выглядит акростих Хемницера так: НИКОЛАИ ЛВОВ («й» и «ь» поэту сохранить не удалось).

Н. А. Львов — покровитель и друг баснописца-поэта, переводчик — с греческого — Анакреона, художник, архитектор; его жена и вторая жена Г. Р. Державина — сёстры. Державин посвятил Львову стихотворение, начинающееся «Стократ благодословен тот смертный...» и о нем же вспоминает в стихотворении «Зима»:

Что мне петь? — Ах! где Хариты?

И друзей моих уж нет!

Львов, Хемницер в гробе скрыты,

За Днепром Капнист живет.

Благодаря Н. А. Львову и совместно с ним автор акростиха побывал в Германии, Франции, Голландии. Львов в 1790 году издал «Собрание русских народных песен с их голосами», снабдив книгу своим предисловием.

«Акростиhi поднесенные Его Светлости князю Григорию Александровичу Потемкину на новый 1781 год», — так озаглавлен листок, вышедший из-под печатного станка в конце 1780 года. Из первых букв стихов выходит: СВЕТЛЕИШИ

КНЯЗ ПОТЕМКИН. Автором листка был Василий Григорьевич Рубан (1742-1795), писатель, переводчик и издатель. В продолжение 18-ти лет Рубан занимал должность секретаря князя Г. А. Потемкина-Таврического. Он сотрудничал в ряде журналов своего времени, между прочим, и в «Трутне» и в «Живописце» Новикова. Рубан издавал журналы — «Ни то, ни сию», «Трудолюбивый Муравей», «Старина и Новизна», — в последнем впервые выступил на литературное поприще Г. Р. Державин.

На сочинение акrostихов Рубана натолкнули, по всей вероятности, его стихотворные переводы с латинского, — в процессе работы над ними переводчик должен был не раз встречать латинские акrostихи.

Ядовитые отповеди В. В. Капниста и графа Д. И. Хвостова вызвали «стихи на случай», на которые Рубан не жалел ни труда, ни времени. Его «Надпись к камню, назначенному для подножия статуи Императора Петра Великого» заслужила похвалу Державина и благоприятный отзыв Пушкина.

В составленных им самому себе акrostихах Рубан ставит себе, между прочим, в заслугу то, что он «...сколь часто говорил вдруг множество стихов, отличным связанным союзом пышных слов», сообщал свои рассуждения «в прекраснейших стихах» и «часто, в двух словах, давал преостры мненья».

Кроме акrostиха Потемкину и акrostихов самому себе Рубан опубликовал «Краегранесие, изображающее свойство нравов благотворительного дворянина» (С.-Петербург, 1783 г.). Краегранесие (т. е. акrostих) этого стихотворения дает имя Михаила Леонтьевича Фалеева. Василию Рубану принадлежат и «Акrostихи», сочиненные на 28 июня 1786 года, тогда же опубликованные.

Побывав на могиле Рубана, граф Д. И. Хвостов писал:

Здесь Рубан погребен; он для писанья жил;

Надгробописцем быв, надгробну заслужил.

В 1804 году, в Москве, вышли «АКРОСТИХИ Императору Александру I; сочинение Якова Похвиснева». Этот же автор в 1801 году опубликовал «Гимн императору Александру I на первый день Генваря, 1802 года», — был ли и этот гимн акrostихом нам неизвестно.

В начале 1807 года, когда Пруссия уже была оккупирована французами, а Наполеон неуклонно двигался на восток, взял

Любек, а затем Варшаву, из-под пера драматурга В. А. Озерова вышел «Акrostих» (Назло природы всей родившийся дракон), отражавший чувства, охватившие в те дни русское общество. Под «драконом» подразумевался император французов, а акrostих гласил: НАПОЛЕОН.

Заинтересовал акrostих и Г. Р. Державина. Ему принадлежит «Загадка с отгадкою» (Родясь от пламени, на небо возвращаюсь), задуманная им еще в молодости, но только много позже получившая искусственную форму акrostиха. Ее отгадка — начальные буквы стихотворения: РОСА. Державину же принадлежит написанное, как полагают, в 1813 году стихотворение «Князь Кутузов-Смоленский» (Когда в виду ты всей вселенны), — его акrostих: КНЯЗ КУТУЗОВ СМОЛЕНСКОЙ. Кутузову Державин посвящал свои вещи неоднократно. К акrostихам же принадлежит державинское стихотворение «Афины и Александр» (Монарх как юный сей, подняв меч, шел в Персиду), — его начальные буквы: МОСКВА БЕ ПОХОЖА....., полагают, что автор имел в виду сказать: НА АФИНЫ. В державинской рукописи шестистишие, содержащее акrostих — ПОХОЖА — зачеркнуто.

Наконец, является акrostихом и последняя, за три дня до кончины написанная «Река времен...», — здесь акrostих: РУИ-НА ЧТИ. Написанный на грифельной доске, этот акrostих после смерти поэта был подарен родственниками императорской публичной библиотеке. Ныне слова надписи почти полностью стерлись от времени. Опубликован этот акrostих впервые в «Сыне отечества», в 1816 году.

Вот строки Всеволода Рождественского об этом акrostихе:

«Река времен»... О ней еще Державин  
Писал строфу на грифельной доске,  
Когда был спор со смертью уж неравен  
И лира слишком тяжела руке.

«Река времен» — начало задуманного Державиным стихотворения «На тленность».

Александр Востоков, по образцу латинских акrostихов-глосс, создал свои «Мысли, при чтении молитвы Господней», заметив тут же: «подражание Клопштоку». Заключительные строчки строф этих «Мыслей» дают полный текст молитвы: «Отче наш, иже еси на небесех...».

Среди офицеров, современников знаменитого временщика

графа А. А. Аракчеева, не одобрявших его деятельность, ходил сатирический акrostих:

Аггелов племя,  
 Рыцарь бесов,  
 Адское семя,  
 Ключ всех оков,  
 Чувств не имея,  
 Ешь ты людей,  
 Ехидней змея,  
 Варвар, злодей.

Пример загадки, написанной в форме акrostиха, дал Ю. А. Нелединский-Мелецкий в «Загадке акrostической» (Довольно именем известна я своим). Ее отгадка: ДРУЖБА — начальные буквы акrostиха. Акrostихи-загадки, подобные загадке Нелединского-Мелецкого, изредка встречаются у русских поэтов (акrostих-загадка: ЛУНА, анонима, в Литературной Энциклопедии, например).

Н. В. Гоголь, будучи учеником Нежинской гимназии, сочинил слабый акrostих-сатиру на однокашника — «Се образ жизни нечестивой», — акrostих: СПИРИДОН. После этого Гоголь к акrostиху не возвращался.

Дважды породнился с акrostихом А. В. Кольцов: в стихотворении «Послание к Е. Г. О.» (Если, Лизанька милая) и в акrostихе (Красавице любезной). Акrostихи Кольцова при жизни автора не были опубликованы. «Послание» обращено к Елизавете Григорьевне Огарковой — сестре Варвары Лебедевой, в которую был влюблен поэт, — его акrostих: ЕЛИСАВЕТЕ ГРИГОРЭВНОЙ АГАРКОВОЙ. «Акrostих» имеет в виду неизвестную особу, скрытую за буквой «Т», и читается: КОЛЦОВ К Т. Оба акrostиха семнадцатилетнего поэта технически беспомощны.

Славянофил К. С. Аксаков как акrostихист представлен стихотворением 1840-х годов «Акrostих» (Мои мечты и силы молодые). Его начальные буквы: МОСКВА. Опубликован этот акrostих впервые лишь в 1964 году.

Ах! сколько бы поэтов, безызвестно  
 Таящихся, никто не угадал,  
 Когда бы им пути ко славе честной  
 Через акrostих альбом не открывал.

говорит в одном из стихотворений П. А. Вяземский, вспоминая

моду на альбомные акrostихи, существовавшую в его время.

О том же в очерке «Странствующая княгиня» пишет А. Трофимов: — «В то время были в моде кринолины, лампы под шаровидными матовыми колпаками, круглые крытые атласом табуреты, пуфы и, в особенности, «семейные альбомы». Гости княгини (З. Волконской. Г. П.) усаживались в гостиной за круглым столом, вооруженные карандашами, кистями, перьями, и наполняли эти альбомы, посвященные дружбе и воспоминаниям, рисунками, стихами, отрывками романсов...»

Недавно автору этих строк посчастливилось видеть такой альбом пушкинской поры. В нем, помимо всего прочего, оказалось три акrostиха: один на имя: МАРИЯ, — его автор (Леонов, Иван), обращаясь к матери, жалуется на тоску по отчизне, — стихотворение написано, как видно, за пределами России; два других акrostиха, подписанных «Николай Иловайский», четырехстишия на имена АННА и ЛОДЯ (?).

Альбомный акrostих живуч. И в наши дни он нет-нет да и выглянет из подполья. Илья Сельвинский не зря уронил:

.....придумал он, стервец,  
 Писать для них в альбомы акварелью  
 Прилизанные, чинные стихи  
 С секретом акrostишьего хи-хи.

Среди авторов «альбомных» акrostихов очутился и А. М. Жемчужников, один из соавторов сочинений Козьмы Прутков. Его единственный акrostих написан им в альбом некой АННЫ, и начальные буквы его — имя незнакомки. Озаглавлен этот катрен «Акrostих» и опубликован впервые в 1963 году.

У А. К. Толстого есть акrostих-буриме (акrostих на заданные рифмы). Начальные буквы этой шуточной «Баллады» (Аскольд плывет, свой сняв шелом) — имя: АКУЛИНА.

Шутку Л. А. Мея, попытку выйти с честью из затруднительного положения, в которое попадает пишущий акrostихи из-за букв «й» и «ъ», нельзя не привести целиком:

Ладно — есть вопрос о Мее,  
 Есть ответ — я не шучу;  
 Вызов мне всего милее:  
 Ъ другим не по плечу,  
 Мелочь мне: возьму труднее,  
 Если только захочу:  
 Й (иже с краткою) вкачу.

Революционеру-инженеру Льву Адольфовичу Дмоховскому (1851-1881) приписывают авторство «Заповедей отщепенца» (Борись за истинный закон), — его начальные буквы дают слова: БРАТСТВО — РАВЕНСТВО — СВОБОДА. Написано стихотворение в 1876 году в Ново-Белгородской каторжной тюрьме под Харьковом.

К числу акrostихов относится и шуточное стихотворение С. Я. Надсона, недавно опубликованное, «В. Мамонтову» (Что, милый Васенька, с тобой?). Его окончание несомненный акrostих:

Значенье букв сих тяжело:

**Н** — значит, что надежды мало,

**Д** — что другому повезло.

Суть игры в том, что начальные буквы слов «надежда» и «другому» — «Н» и «Д» — в то же самое время инициалы девушки (Наташи Дешевой), нравившейся и поэту и его двоюродному брату — Василию Ильичу Мамонтову. Памяти Н. Дешевой, рано умершей, посвящены все прижизненные сборники Надсона. С ее же именем связано известное надсоновское стихотворение «Над свежей могилой», положенное на музыку С. В. Рахманиновым.

Революционер и поэт П. Я. (П. Якубович — Л. Мельшин) в 1885 году, сидя в Петропавловской крепости, написал соответствовавший обстановке акrostих, который впервые смог увидеть свет только в 1907 году, в журнале «Скоморох» под заглавием «Аккорд», самовольно данным редакцией журнала, — автор жаловался на это самоуправство в письме к В. Г. Короленко.

Акrostих П. Я. — слово: ТЮРМА (вместо «тюрьма»). Он неоднократно фигурировал в сборниках стихотворений поэта, который однажды снабдил стихотворение примечанием: «Не вполне удачный акrostих».

Первый и пока единственный в России сборник акrostихов вышел в начале 1901 года, в С.-Петербурге. Его автор — З. Б. Осетров. Его полный титул: «Альбом поэтических акrostихов всех женских имен». Открывает «Альбом» стихотворение, играющее роль предисловия — «Однажды мне на ум пришла идея», — его акrostих — фамилия автора: ОСЕТРОВ. В этом стихотворном предисловии Осетров подчеркивает, что «акrostихов таких затея» впервые осуществляется им.

Осетровский «Альбом» содержит, кроме уже упомянутого вступительного акrostиха, 171 акrostих. Акrostихи, как и указано в титуле книги, исключительно на женские имена, на 138 имен; на отдельные имена два и более акrostихов. Размеры акrostихов невелики: от 3 до 9 строчек включительно. В трех случаях (на имя: ВЕРА) Осетров пользуется акrostихом, — впервые в истории русского акrostиха, как нам кажется, — как строфической единицей (строфой): каждая из строф таких стихотворений имеет один и тот же акrostих: ВЕРА — ВЕРА — ВЕРА.

В XX веке акrostих ожил. Попытаемся с наибольшей полнотой проследить за современными нам акrostихистами и их акrostихами.

Георгий Иванов в «Петербургских зимах», говоря о М. А. Кузмине, замечает: «...пишет, между прочим, что придется. Сонет-акrostих, и поэму, и слова́ для балета». И действительно — у Кузмина не в диво встретить акrostих. Акrostихом-посвящением В. Я. Брюсову открывается вторая книга рассказов Кузмина, вышедшая в 1910 году. Стихотворение это — «Акrostих» (Валы стремят свой яростный прибой), — его начальные буквы: ВАЛЕРИЮ БРЮСОВУ. Нововременский рецензент в отзыве о книге Кузмина обрушился на этот акrostих. Н. Шульговский в своей работе «Теория и практика поэтического творчества» привел это стихотворение как образец акrostиха.

В сборник «Глиняные голубки» (1923) Кузмин включил стихотворение «Всегда стремясь к любви неуловимой», — его акrostих: ВСЕВОЛОД КНЯЗЕВ. Этого же Князева имеют в виду, повидимому, в том же сборнике строки:

На обоях сквозь дремоту  
Вижу буквы «В» и «К».

и не из стихов ли этого своего друга позаимствовал Кузмин эпиграф для одной из своих вещей, двустиише: «Тобой целованные руки — Сожгу, захочешь, на огне», под которым опять-таки стоят те же буквы «В. К.».

В тех же «Глиняных голубках» построенное на двух рифмах стихотворение «Ютась в тени тенистых ив», — с акrostихом: ЮРОЧКЕ ЮРКУНУ. Юркун — автор рассказов и романа «Шведские перчатки», предисловие к которому написал М. А. Кузмин.

В сборнике Кузмина «Сети» помещены два стихотворения,

начальные буквы стрóf (а не строк) которых дают слова ИГ-РА и ОСА. В данном случае мы имеем, скорее всего, дело не с преднамеренными, а «случайными» акростихами строфическими, о которых будет сказано дальше.

Только в 1926 году было опубликовано стихотворное наследство Алексея Михайловича Гмырева, рабочего, участника революционного движения. Гмырев умер в больнице херсонской каторжной тюрьмы, ожидая ссылки в Сибирь, в сентябре 1911 года. Среди стихов Гмырева — акростих, сочиненный им в тюрьме, в 1908 году, после вынесения судом приговора — 6 лет и 8 месяцев каторжных работ. Стихотворение посвящено невесте автора — работнице-швее М. А. Козловой. Оно озаглавлено «Сон» (Мне снилась весна в деревеньке родной), — его акростих: МАРУСЯ КОЗЛОВА. Кроме акростиха, Гмырев написал для Козловой еще несколько стихотворений, среди них — сонет. Несколько стихотворений Гмырева положены на музыку. Среди композиторов, обративших внимание на его стихи — Д. Д. Шостакович.

Иннокентий Анненский оставил образец силлабо-акростиха (случай, когда акростих построен не на начальных буквах, а на начальных слогах), — это его шутка «Из участковых монологов» (Перо нашло мозоль... К покою нет возврата). Начальные слоги строк этого сонета дают фразу: ПЕТРУ ПОТЕМКИНУ НА ПАМЯТЬ КНИГА ЭТА. Силлабо-акростих И. Анненского — надпись на книге, подаренной, в 1909 году, П. П. Потемкину, поэту-сатирику, автору сборников «Смешная любовь» и «Герань».

Акростих-сонет «Мадригал» (Сиянье глаз твоих звездой горит) встречаем у Сергея Соловьева во второй книге его стихов «Апрель» (1910), — начальные буквы сонета: СОНЯ ГИАЦИНТОВА. Введя в текст стихотворения «венки гиацинтов» поэт придал особую прелесть акростиху.

Писал акростихи К. Д. Бальмонт.

Вячеслав Иванов поместил акростих среди стихотворений сборника «Cor ardens» (1911), — это — сонет «Consolatio Ad Sodalēm» (Юродствовать пред суемудрым светом), — при помощи начальных букв дается имя: ЮРИИ ВЕРХОВСКИИ. К нему — поэту Юрию Никандровичу Верховскому — Вячеслав Иванов однажды писал:

иду  
 Сказать, что всё тебя люблю я, —  
 Почтовой рифмой упряжу  
 Живую рифму поцелуя.

Акrostих Вячеслава Иванова — ответ на посвященный ему Ю. Н. Верховским «Акrostих» (В часы истомы творческого духа). Верховского — символиста, мастера стиха, Вячеслав Иванов, неоднократно посвящавший собрату по перу стихи, горячо и нежно любил. Уже будучи далеко от родины, Вячеслав Иванов в «Римском дневнике», под 22 мая 1944 года сделал запись, начинавшуюся:

Юрию Верховскому.  
 Ты жив ли, друг? Зачем во сне  
 Приходишь, частый гость, ко мне?

Обращался к стиху и Сергей Городецкий. Н. Шульговский в «Прикладном Стихосложении» приводит один из его акrostихов — «Кто когда бродил в тумане». Это акrostих-загадка, форма, с которой мы уже встречались у некоторых поэтов. Отгадка загадки Городецкого — акrostих: КНИГА.

В воспоминаниях младшей сестры поэтессы Марины Цветаевой — Анастасии, появившихся на страницах московского журнала «Новый мир» (1966), приведен акrostих «Акварель», написанный Цветаевой в ее гимназические годы для полюбившейся ей подруги сестры — Ани Калин. Акrostих гласит: АНЯ КАЛИН.

Мастер и теоретик стиха — В. Я. Брюсов не мог пройти мимо такого своеобразного явления, как акrostих. В его поэтическом хозяйстве ряд образцов такого: — «Игорю Северянину. Сонет-акrostих с кодою» (И ты стремишься в высь, где солнце — вечно), — начальные буквы: ИГОРЮ СЕВЕРЯНИНУ. Стихотворение это тогда же вызвало «сонет-ответ» И. Северянина — «Валерию Брюсову» (Великого приветствует великий), появившийся в сборнике «Златолира». Северянинский ответ в свою очередь акrostих, — его начальные буквы: ВАЛЕРИЮ БРЮСОВУ. Акrostих Брюсова и ответ на него Северянина написаны в 1912 году. «Николаю Бернеру. Сонет-акrostих» (Немеют волн причудливые гребни), — его начальные буквы: НИКОЛАЮ БЕРНЕРУ. Н. Ф. Бернер — поэт, ныне живущий во Франции. Стихотворение написано в 1912 году. «Путь к высотам. Сонет-акrostих» (Путь к высотам, где музы

пляшут хором), — начальные буквы: ПОЭТУ ГАЛЬПЕРИНУ. Стихотворение написано в 1912 году. Михаил Гальперин — поэт и драматург. Его первое выступление в печати — стихи в «Киевском Слове» (1899). Он участник сборников «Литературный Особняк» и «Всесоюзный Союз Поэтов». Гальперин — неоклассик. Среди его стихов есть посвященное Нине Леонтьевне Манухиной — поэтессе, жене Г. А. Шенгели, — это «Наши пути» (Нестройный шум толпы, как мутных вод поток), акrostих введен и сюда — имя: НИНА МАНУХИНА. Михаил Гальперин умер в 1943 году. Акrostихи Валерия Брюсова, о которых шла речь, находятся в его сборнике «Семь цветов радуги».

Комбинацией акrostиха с телестихом, неправильно названной в данном случае «четверным акrostихом», воспользовался белорусский поэт, — он писал и по-русски, — Максим Адамович Богданович (1891-1917). Чтобы дать ясное представление о такой, на практике редкой, комбинации, приводим стихотворение Богдановича:

**А**х, как умеете Вы, Анна  
**Н**е замечать, что я влюблен.  
**Н**о всё же шлю я Вам не стон,  
**А** возглас радостный: осанна!

не трудно заметить, что и начальные и конечные буквы этой игрушки дают имя: АННА. Акrostих, как предполагают, написан для некой Анны Кукуевой, сестры товарища поэта; ей Богданович посвятил несколько стихотворений.

Поэту Григорию Петникову, ныне живущему на покое в Старом Крыму, написал «Акrostих» (Глухая, голубая тонет Ночь) Божидар (Гордеев, Богдан Петрович), — акrostих читается: ГРИГОРИЮ ПЕТНИКОВУ, причем, против обыкновения, буквы «Т» и «У» спрятаны внутри строк. Божидар — необыкновенно одаренный человек, поэт, участник нескольких футуристических сборников, музыкант — покончил с собою в 1914 году, на двадцатом году жизни. Божидару принадлежат: сборник стихов «Бубен» и работа по теории стиха «Распевочное единство». Он писал акrostихи и на латинском языке, который прекрасно знал и очень любил. «Акrostих» Г. Петникову написан им за год до самоубийства.

«...изящный молодой человек, встретивший меня в прихожей — приглашения не спросил. Он благовоспитаннейше по-

жал мне руку, представляясь: Бенедикт Лившиц. Имя было, по тем временам, громкое: конфискованная книга, ряд скандалов на диспутах, драки, стрельба в публику... В соединении с такой репутацией, забавны были его светские манеры и изящный фрак. Еще раз учтиво расшаркавшись, он пропустил меня в залу».

Так вспоминает Георгий Иванов в «Петербургских зимах» посещение вечеринки на квартире Н. И. Кульбина. Этот «изящный молодой человек» был интересным поэтом, автором нескольких сборников стихов, большим мастером акростиха. В его «Кротонском Полдне» (1928) есть их несколько: — «В. А. Вертер-Жуковой» (Ваш трубадур — крикун, ваш верный шут — повеса), посвященный Вере Александровне Жуковой, первой жене автора, поэтессе и переводчице Анри де Ренье, кузине Андрея Белого, умершей в Киеве в мае 1963 года. Акростих: В. А. ВЕРТЕР-ЖУКОВА. «Матери» (Так строги вы к моей веселой славе) — Теофилии Бенедиктовне Лившиц. Акростих: ТЕОФИЛИИ ЛИВШИЦ. «Николаю Бурлюку» (Не тонким золотом Мирины), написанный для Николая Давидовича Бурлюка, поэта, брата Давида Бурлюка. Акростих: НИКОЛАЮ БУРЛЮКУ. Это о нем В. Пяст во «Встречах» сказал:

Луч солнца, зыбкий и упругий,  
Теплит запыленный порог...  
Твой профиль, мальчик, слишком строг  
Для будущей твоей подруги...

«Николаю Кульбину» (Наперсник трав, сутулый лесопыт) — Николаю Ивановичу Кульбину, приват-доценту Военно-Медицинской Академии в Петербурге, художнику, идеологу кубофутуристов. Акростих: НИКОЛАЮ КУЛЬБИНУ. В «Петербургских зимах» Г. Иванова Кульбин в карикатурном виде фигурирует как «доктор медицины К.».

Все четыре акростиха — сонеты. Написаны они в годы 1912-1914.

Представлен акростихом Бенедикт Лифшиц и на страницах журнала «Союз молодежи» (№ 3), выходившего в годы предшествовавшие войне 1914-1918 гг., но стихи эти, к сожалению, мы получить не могли.

Был соблазнен акростихом и выдающийся русский пианист, педагог и дирижер Василий Ильич Сафонов. Вспоминаются строки Андрея Белого о нем:

Взойдет на дирижерский пульт,  
 Пересекая рой поклонов,  
 Приподымая громкий культ,  
 Седой, почтенный жрец: Сафонов.

Музыковед Л. Сабанеев в статье «Мои встречи», в нью-йоркском «Новом Русском Слове», вспоминает, как сей «почтенный жрец» «После исполнения первой симфонии Скрябина — своего протеже — ..... за ужином прочел импровизацию — акrostих: «Силой творческого духа». «Начальные буквы акrostиха Сафонова: СКРЯБИНЪ, оканчивала его строка: «Ъ — монахом кончу век». Л. Сабанеев отмечает: Сафонов особенно гордился этим — «ъ — монахом».

У Н. С. Гумилева два акrostиха: «Аддис-Абеба, город роз» и «Ангел лег у края небосклона». Оба «Акrostиха» написаны для Анны Ахматовой и их начальные буквы одни и те же: АН-НА АХМАТОВА.

Поэт и критик Александр Иванович Тиняков (псевдоним: ОДИНОКИЙ), — его первая, нам известная, книга стихов вышла в 1913 году, — в своем сборнике «Треугольник» (Петербург, 1922) дал место акrostиху-сонету «Любовь разделяющая» (Горело солнце ярко надо мною). Сонет написан в 1915 году для поэтессы З. Н. Гиппиус, о чем свидетельствует акrostих: ГИППИУС ЗИНАИДА.

В большой дружбе с акrostихом был талантливый киевский поэт Владимир Маккавейский. Илья Эренбург назвал его в своих воспоминаниях «киевским Вячеславом Ивановым». Маккавейский — автор нескольких книг, редактировал, в 1919 году, ежегодник искусства и гуманитарного знания «Гермес» (издавал его Ю. К. Терапиано). В. Маккавейский погиб в начале 20-х гг. под Ростовом на Дону. В его сборнике «Стилос Александрии» (Киев, 1918) ряд акrostихов, написанных в годы 1915-1916. Вот они: «Сонет-апология» (Нерей не режет вод. Вулкан не мечет руд), посвященный поэтом брату Николаю. Акrostих: Н. МАККАВЕЙСКОМУ. «Тебе единому согреших» (Иссопом окроплен, по древнему псалму), написанный для художника Рабиновича. Акrostих: ИСААК РАБИНОВИЧ. — Сонет. «Сонет-элегия» (Меж хвой и тополей — от августа до марта) — матери поэта. Акrostих: М. Н. МАККАВЕЙСКОЙ. «Стефан Малларме» (Сложней, святее вдруг иных, чей вялый

зов). Сонет посвящен лицу, скрытому за буквами «М. А. З.». Акrostих: СТЕФАН МАЛЛАРМЕ

Акrostих Анны Ахматовой получил место в сборнике «Подорожник» (1921). Это — стихотворение «Бывало я с утра молчу», — его начальные буквы: БОРИС АНРЕП. Посвящено стихотворение поэту Б. П. Анрепу. Можно полагать, что существует и акrostих Б. Анрепа, обращенный к Анне Ахматовой, или как повод к ахматовскому стихотворению или как отклик на него.

Образцов мезостихов в русской литературе не много. Далекий от удачи «Мезостих» (Когда туман, как дым ползет к ущелью) принадлежит умершему в конце 30-х годов поэту-заумнику Александру Васильевичу Туфанову, автору сборника «Эолова арфа» (1917), теоретической работы «К зауми», поэмы «Ушкуйники». Как положено для мезостиха, средние буквы строк (в туфановском стихотворении их отнести к «средним» можно лишь с большой натяжкой) «Мезостиха» Туфанова дают фразу: НАТАШЕ НА ПАМЯТЬ. Н. Шульговский счел возможным привести это стихотворение в «Прикладном стихосложении», как образец мезостиха.

Небезызвестный В. М. Пуришкевич, член Государственной Думы, отдал дань политическому акrostиху. В мае 1917 года «Вечернее Время» поместило его стихотворение «Любить Россию? вздор какой», — его акrostих: ЛЕНИН, в декабре того же года из-под его пера вышло стихотворение «Ты рычишь, как грозный лев», — с акrostихом: ТРОЦКИЙ. Острия акrostихов Пуришкевича были направлены против большевистских вождей.

Скончавшийся три-четыре, примерно, года назад поэт Амфион Решетов (псевдоним Николая Николаевича Барютина), — ему принадлежат сборники «Керосиновые лампы» и «Без муз», в последнем, вышедшем в Нижнем Новгороде (1918), поместил акrostих «Пианола рубит...», — его начальные буквы: ПАНОВА — имеют в виду известную писательницу Веру Панову.

«Акrostих (Секрет упоительно пыльных кулис) Нины Николаевны Васильевой посвящен актрисе С. Г. Мельниковой, в честь которой в Тифлисе, в 1918 году, Ильей Зданевичем был издан сборник «Софье Георгиевне Мельниковой». В этом сборнике приняли участие поэты и художники, случайно оказав-

шиеся в будущей столице Грузии. Начальные буквы акrostиха Васильевой: СОФИЯ ГЕОРГИЕВНА МЕЛНИКОВА. Н. Н. Васильева принимала участие в тифлисском «Цехе поэтов», муж поэтессы — брат известного поэта Божидара (Б. П. Гордеева).

Друг Сергея Есенина — Рюрик Ивнев (псевдоним М. А. Ковалева), по адресу которого его противник В. В. Маяковский когда-то бросил:

А с лица и остатки грима  
Быстро смоят потоки ливнев...  
А известность промчится мимо, —  
Оттого что я — только Ивнев.

в январе 1919 года написал, в подарок своему приятелю стихотворение-акrostих, — его начальные буквы: СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ. Вот это, недавно полученное нами от автора, стихотворение:

Сурова жизнь — и всё ж она  
Елейно иногда нежна.  
Раз навсегда уйди от зла,  
Гори, но не сгорай дотла.  
Есть столько радостей на свете,  
Юнее будь душой, чем дети.

Едва ли это не судьба —  
Сегодня мы с тобою вместе,  
Еще день-два, но с новой вестью  
Нам станет тесною изба.  
Игра страстей, любви и чести  
Несет нам муки, может быть.  
Умей же все переносить.

Сергей Есенин, человек самолюбивый, естественно, не захотел остаться в долгу, не мог капитулировать перед столь казалось бы несвойственной его лирике формой, как акrostих. И ответный есенинский акrostих не заставил себя долго ждать. Это — стихотворение «Радость, как плотвица быстрая», под которым стоит — 21 января 1919 года. Его акrostих: РЮРИКУ ИВНЕВУ. Впервые оно появилось на страницах газеты «Вечерняя Москва» в 1926 году, уже после смерти поэта. Его можно встретить в любом собрании сочинений Есенина.

Проф. В. Марков в статье «Легенда о Есенине» (Грани, 1955) написал: «Есенин, особенно в период имажинизма, при-

лежно изучал поэтическую технику, даже писал акростихи...» (разрядка наша. Г. П.). Вопреки утверждению В. Маркова, кроме акростиха, написанного для Рюрика Ивнева, иных акростихов у Есенина мы не встретили.

В 1919 году тифлисская газета «Искусство» напечатала акростих Юрия Евгеньевича Дегена, рано умершего, в 1923 году, ученика Михаила Кузмина. В апреле 1917 года автором этого акростиха было основано в Петрограде общество «Марсельских матросов», — М. А. Кузмин состоял его «капитаном». В годы 1918-1921 Ю. Е. Деген возглавлял «Цех поэтов» в Тифлисе. Акростих Дегена — «Посвящение» («Марсельский порт» нам был отрадой новой) — вступление к его поэме «Оттепель», — его начальные буквы: МИХАЙЛУ КУЗМИНУ. Как не трудно догадаться, поэма посвящалась маститому «капитану».

Два акростиха дал имажинист Александр Кусиков: «Раскололся кустарник засохший», стихотворение, посвященное брату, — его начальные буквы: РУБЕНУ КУСИКОВУ, и «Если я полюбил Ваш немного придушенный голос», написанное для таинственной «Е. Ш.», — его начальные буквы: ЕВГЕНИЯ. Первое стихотворение — в сборнике Кусикова «Сумерки» (1919), второе — в сборнике «В никуда» (1920).

Примером телестиха, формы исключительно редко встречающейся в русской поэзии, являются следующие стихи из поэмы Велимира Хлебникова «Ладомир»:

Где Волга скажет «лю»,  
Янцзекиянг промолвит «блю»,  
И Миссисипи скажет «весь»,  
Старик Дунай промолвит «мир»,  
И воды Ганга скажут «я»,

концы этих пяти строк — фраза: ЛЮБЛЮ ВЕСЬ МИР Я. На лицо одна из разновидностей телестиха. Белый стих помог одолеть барьер телестиха.

Получивший в 1946 году так называемую «сталинскую премию», за высокохудожественный перевод «Божественной комедии» Данте, Михаил Леонидович Лозинский был непревзойденным мастером «стихов на случай». В. Пяст, упомянув о том в своих воспоминаниях, прибавляет: «Его сонетам-акростихам, сонетам-рондо на невероятные рифмы неизменно при-

суждались первые призы». Это его имел в виду Осип Мандельштам в эпиграмме:

Сын Леонида был скуп, и когда он с гостем прощался,  
Редко он гостю совал в руку полтинник иль рубль;  
Если же скромн был гость и просил лишь тридцать копеек,  
Сын Леонида ему тотчас ликуя вручал...

В сборнике Валентина Яковлевича Парнаха «Карабкается акробат» (Париж, 1922) есть стихотворение «Восторг ноги гнал в танец колесо!», посвященное Н. Г. Высоцкой, — его акrostих: ВЫСОЦКОЙ. — Проблему «Ы», препятствие для акrostишиста серьезное, поэт разрешил так:

**Ы** свирепело жесткое в гортани.

В том же сборнике еще один акrostих — «Соленый ветер и лимонный зной», — его начальные буквы: С. МАЛАХОВСКОЙ.

В альманахе «Стожары» (Петербург, 1923) встречаемся с «Акrostихом» (Не может быть иного наслажденья), коего начальные буквы: НИКОЛАЮ БАРШЕВУ. Принадлежит стихотворение Григорию Гнесину брату композитора М. Ф. Гнесина, поэту и также композитору. В знаменитой «Чукоккале» Корнея Чуковского есть портрет Григория Гнесина работы В. Маяковского.

Николай Валерианович Баршев, которому посвящен гнесинский акrostих, — он также участник только что упомянутого альманаха «Стожары», — ленинградский беллетрист, родился в 1888 году в семье военного. Литературой стал заниматься систематически в 35 лет, под влиянием Вс. Рождественского и В. Кривича, сына И. Ф. Анненского.

Здравствующий и ныне живущий в Москве поэт Владимир Викторович Смиренский часто, по его собственным словам, обращается к акrostиху, «преимущественно альбомному», как он сообщил нам. Оригинально его стихотворение «Алых листьев перезвон», два катрена, — первый — акrostих: АННА, второй — телестих: то же имя.

На собраниях петербургского «Цеха поэтов» иногда проводили время за писанием шуточных акrostихов на заданные темы. В. Пяст вспоминает, как однажды был задан акrostихсонет на тему: «Цех ест Академию» (т. е. «Академию поэтов», противопоставившую себя «Цеху») и приводит свой акrostих,

написанный по этому случаю. Победителем на конкурсе оказался М. Л. Лозинский, о нем мы уже писали.

Борису Пастернаку принадлежат акrostихи: «Посвящение» (Мельканье рук и ног, и вслед ему), — это стихотворение предваряло (в рукописи) поэму «Лейтенант Шмидт», — и «Мгновенный снег, когда булыжник узрен», — стихотворение, относящееся к 1929 году и тогда же попавшее на страницы журнала «Красная новь». Начальные буквы и того и другого стихотворений: МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ.

Г. А. Шенгели — поэт и ученый — автор нескольких акrostихов. Нам известны два: посвященный поэту А. Гатову и посвященный Сергею Ивановичу Малашкину, беллетристу, автору вызвавшей в свое время сенсацию повести «Луна с правой стороны». Мы решили познакомить читателей с этим, до сих пор не бывшим в печати акrostихом, недавно полученным нами из Москвы:

#### СОНЕТ-АКРОСТИХ С КОДОЮ

Седьмой десяток подступил к тебе,  
 Еще русоволосому и злому;  
 Рубцы годов — орнамент лишь к излому  
 Густых бровей, прихмуренных в борьбе.  
 Еще, внимая грому голубому,  
 Юнея словом, что «в начале бе»,  
 Мятажник мускулистый, — в лоб судьбе  
 Автограф свой ты мечешь рифмой грому.  
 Люблю тебя как раз таким как ты —  
 Анчаром добрым русской маяты,  
 Шумящим над простором несогретым.  
 Как ни реви упорных лет прибой,  
 И сколько б ты ни мучился при этом,  
 Но оставайся век самим собой, —  
 Упрямым, любознательным и поэтом!

Акrostих стихотворения: СЕРГЕЮ МАЛАШКИНУ. Под стихами дата — 11 июля 1948 года. — «Мятажник мускулистый», что в 7-й строке — название одной из книг С. И. Малашкина.

Исключительно редко употребляемой формой — мезостихом — воспользовался для сонета «Валерию Брюсову» (В тиши больших веков ствол мира обвивая) А. И. Гербстман, ныне доктор филологических наук и известный шахматист. Гербстман разместил буквы слов ВАЛЕРИЮ БРЮСОВУ в тексте сонета

так, что они образуют контур чаши, если их выделить крупным шрифтом или иным способом, — стихотворение — в подзаголовке — так и названо: «сонет — чаша». Трюк, напрашивающийся на сравнение с «фигурными» стихами римлянина Порфирия или архиепископа Рабануса Маурса, но, увы! далеко не в пользу автора «чаши». Чаша Гербстмана нашла место в сборнике «Валерию Брюсову», выпущенном по случаю 50-летия поэта в 1924 году.

В Советском Союзе, начиная с 30-х годов почва для существования акrostиха была мало благоприятна, в особенности когда начался поход против «формалистов». Последние акrostихи нам встретились в первой половине 30-х годов.

Недолго просуществовавшая в Ленинграде газета «Резец» открыла свой первый номер анонимным акrostихом строфическим «Новорожденный» (Рванула лист ротационка), — начальные буквы пяти четверостиший его называли имя газеты (листка): РЕЗЕЦ. Это случилось в 1924 году. Позже в одной из газет появилось, за подписью — К. Аргальский — стихотворение «На помощь» (Красный воин — друг и брат), — его акrostих КРАСНОМУ ВОИНУ. Оба акrostиха выполняли «социальный заказ», иначе и быть не могло.

В годы последней войны в изданиях на русском языке, появлявшихся на занятой немцами территории России и в Германии попадались, случалось, акrostихи, большинство их — примитивные агитки, порой — грубые. Так, в газете «Наш Путь», — она выходила — в 1943 году — в Херсоне, — мелькнула загадка-акrostих «Кто он?» (Свинья по сути и по виду), — отгадку: СТАЛИН — давали начальные буквы строк. Автор стихотворения — Иван Овечко, очевидно псевдоним. Заключительная строка загадки намекает на принадлежность ее к акrostихам: «...имя сверху — вниз читай».

В журнале «Вольный Пахарь», — он выпускался в Германии, — была напечатана «Русская азбука в стихах», формально интересный образец акrostиха алфавитного. Это имело место в августе 1943 года. Автор скрылся под псевдонимом «Ванька Жуков». О конструкции и содержании акrostиха можно судить по его начальным строчкам:

«Ах, сколько разных затруднений» —  
 Бормотал кремлевский гений, —  
 «Все и всюду изменяют теперь мне,

Голод бешено бушует по стране,  
Дети пухнут с голода и мрут.  
Есть всем нечего, поэтому орут,  
Жены-вдовы покорившихся судьбе  
Землю пашут и боронят на себе.

и т. д.

Акrostих-алфавит, столь обычный в стихах на языках древне-еврейском, латинском, немецком, в стихах русских крайне редок.

Из поэтов зарубежных приязнь к акrostиху обозначилась у Ивана Елагина, который нашел место и для акrostиха в своем сборнике «По дороге оттуда» (Мюнхен, 1947). Его «Терцины-акrostих» (Аборигены моря и таверны), здесь помещенная, сохранила за собой место и в следующих изданиях книги. Посвящены терцины Елагина прозаику Александру Грину, — их акrostих: АЛЕКСАНДР ГРИН, тот Грин, о котором хорошо сказал Виссарион Саянов:

. и вихорь летучий

Донес вдруг веселое прозвище: Грин.

Общение Ивана Елагина с акrostихом не ограничилось этим единственным случаем.

Отдал дань акrostиху и Олег Ильинский. В его сборнике «Стихи» (1960) акrostих представлен стихотворением «Акrostих» (Английские, французские, американские флаги), — его начальные буквы: АМСТЕРДАМ.

Есть акrostих и у живущей во Франции поэтессы Ирины Одоевцевой. Она поместила недавно (1966) в журнале «Мосты» стихотворение-акrostих Алексису Ранниту (А если б раньше встретила я Вас). А. Ранниту же посвящен акrostих автора этих строк — «Поэту Эстонии» (А почему б и нам не стать друзьями), напечатанный в кн. 87 «Н. Ж.»

Представлен акrostих и в раннем сборнике Георгия Иванова «Отплытие на о. Цитеру» (1912 г.), — это «Сонет-акrostих Грааль Арельскому. В ответ на его послание». Грааль Арельский — псевдоним Степана Степановича Петрова, поэта, автора сборников «Голубой абажур» и «Летейский берег». Начальные буквы стихотворения Георгия Иванова — акrostих: ГРААЛЮ АРЕЛСКОМУ. Послание Грааля Арельского, также как и ответ на него Георгия Иванова, заключены в форму сонета.

Акrostих, случалось, был участником литературных поединков. Иллюстрированный журнал «Солнце России» в 1912 г. объявил конкурс на лучшее буриме-акrostих. Даны были рифмы: внятен — домовой — пятен — головой — клапан — потом — исцарапан — хомутом — риза — следа — сюрприза — страда. Требовалось написать акrostих: СОЛНЦЕ РОССИИ. Конкурс не состоялся, так как все присланные решения жюри признало неудовлетворительными («СОЛНЦЕ РОССИИ», июль 1912 г.).

В Советском Союзе в 20-х годах, до гонений на «формалистов всех мастей», один из журналов для молодежи объявил конкурс на лучший акrostих: требовалось написать акrostих на имя какого-либо поэта. Всего, как потом сообщила редакция, было прислано 90 акrostихов на имена 36-ти поэтов. Больше всего акrostихов оказалось на Есенина, за ним следовал Пушкин, Жаров; на Лермонтова и Орешина было написано одинаковое число акrostихов. Данные эти любопытны, как отражение поэтических вкусов русской молодежи того времени. Редакция журнала обещала поместить лучшие акrostихи, из присланных на конкурс, и опубликовать затем мнение читателей о них.

Время от времени акrostихом пользуются как тайным оружием, чтобы поразить противника — литературного или политического. Читателям, возможно, будут не безинтересны подобные случаи и мы напомним о них.

Друг Пушкина С. А. Соболевский в 1824 году поместил в «Дамском Журнале» князя Шаликова акrostих-шараду, в которой — путем акrostиха — сам же издатель был сравнен по уму с колодой. Дореволюционный «Журнал для всех» сообщил однажды о таком случае: в некую, выходящую в Закавказье, газету поступило лирическое стихотворение, подписанное «А. А. Фет». Имя автора говорило достаточно и стихотворение было принято с восторгом. Как же велико было возмущение редактора газеты, когда обнаружилось, что помещенное на почетном месте произведение «нашего маститого поэта» — злостный акrostих, его начальные буквы больно уязвляли редактора газеты. Обиженный обратился за объяснением к Фету, тот, в свою очередь изумленный, письменно заявил, что никакого касательства к опубликованным за его подписью стихам не имеет. Редактор понял, что стал жертвой «Лжефета».

Накануне Февральской революции в «Русской Воле», газете Амфитеатрова, в Петрограде, появилась статья, представлявшая с первого взгляда бессмысленный набор слов. Но из первых букв каждого слова складывались фразы с требованием отставки министра Протопопова, против которого было общественное мнение.

Примеров использования принципа акrostиха в прозе достаточно.

В Екатеринодаре, в начале революции, — тогда еще существовали фронты гражданской войны, — местные «Известия», не подозревая подвоха, напечатали присланное кем-то стихотворение «пролетарского содержания». Можно представить себе состояние редактора, когда выяснилось, что напечатанное — акrostих — начальные буквы которого давали: ЛЕНИН ПОДЛЕЦ.

В коммунистической ньюйоркской газете «Морген — Фрайхайт» (на идиш), в 1952 году было напечатано стихотворение, подписанное неким Давидом Вилером, называвшееся «Враг». «Враг» оказался подлинным врагом газеты: его акrostих был: СТАЛИН ПАЛАЧ. Попался на эту удочку и прокоммунистический «Русский Голос», выходящий в Нью Йорке: в номере, посвященном сорокапятилетию Октябрьской Революции он поместил «юбилейное» стихотворение «45» (Охвачен мир тревогой. Некто злой), оказавшееся мезостихом: ХРУЩЕВ ХАМ. Эти два слова давали вторые буквы стихотворения. Тайну мезостиха раскрыл Аргус, поместив в «Новом Русском Слове» фельетон по этому поводу.

Достойны внимания редкие, к сожалению, акrostихи, вышедшие «из-под пера» детей. Они ценны своей непосредственностью, свежестью. Приведем такие стихи двух юных акrostихистов. Вот акrostих десятилетней девочки:

#### Лесные звери

Лисенок рыжий всех хитрил.  
Юлит зайчишка бедный.  
Да волк их всех хитрее был.  
Ам, ам, и пообедал.

А вот акrostих десятилетнего мальчика Володи Бессмертного, — он в шестнадцатилетнем возрасте сумел заинтересовать собою Велимира Хлебникова (Володя умер рано):

**Акrostих к маме**  
 Дорогая мама,  
 Умница моя.  
 Сам не знаю как  
 Я назвать тебя.

Особняком стоят случаи, когда без всякого сознательного участия пишущего, совсем без заранее обдуманного намерения, он создает акrostих. В нашей коллекции много таких «акrostихов случайных», о существовании которых сплошь и рядом не знают их невольные авторы. Вот примеры.

За картой карта пали биты,  
 И сочтены ее часы,  
 Но, шелком палевым прикрыты,  
 Еще зовут ее красы...

(И. Анненский. «ИЗ ОКНА». Акrostих: ЗИНЕ).

В моей душе лежит сокровище,  
 И ключ поручен только мне!  
 Ты право, пьяное чудовище!  
 Я знаю: истина в вине.

(А. Блок. «НЕЗНАКОМКА». Акrostих: ВИТЯ).

В япанчу, поверх кольчуги,  
 Оболок Размыка стан  
 И повел лихие струги  
 На слободку — Еруслан.

(Н. Клюев. «ПОВОЛЖСКИЙ СКАЗ» Акrostих: ВОИН).

Уж поздно... Всё сильнее цветов благоуханье,  
 Сейчас взойдет луна...  
 На небесах покой, и на земле молчанье,  
 И всюду тишина.

(А. Н. Апухтин. «О, Боже, как хорош...». Акrostих: УСНИ).

Подобных примеров уйма. Если наши поэты повнимательнее приглядятся к своим стихам, они несомненно откроют у себя акrostихи, о существовании которых и не подозревали.

\*

Нередко задается вопрос: если акrostих (мезостих, телестих) отнимает у пишущего свободу, налагает узы на его мысли, — не проще ли навсегда от него отказаться? На этот вопрос ответим вопросами: что заставило авторов ветхозаветных книг связывать себя по рукам и ногам, вводя в свои произведения алфавитные акrostихи? Как случилось, что среди добро-

вольно подчинившихся тирании акrostиха оказались: Джованни Боккаччо, Франсуа Вийон, Ян Гус, Иоанн Дамаскин, Эдгар Аллан По, Роман Сладкопевец, Элеазар бен Калир. Как случилось, что акrostихи вводились в религиозные гимны, молитвы, философские трактаты, их писали святые, отцы церкви, папы, архиепископы, монахи, ученые, государственные деятели?

Наконец, если всё, стесняющее свободу поэта, надо отвергнуть, почему же легионы поэтов всех времен, — среди них поэты выдающиеся, — никем не принуждаемые к тому, влезали в ярмо французских баллад, вилланелей, газелей, «королевских рифм», октав, рондо и ронделей, секстин — обычных и сложных, сонетов и сонетных венков, терцин, триолетов, — и оставались при этом поэтами Божьей милостью?

Не в том ли секрет, что истинный мастер стиха, добровольно подчиняя себя канону избранной им художественной формы (акrostих не исключение), одновременно — вдохновением — всецело подчиняет эту форму себе?

А потому следует ли предавать акrostих анафеме?

*Геннадий Панин, 1966 г.*

## РИФМА НА ЛЮБОВЬ

Пусть рифма на любовь не создана,  
Ей может быть одна любовь ответом;  
Поэзия, большой любви страна,  
Которую не знают в мире этом.

В долинах мира тот же зреет лед  
И крепнут виноградные настои;  
А над поэзией любовь идет  
И солнцем, и туманом, и звездой.

Слова любви твоей всегда бедны,  
Но, бедностью овеяны великой,  
Они родят пророческие сны,  
В своих невнятных шопотах и криках.

## ШЕКСПИР

Жизнь королей всегда была равна  
Свечам тяжелым и оплывшим воском.  
Страстей земных пустые имена  
Стучат, звенят на крашенных подмостках.

Никто не понимает никого  
На этом сумасшедшем старом свете.  
Давай посмотрим в трещину его —  
В оставленный узор его столетий.

## ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ

Требуются слепые,  
Стучавшиеся у всех дверей,  
Потерявшие Россию.  
Просят придти скорей.  
Оканчивается список,  
На котором сполна  
Всех грешных и павших низко  
Написаны имена.  
Будет на душах поставлена  
Огненная печать.  
Всех, кто прожил бесславно,  
Просят не опоздать.

## АДДИС АБЕБА

Когда затихнет в мире крик усталый  
И солнце снова ляжет за горой,  
Идут к задворкам робкие шакалы,  
Ища себе нечистоты земной.

Их время — тьма. Ничто не потревожит  
Обглаживания костей в пыли.  
Они ступают в мире осторожно,  
Как робкие певцы моей земли.

## ПОЛНОЧЬ

“Лови воров”, кричат по перекресткам.  
А люди на углах своих стоят,  
Беззвездной тьмой закрытые до пят,  
И дождь по ним сечет холодный, хлесткий.  
И никому нельзя пойти назад,  
А впереди гроза и гулкий град.  
И нет домов — сколоченные доски  
Вокруг людей, как тысячи преград...  
А был когда то мир, как Божий Сад.

## УПРЕК ПОЭЗИИ

*Георгию Адамовичу*

Поэзия, не ты ль всему виной?  
Тебя зовет и судит голос мой.  
В земную немоту изнеможенья  
Ты посылаешь тень стихотворенья,  
Она мелькнет и взор вещей погас,  
И долго ты не навещаешь нас,  
Всю эту землю странную, больную,  
Как будто бы стыдясь, иль негодуя.

## ТРУДНАЯ РАДОСТЬ

Летейских бурь нельзя остановить,  
Но можно жить с холодной жизнью рядом,  
Когда осенний ледоход в крови  
Сворачивает хладом листья сада.

Нам к трудной радости привыкнуть надо.  
Придет нежданно великий день,  
И вот идет его нагая тень  
Неотвратимую своей усладой.

*Странник*

## О СИМВОЛИКЕ АНДРЕЯ БЕЛОГО

О творчестве А. Белого написано сравнительно мало. И многое в этом творчестве остается неисследованным и спорным.

В «Новом Журнале» (№ 83) Всеволод Сечкарев пишет: «Андрей Белый принадлежит к числу русских писателей, в творчестве которых игра словом и стилистическими приемами стоит на первом месте». Бесспорно, что читатель Белого должен претерпеть не мало от того, что легко называется игрой. Однако, трудно согласиться, что эта «игра» у Белого стоит на первом месте.

Сечкарев продолжает: «Игра эта нередко затемняет и ход действия и смысл произведения». И это правда. Но дело в том, что эта «игра» не только часто бросается в глаза, но иногда решительно закрывает глаза читателю. Хуже того, она часто затемняет значение тех весьма личных символов, без которых нельзя понять самого Белого. Даже близкий друг его Александр Блок и критик творчества Андрея Белого К. Мочульский не всегда Белого понимали.

В 1921 году Андрей Белый написал в своем «Дневнике писателя» («Записки мечтателей», № 2-3, стр. 129): «Не приняли ряда мы истин: что, например, мы — без ног; что, например, вместо ног у нас выросли крылья, которые мы после некоторых упражнений уж можем развешивать, что крылатое, индивидуальное «Я», точно бабочка, вылетает из бранных составов; но мы не хотим научиться летать, доверяясь аберации ощущения, будто есть у нас ноги; при каждой попытке ходить, грузно падаем мы. Все темы, к которым меня призывают, которыми все еще продолжают жить люди, — суть ложные ощущения, отсутствие ног, обрекающее на бесконечность падений; и тема моя — извещение, что отсутствие ног заменено ростом крылий: — дух «Я», не стесняемый более личностью, крылья души».

В связи с этим стоит вспомнить, что писал Белый в 1922 году: «В Упанишадах я жил до рождения». Вышеприведенный отрывок — как бы символическое описание главной цели Упанишад: раскрыть Браман.

Здесь важно отметить, что, по мнению Белого, наше «Я» (с большой буквы) способно совершить чудесное, неведомое превращение, но что мы, как на зло, этого не желаем. Наше теперешнее направление ума как бы старается защищать и продолжать себя. Мышление, условно ограниченное пятью чувствами, условно ограничивает душу. Человеческая душа символически равна гусенице, почему-то не доверяющей своей способности стать бабочкой. Сравните:

Just because one lives in a delusion (not to speak even of being interested in keeping up the delusion), one is bound to desire that which will feed the malady — a common enough observation this — the sick man desiring precisely those things which feed his malady. (*Selections from the Writings of Kierkegaard*, New York, 1960, p. 225.)

В своей книге «Андрей Белый» (стр. 117), К. Мочульский цитирует интересное место из рецензии Белого на драмы Блока: — «‘Как атласные розы распускались стихи Блока... Но когда отлетел покров его музыки (раскрылись розы) — в каждой розе сидела гусеница...’ (Мочульский продолжает:) Это погребение заживо лучшего друга показало Блоку всю глубину пропасти, выросшей между ним и Белым». — Рецензия, разумеемся, не лестная. Но мне кажется, что те, кто так разочаровываются гусеницей, как бы забывают и о ее способности стать очаровательной бабочкой и о значении для Белого такого превращения.

Мы уже видели символическое описание у Белого того, что случается с человеком, когда он раскрывает Браман или «учится летать». Вот как Белый описывает миг этого раскрытия. В предисловии к «Котику Летаеву» мы читаем: — «Самосознание, как младенец во мне, широко открыло глаза, и сломало все — до первой вспышки сознания; сломан лед: слов, понятий и смыслов...»

Сравните:

... to imagine nothingness you had to be there already, in the midst of the World, eyes wide open and alive... (Jean-Paul Sartre, *Nausea*, New York, 1959, p. 181.)

Но самое поразительное сходство с этим «мигом раскрытия» мы находим все-таки в следующих стихах Тютчева, имевшего такое большое влияние на Белого:

«Но подо льдистою корой

Еще есть жизнь, еще есть ропот —»

В начале первой главы «Котика» Белый даже цитирует Тютчева:

«Час тоски невыразимой...

Все — во мне... И я — во всем.»

Но миг самосознания не может продолжаться: как только человек понимает, что случилось, он своим же сознанием снова скован. К тому же, «мы не хотим научиться летать», и самосознание страшит сознание. Белый (в «Котике»): — «Роковые потопы бушуют в нас (порог сознания — шаток): берегись, — они хлынут». — Тютчев: — «О, бурь заснувших не буди — Под ними хаос шевелится!..»

Но может быть для Белого важнее всего то, что осуществление самосознания символически описано им как младенец в нем, широко открывающий глаза:

«...передо мной — первое сознание детства; и мы — обнимаемся:

— Здравствуй ты, странное!»

Вот и младенец, который в Упанишадах жил до рождения, который умер при рождении, когда сознание его сковало, и который широко раскрывает глаза в миг самосознания. Сравните:

— Since man woke on earth, he knows his story, but, before we woke on earth, we were. (Matthew Arnold)

Our birth is but a sleep and a forgetting . . . (William Wordsworth)

...«умереть» значит «родиться», а «родиться» — «умереть»... (Вячеслав Иванов)

Цитируя опять Белого («в любопытной неизданной заметке 31 августа 1921 года»), критик Мочульский как то мало оценивает личную символику Белого. Белый пишет о звуках в «Петербурге»; и потом замечает: — «...я не позволяю вам у меня отнимать мое детище; я знаю его в такой степени, которая вам и не снилась никогда».

Мочульский пишет: — «Белый осмысливает созвучие: из сочетания плавных, губных и гортанных рождение эмоций: они обрастают образами и идеями. Так музыкально строится фраза, в определенной тональности складываются главы и вырастает фабула из аллитераций и ассонансов. Проза Белого — инструментована».

Все это прекрасно, но слово «детище» у Белого здесь не означает рождения эмоции. Недаром же он сравнивает самосознание с младенцем в себе. Фраза у Белого строится не только музыкально, но и философски. Вот что он пишет о «Петербурге» и о «детище» в своем «Дневнике писателя»: — ...«Петербург» лишь эскизик картины, лишь пунктик... я вплотную придвинусь к вам темой моею: то «Я», о котором хочу я писать — ваше «Я»... Обеспечьте, о нет, не меня: мое детище: я верну вам затраты».

Не надо забывать слов Белого, «тема моя — извещение, что отсутствие ног заменено ростом крылий — дух «Я», не стесняемый более личностью — крылья души». Без такого понимания слова «детище» — как философской темы Белого — как темы раскрытия нашего «Я» — вышеупомянутая заметка действительно кажется только «любопытной».

Как гусеница становится бабочкой при освобождении души, так и человек, словно младенец, открывает глаза, ломая лед при самосознании. В обоих случаях, ощущение и мышление преодолеваются и «детище» осуществляется.

В начале «Котика Летаева» Белый употребляет весьма уместный символ для понятий ощущения и мышления. Повествователь описывает (!) свое рождение: — «...ощущая себя — змееногим; и мысли мои — змееногие мифы... — ощущение мне — змея...» — Так как у Белого «мы — без ног» и «доверяемся аберации ощущения, будто ноги у нас есть», символ змеи удачно противопоставлен бабочке; причем соблазнительно дать воображению полный ход: змея — без ног, но она — почти что сплошная нога. Бабочка же — почти сплошные крылья. Бабочка летает вверх; змея же осуждена остаться на земле. Важно понять, что бабочка — результат действительно волшебного преобразования; змея же тщетно ежегодно сбрасывает кожу: превращение оказывается ложным. Но, по-моему, важнее всего то, что гусеница сначала так похожа на змею, ошибочно отыскивающую у себя ноги, в то время, когда у нее уже есть крылья, правда, еще не осуществленные.

Интересно, что первые мысли Котика Белый называет — «змееногие мифы». И недаром в начале «Котика» мифология так часто употребляется Белым для того, чтобы описать переход после рождения нашего «Я» в наше «я». Как пишет Jung:

The indefinite yet definite mythological theme and the iridescent symbol express the processes of the soul more aptly, more



звук «с» почти совсем заменен в ней звуком «к»: гусеница, котик, буква, кукла, комната, кипятилок, накипи, мысль-ковчег, кубок метелей и т. п.

Третья группа звучит относительно тяжело; в ней часто встречается буква «д». Эти слова философски символизируют блуждание по пути к нашему «Я»: змея, удав, дерево, дым, идея, ощущение, наука, покров, плен-в-плоти и т. д.

Все эти слова имеют для Белого важное символическое значение. В конце своего «Дневника писателя» Белый, например, пишет: — «...блеск Солнца (Я — «Солнце») есть подлинный блеск...»

Символ Солнца у Белого играет приблизительно такую же роль, как «бездна» или «мир ночной души» у Тютчева или как “flame” у Kenneth Patchen. Сравните «Солнце-Я» Белого со следующим изречением Seymour (тоже очень интересовавшегося Упанишадами) в “Zooeu” (J. D. Salinger):

... education by any name would smell as sweet, and maybe much sweeter, if it didn't begin with a quest for knowledge at all but with a quest, as Zen would put it, for no-knowledge . . . to be in a state of pure consciousness — *satori* — is to be with God before he said, Let there be light . . . to conceive of a state of being where the mind knows the source of all light.

Критики часто считают Белого противоречивым. Я думаю, — напрасно. По-моему, это происходит отчасти потому, что они не совсем понимают его личную символику; а иногда потому, что Белый употреблял те же самые символы, то в связи с нашим «я», то в приложении к нашему «Я»; иногда же потому, что он нередко старался казаться противоречивым. Почему? Потому что противоречие кой-когда намекает нашему «я» — о нашем «Я»: — «Мы живем не на шаре, а в шаре». («Котик Леттаев», 1922, стр. 32 и «Дневник писателя», «Записки мечтателей», № 2-3, стр. 131).

Здесь первый «шар» относится к нашему «я»; второй — к нашему «Я». Вместе взятые нашим «я», эти два «шара», благодаря своему кажущемуся противоречию, суть намек Белого на наше «Я».

Стоит ли изучать символику Андрея Белого? Это — дело вкуса. Но без знакомства с ней, трудно познакомиться и с подлинным Белым.

## ИГРУШКИ

Иногда, заскучав над задачником по математике,  
Я спускался в мирок надоевших игрушек моих.  
Оловянную доблестью вдруг набухали солдатики  
И покорно одни убивали — покорных — других.  
А потом, оторвавшись от воображаемых пушек,  
Я, мудрейший стратег, проницательнейший командир —  
Семилетний — из мира условного кротких игрушек  
Возвращался во взрослый, колючий, взаправдашний мир.  
Но, читая о том, как купец управлялся с аршинами,  
А крестьянин подсчитывал гарнцы и четверики,  
Вспоминал иногда, что, рядами уснувшие чинными,  
Ждут команды моей — побеждать или гибнуть — полки.  
Так и ангел, играющий мною — большой, своенравный  
То бросает меня на врага, и бежит Голиаф,  
То меня заставляет бежать, и бегу я, бесславный,  
И до вечера плачу, лицом на подушку упав...  
А потом в оловянную ночь он уложит, заботливый,  
Безответных солдат и, на ключ заперевши чертог,  
Не спеша полетит к некрасивой и словоохотливой —  
Тоже ангельской — даме на скучный ее five o'clock.

## ТРОЕ

*Перевод стихотворения Ли Бо*

Среди цветов я радуюсь вину.  
Я здесь один — мне не с кем пить сейчас.  
Подняв бокал, я приглашу луну  
И тень мою, чтоб трое стало нас.  
Луне вино, однако, ни к чему,  
А тень, увы, лишь подражает мне.  
И все ж я их в товарищи возьму:  
Мы музыкой честь воздадим весне.  
Вот я запел: качается луна.  
Вот я пляшу: тень мечется, верна.  
Мы выпили — и тотчас разошлись,  
А, трезвые, дружили мы вчера.  
И кажется: в заоблачную высь  
Переплеснет унылая игра.

*Валерий Перелешин*

# РИФМОВАННЫЕ ДОГАДКИ

## О ПОЭЗИИ Д. КЛЕНОВСКОГО

Кажется естественным, что наша эмиграция, поэтами не бедная, в пору цветения так называемой «парижской школы», выделила по духу прямо противоположное ей поэтическое явление. Законным противовесом поэзии безнадежности, тления, докатившейся до «абсолютного ничто», явилась поэзия не враждебная жизни, но жизнь и поэзию связывающая и просветленная, если не верой, то интуитивными догадками и надеждой, достаточно крепкими для утверждения: — Я надеюсь, значит, — я существую.

Поэтическое явление Кленовского вышло не из старой эмиграции (как по характеру его творчества могло бы казаться), а из той, которая волной накатилась после Второй войны. Пожалуй, интересно, что при всем полярном расхождении в их дальнейшем пути, и «парижская школа», и поэзия Кленовского вышли из одной поэтической колыбели: Петербург, Царское Село, в той или иной мере впитанная близость Гумилева. Правда, первый, весьма «юный», сборник стихов Кленовского был под знаком французских поэтов 18 века и тем был близок Кузмину, великому знатоку и почитателю той поэзии (к слову сказать, мастеру незаслуженно забытому).

Но общность между «парижанами» и Кленовским — только кажущаяся. По духу они во всем разны, антиподы, а порою, как два друг другу враждебных полюса. Конечно, не своим отличием от «парижской» группы интересен и значителен Кленовский, а тою своеобразием, которой он отличен вообще в нашей поэзии.

Гораздо чаще нехвата, чем кстати, в нашем поэтическом обиходе до затасканности раздаривалось прекрасное определение: «лица необщее выражение». Все же решаюсь вымолвить его, ибо оно совершенно на месте в отношении поэзии Кленовского: как Кленовский, в русской поэзии был устремлен

туда, только Баратынский. Но интонация их поэтической строки совершенно различна, как различно и то, что там, где у Баратынского облеченная в форму холодного кристала уверенность, у Кленовского лишь домыслы, догадки, именно благодаря своей неустойчивости легче доходящие до человеческого сердца.

Чем занимался остававшийся долгие годы на родине Кленовский, где обитал, какие канцелярские лямки в трепете за существование тянул — касаться его человеческой биографии не буду, но про Кленовского-поэта, для полной характеристики его творчества необходимо сказать, что все долгие годы на родине — он молчал. Нет ни одной строки из того глухого периода!

С тем бóльшим правом можно предположить, как много ему за время молчания пришлось заново продумать, осмыслить и нельзя пройти мимо того, что «необщее выражение» его поэзии явилось результатом не пребывания «на свободе», а плодом раздумий в страшном советском одиночестве. Слово родилось из удручающего молчания: в нищей беженской обстановке, в глухой баварской деревушке у Кленовского, «поболдински», вырвалось облегченным вздохом:

Я мертвым был. На тройке окаянной  
Меня в село безвестное свезли.  
И я лежал в могиле безымянной  
В чужом плену моей родной земли.  
Я мертвым был. Года сменяли годы.  
Я тшился встать и знал — я не могу.  
И вдруг сейчас под легким небосводом  
Очнулся я на голубом снегу...

Достаточно редко, что после первого, весьма «детского», сборника, после следовавшего многолетнего творческого провала, Кленовский сразу же выступает со стихами, обнаруживающими зрелое мастерство и, мало того, заключающими в себе стройное мирозерцание и мироустремление. По шести ранее вышедшим сборникам, а теперь по сборнику «Стихи» (избранное с добавлением стихов последнего периода, бережно изданных «Международным литературным сотрудничеством») можно совершенно ясно увидеть, как пережитые катастрофы вылились в поэзии Кленовского стремлением объеди-

нить эстетику с религией: явление, встречающееся не часто и повергшее иных наших руководителей поэзии (если и поминавших имя Господа Бога, то только всуе) в состояние легкого шока, критического столбняка, от которого, правда, они с трудом, постепенно отходят. Уже в самом призвании поэта Кленовскому видится нечто, дарованное ему Свыше и завет «Веленью Божию, о, Муза, будь послушна» сквозит (в смысле почти буквальном) во многих его строках: стихи — это «лучшее о лучшем в мире» — «...Ведь для того и бред, и муки, — И судорога этих строк, — Чтоб дольний мир земные звуки — В небесный замысел облёк»... Язык поэтов — «Конечно, выдуман не нами — И миру только одолжен». Так божественно поэтическое ремесло воедино связывает надежда двоякая: — «Мне не придется там писать стихов, — Но вряд ли ремесло свое забуду»...

О том, в чем видит для своей поэзии Кленовский «веленье Божие», можно прочитать уже в его первом напечатанном в эмиграции стихотворении. Глядя на свою руку, которая «день ото дня старее» и удел которой «с душою одинаков», он заключает свои размышления:

Вот на тебя смотрю я без стыда,  
 Без горечи и радуюсь неволью,  
 Что ты уже не сможешь сделать больно  
 Отныне никому и никогда.

А в заключении стихотворения «Долг моего детства», открывающего первый его сборник, он так обращается к самому себе:

Была пора: в преддверьи нищеты  
 Тебя земля с улыбкою встречала.  
 Верни же нынче долг свой запоздалый  
 И, хоть и трудно, — улыбнись ей ты.

О том, как было «трудно улыбнуться» свидетельствует то, что этот заданный себе завет выполнен лишь в самых поздних стихах, когда серьезно-задумчивое лицо Кленовского вдруг смягчается улыбкой и от неожиданности еще более пленительным кажется нежное остроумие «Стихов о стихах», об «опушках и веснушках», о мёде... И ценно и характерно для поэзии Кленовского, что в стихах его позднего возраста нет (такого

человеческого) озлобления, горечи, а вместо них умудренность улыбки.

Уже и в приведенных выше строчках — все основное поэзии Кленовского: ясная и спокойная сила, служащая как бы залогом, что «никому и никогда не будет сделано больно», что злу послужено не будет, хоть это и «трудно» быть его поэзии жизнеутверждающей, ибо жизнь — «подарок Бога». На дальнейшем поэтическом пути Кленовского вехами стоят такие строки: «...и я доволен — Не только тем, что хлеб в моей суме, — Но также тем, что этот хлеб присолен». — «Жил ты в радости и печали, — Но что радость была сильнее»... А обращаясь к «нашему миру», Кленовский говорит:

И несмотря на все разлуки,  
На всю заведомую ложь,  
На все заломленные руки —  
Он будет все-таки хорош!

Иные могут, конечно, сказать, что и при всех этих достоинствах такая поэзия все же несколько «старомодна», а потому и т. д.... В ответ припомним, что на протяжении скольких лет «веленьям» каким-угодно, только не Божиим, «призывалась служить Муза» поэтов и отрицание жизни и ее ценностей как бы входило в хороший поэтический тон. Но что из этого вышло? А в «старине» Кленовского такая освежающая новизна, которую и своего рода «революционной» можно было бы назвать, не будь в этом опасения впасть в противоречие с формой его поэзии. В области формы Кленовский не «завоеватель» и не искатель. По натуре он — хороший хозяин, умело допускающий в добрую, старую форму, на которой крепко стоит его поэтическое хозяйство, все то новое, что подходит внутреннему ладу его поэзии. Чуждое какой-либо ортодоксальности творчество Кленовского в его «рифмованных догадках» лишено всякой претензии на пророчество и в соответствии с этим и весь тон его никак не «пламенный», «без патетических сонат», язык почти разговорный и как раз в этом трудно объяснимом «почти» заключено то, что возносит этот язык до поэтических высот.

Особенностью Кленовского является еще соединение очень широкого мистического чувства бесконечности с трезвой здоровой реальностью. Чтобы к бесконечности приобщиться, чтобы осознать, уразуметь ее, вовсе не требуется каких-то особых усилий: бесконечность тут, на земле, излита во всем, во всякой

повседневности. Надо только пристально взглядеться и тогда — «В каждой капле, камешке, листе — Шумный космос дремлет, изначален. — Оттолкнулся и, глядишь, причален — К самой невозможной высоте». — «Тайною овевя и храним — Каждый жалкий камень придорожный, — Каждый лист, упавший рядом с ним». В чудесном «Сонете о мёде» («Посланец неба! Гость благоуханный!») поэт размышляет, что «может быть, от нас сокрытый жив — На хрупком блюде вздох самой вселенной». Пожалуй, стоит отметить различие между тютчевским страшным хаосом и — хотелось бы сказать — **ласковым** космосом Кленовского; и кажется особо примечательным, что в эпоху атома, когда «спутники» бороздят небеса и нога человеческая вот-вот ступит на Луну, на Марс — Кленовский, любовно склонившись над колосом, сравнивая колос с некрепкими делами рук человеческих, исполненный благоговейного удивления, восклицает:

А он — построен и стоит,  
 Нерукотворен и чудесен  
 И о нездешнем говорит  
 Стройнее самых стройных песен.

Малости и повседневности преобразуются в поэзии Кленовского в чудесные «таинства земли» и одной из основ мировой гармонии кладется любовь. Стихи, по которым проходит образ жены, верной спутницы, стихи о любви-защите от «шума вселенной», просиявшей впервые в ту ночь, когда «...бушевали соловьи — Над нашей гоголевской хатой, — Луною выбеленной и — Подсолнухами полосатой». Или о том, что «Мы жизнь прошли, как поле, рядом» — в своей простоте лучшие из лучших стихотворений Кленовского.

«Таинства земли», конечно, и в богатом тепле воспоминаний. «Надо в мыслях чаще возвращаться — К догоревшим, к отшумевшим дням — И в золе их мы найдем богатства, — Что в огне не просияли нам». Чудесная повседневность таится и в зверях, которых Кленовский понимает и нежно чувствует, и в деревьях: обращение к ровеснику — срубленному дубу — как к человеку.

Колос и пахучий мед, верная любовь и куст розы, спиленное дерево и косою заячий след, все это, сливаясь в гармоничное единство, называемое жизнью, «подарком Божиим», возносится к «несказанным высотам». В чем видится Кленовскому значение

и оправдание жизни, что возносит ее до степени «подарка Божьего» — на это отвечает ряд стихотворений, из которых выписываю полностью одно:

Ну да — и рожь! Та расцветает тоже,  
 Сама как будто тем удивлена  
 И так на все цветенья непохоже,  
 Что ты не знаешь, что цветет она.  
 Едва заметным лиловатым дымом  
 Из края в край все поле обовьет.  
 Она цветет, цветет почти незримо,  
 Почти тайком, но все-таки цветет.  
 О, не стыдись! Поговорим о чуде,  
 О несказанном таинстве земли,  
 Где все мы, все — поля, деревья, люди, —  
 Хотя бы раз, хоть тайно — но цвели.

Все цветет и потому все одушевлено, наделено душою вечной. «Все то, что было и чего уж нет — Неистребимо, потому что было!» — «...в мире нет разрушенного зданья, в котором бы не проросла трава» — этот опыт наглядно, в самых различных образах освещается поэзией Кленовского. И «рифмованные догадки» приводят к тому, что когда это так, то не может быть в гармонической конструкции мироздания исключения и для человека; и человеческая жизнь, бесконечно преображаясь, не подобна ли «бессмертному земному новоселью»? Здесь чувствуется, конечно, близость антропософии, но все же, к счастью для поэзии, она редко приносится в жертву дорнахскому вероучению. Кленовский от него **отталкивается**, чтобы своим голосом так выразить свои чаяния: — «Вчерашней ветки повторенье — В моем распахнутом окне, — Но все иное: все — цветенье, — Все — солнечных лучей биенье — В сиреновой голубизне! — Не так ли ночь и мне поможет — Себя осуществить вполне? — И на заре и я быть может — Совсем другим предстану тоже — В Его распахнутом окне!» Если это так («И может ли быть иначе — Когда я так верю в это!») и если смерть — метаморфоза, исход к очередному, возможно, лучшему «осуществлению» самого себя, тогда «Не буду ль просто завтра я — Там, где меня сегодня нету!» Тогда — «Не пугайся тленья и могил, — Навсегда бессмертен тот, кто жил». И «В комнате умершего» Кленовский пытается чутко вслушаться в сошедшую

вдруг тишину: «...Он только погостил и снова вышел в путь —  
— и слышишь, он поет. Вдали. За поворотом».

И все же, несмотря на такую надежду на потустороннее благополучие, необходимость покинуть «здешнее», расстаться с привычным — все же смущает и даже огорчает поэта:

...Но как-то боязно всегда  
Сменить на пышные хоромы  
Лачугу песен и труда,  
Где плохо мне, но где я дома,  
Где все понятно, где окно  
Откроешь и увидишь крыши,  
Где можно, если все равно —  
И не взглянуть ни разу выше.  
О, черепица бытия!  
Лукавый сторож нашей лени!  
Ты видишь, сам кидаюсь я  
Перед тобою на колени!

А душе —

...может-быть, ей «там» так пусто будет  
(Ни глаз поднять, ни слова произнести),  
Что станет вновь молиться, как о чуде,  
О возвращеньи в горестное «здесь».

Земля, ее дыхание любви Кленовскому во всех проявлениях. Крепко ощущается им и кровная связь с родиной. Но, отдав ей сыновнюю дань стихами строгого стиля о Царском Селе или прелестными стихами о «медленной» московской весне, он готов «кинуться на колени» и перед флорентийскими холмами и поморанцевыми садами Мантеньи; следом за «раздольем Волги» он сейчас же вспоминает «Риальто на рассвете», и Италия для него не только родина духовная, но и пра-родина, куда, может-быть, ему по его убеждению суждено некогда вернуться. И связь с этой страной так глубока, что и тональность многих его стихотворений кажется пропитанной тем особым легко-прозрачным воздухом, который окутывает Италию. Чисто итальянское (от свойств Ренессанса) — его преклонение перед прекрасным, его предельно пластичное изображение «ослепительно нагого» женского тела; кажется даже, что та «Христианская Муза», которая с такой ясностью воплощена в одном из стихотворений

Кленовского, иногда не совсем поспеваает облачиться в одежды христианские...

Характеризуя поэзию Кленовского нельзя, конечно, пройти мимо того, что порою очень густо его «поэтический хлеб присолен» и что порою «печали» доходят до горечи чрезвычайной. Чаше «рифмованные догадки», освещенные духовным светом, устремляются ввысь. Но иногда, словно лишившись этого внутреннего света, увлекаются в темные угрожающие провалы.

В осадке жизни, выпитой до дна,  
Уже совсем не чувствуешь вина —  
Лишь оцета в нем вяжущая прелесть.  
И для того она тебе дана,  
Чтоб больше пить не захотелось.

Мучительно взывает Кленовский: — «Зачем пришел, куда иду — И почему Тебя не слышу!» Мрак прорезается — и не однажды! — мыслью о крайнем средстве и тогда недобрым холодом веет от стихов, в которых поэт просит, чтобы в тот час, «которого не будет строже», у него была бы отнята память о «всех сокровищах неба и земли» — «Чтобы ничего я не запомнил, — Чем мгновенья были высоки: — Ни одной моей подружки дальней, — Ни одной тосканской колокольни, — Ни одной онегинской строки». И тогда — «уже совсем легко мне будет — Оттолкнуть скамью и умереть».

Но духовное смятение отдельных стихов, тенью на всю поэзию Кленовского никак не ложится; определяюще для нее совершенно ясно высказанное утверждение: — «Знаю я: на мне печать Господня, — Мне довольно этого сознания!» «Темные строки», чуждые существу поэзии Кленовского, в ней лишь навяждение и, недобро мелькнув то там, то здесь никак не разладом, а **внутренним диалогом**, не в силах отравить или хотя бы замутить все творчество, лишенное всякого болезненного «ущерба», здорового, цельного и согласованного прежде всего своим религиозным устремлением и помыслом. Пусть понятие Бога широко охватывает и начала пантеистической философии и штейнеровского учения, но черты Бога Библии и, конечно, благоговейное преклонение перед Христом, как воплощением Добра, в этой поэзии наличествует. Ангелы-хранители, своим почти реальным присутствием, раздражая некоторых современ-

ников, в образе «неуловимых спутников» чувствуют себя, как дома, в поэзии Кленовского.

О религиозной концепции Кленовского, не сомневаюсь, в свое время будут писания особые. Я же только приведу вот эти заключительные слова самого поэта:

Я знаю: мир обезображен.  
Но сквозь растленные черты  
Себя еще порою кажет  
Лик изначальной красоты.

И с каждым разом мысль упрямей,  
Что мир совсем не обречен,  
Что, словно фреска в древнем храме,  
Лишь грубо замалеван он.  
И некий Мастер в час свершений,  
К нему заботливо склонясь,  
Освободит от оскорблений  
Его классическую вязь.

*Ю. Офросимов*

## МНОГОГОЛОСЫЙ ПЕРЕСМЕШНИК

(*Mimus polyglottus*)

*...он искусно подражает  
пению других птиц...*

*Толковый словарь.*

Золотой мой гребешок,  
Шамаханский мой рожок  
На рассвете дал сигнал  
И в поход меня погнал.

Соловей мой, соловей,  
Я пустился по твоей  
По тропе на край небес,  
Песни взяв наперевес.

Между небом и землей  
Стала тропка та — судьбой,  
Где, свободною дыша,  
Пишет в пустоте душа.

Дышит-пишет без чернил:  
Кто-то искру заронил —  
От пожара в синеве  
Зашумело в голове.

Пой, о пой, не умолкай,  
Сердце — прядай, ум — алкай,  
Песня — пойся, кровь — стучи,  
Восшепчи, восщебечи!

Но румяная заря  
Упорхнула за моря  
В грай вороний и с тех пор  
Не вернется — “Nevermore!”

## АЛЬПИЙСКАЯ ВЕСНА

Изукрашено небо тучками,  
 Как часовни — телами младенческими,  
 Круглопопкими, пухлоручкими  
 Ангелочками возрожденческими

По откосам цветы рассеяны  
 Непорочной голубизны,  
 Зелень селится по расселинам,  
 А вершины обнажены.

В пересвистах, и в перехлестах, и  
 Вперемешку, и вперебой  
 Соревнуются в райском воздухе  
 Птичий род и пчелиный рой.

...Краски гаснут и дело к ночи.  
 Свет короче и тень длинней.  
 Лишь поток еще все бормочет  
 Все знакомей и все нежней

Сквозь пороги  
 И повороты  
 О дороге...  
 Ну да,

ИЗ ГЕТЕ  
 Над горным хребтом  
 Тишина.  
 Весь окоём  
 На ложе сна  
 Окутан мглой.  
 Птичья умолкла стая.  
 Скоро и ты, стихая,  
 Сыщешь покой.

*Николай Моршен*

# ПОЗДНИЙ МАНДЕЛЬШТАМ

## НЕКОТОРЫЕ ОБРАЗЫ В ЕГО ПОЭЗИИ

Из стихов, написанных Осипом Мандельштамом в 30-ых годах, многие все еще недостаточно прокомментированы, в частности, не полностью раскрыт смысл многих его зашифрованных строк. Это относится и к тем стихам, которые впервые были напечатаны во второй книге альманаха «Воздушные Пути» (Нью-Йорк, 1964). Хотя ряд очень интересных и верных замечаний о них содержится в ценной статье Владимира Вейдле, помещенной в той же книге, но замечания эти все-таки нуждаются в дополнениях.

Прежде всего отметим, что в двух из этих стихотворений присутствует тема чумы. Она дана уже в стихотворении «Фэтонщик»:<sup>1</sup>

На высоком перевале  
В мусульманской стороне  
Мы со смертью пировали,  
Было страшно,  
Как во сне.  
Нам попался фэтонщик  
Пропеченный как изюм,  
Словно дьявола поденщик —  
Односложен и угрюм.

Под кожевенною маской  
Скрыв ужасные черты  
Он куда-то гнал коляску  
До последней хрипоты.  
И пошли толчки, разгоны,  
И не слезть было с горы

---

<sup>1</sup> Это стихотворение, а также «Еще не умер я» и «Я к воробьям пойду» даю в варианте, опубликованном в «Воздушных Путиях». Остальные цитаты по изданию: О. Мандельштам, собрание сочинений в двух томах. Межд. Литер. Содружество, Вашингтон, 1964.

Закружились фэтоны,  
 Постоялые двory.  
 Я очнулся: стой, приятель,  
 Я припомнил, чорт возьми —  
 Это чумный председатель  
 Заблудился с лошадьми.  
 Он безносою канителью  
 Правит душу веселя,  
 Чтоб вертелась каруселью  
 Кислб-сладкая земля.

Что именно называет Мандельштам чумой? И кто такой Фээтонщик? На второй вопрос естественно ответить, что Фээтонщик — тот, кто правит, кто держит в руках «возжи», «бразды правления», кто направляет ход коней.<sup>2</sup> Этот образ стóит сопоставить с образом Кашея в одном из стихотворений Мандельштама тех же лет. Пока подчеркнем, что Мандельштам называет его «чумный председатель». На председателя из пушкинского «Пира во время чумы» он не похож, однако, слово председатель едва ли употреблено зря. Этот председатель правит «безносою канителью». Что же это за безносою канитель, что значит «пошли толчки, разгоны» и что значит чума?

Сравним с этим стихотворением другое, помеченное 1933 годом. Вот его первая строка:

В игольчатых чумных бокалах  
 Мы пьем наважденье причин,  
 Касаемся крючьями малых,  
 Как легкая смерть, величин.

Здесь явственно дан пир во время чумы. На этом пиру пьют шампанское, провозглашая тост за «наважденье причин». Если спросить себя, за что пьют в Советском Союзе в торжественных случаях, то естественно будет ответить: пьют за коммунизм, за идеи Ленина и т. д. Итак, повидимому, в этих строках Мандельштама «причина» «чумы» — коммунизм, а наваждением, то-есть одурманивающим воздействием нечистой силы, поэт называет коммунистические идеи. Таким образом, чума,

<sup>2</sup> Ср. образ Петра в «Медном Всаднике», образ России — тройки в «Мертвых Душах». И. Ч.

а также безнося (как смерть) канитель — это у Мандельштама обозначения советского режима.

Далее идет многозначительный образ «крючев». Только что Мандельштам употребил слово «чумный». Как известно, в средние века, во время эпидемии чумы, тогдашние санитары крючьями зацепляли трупы погибших. Но слово «крючья» относится не только к атмосфере чумы: у Мандельштама оно связано еще и с игрой в бирюльки — символом ничтожных пу-  
стяков.

Касаемся крючьями малых,  
Как легкая смерть, величин.

Повидимому, Мандельштам хочет сказать, что чья-то рука зацепляет трупы жертв «чумы» так же небрежно и спокойно как если бы это были бирюльки.

Сравним это стихотворение с другим, написанным в 1936 году.

Там, где огненными щами  
Угощается Кашей, —  
С говорящими камнями  
Он на счастье ждет гостей —  
Камни трогает клещами,  
Щиплет золото гвоздей.

(Обратим внимание на выразительность этих щ).

Нет сомнений, что Мандельштама сильно занимала личность Сталина. Это выразилось не только в том, что вскоре он осмелился написать эпиграмму на диктатора. Есть серьезные основания думать, что строки об «огненных щам» относятся к сталинскому erroru. «Говорящие камни» — это сотрудники Сталина, такие, как Молотов, прозванный «каменный зад». «Камни трогает клещами»: трогает при рукопожатии пальцы этих людей своими «клещами». «Щиплет золото гвоздей» — берет их за позолоченные пуговицы мундиров. Дальше гово-  
рится:

У него в покоях спящих  
Кот живет не для игры:  
У того в зрачках горящих  
Клад зажмуренной горы  
И в зрачках тех леденящих,  
Умоляющих, просящих  
Шароватых искр пиры...

Этот кот, умоляющий дать ему мышь, это, очевидно, намек на ежовщину.

Цитированные строки написаны в декабре 1936-го года. В следующем году Мандельштам пишет стихи «покаянного» тона, где на вокзале, говорит он,

И ласкала меня и сверлила  
Со стены этих глаз журьба.

Чьи глаза могли «журить» Мандельштама с вокзальной стены? Скорее всего, глаза на портрете Сталина. И глаза эти так устыдили Мандельштама, что

И к нему — в его сердцевину —  
Я без пропуска в Кремль вошел,  
Разорвав расстоянья холстину,  
Головою повинной тяжел.

С повинной головой, разодрав, по старинному русскому обычаю, свою холщевую рубаху. О какой же своей вине говорит Мандельштам?

В одном из стихотворений тех лет он признается, что ему хотелось бы «спрятаться от великой муры за извозчичью спину Москву». Опять вопрос: что называет он великой мурой? Не то ли, что в других стихах называл чумою, веком-зверем, веком-волкодавом? Трудно сомневаться, что в виду имеется советский режим. Что другое могли бы значить эти образы?

Какими красками рисует Мандельштам русский пейзаж? В одном стихотворении («Зашумела, задрожала») дана как-будто прелестная картина весеннего дождя. Однако, присмотримся:

Катит гром свою тележку  
По торговой мостовой,  
И расхаживает ливень  
С длинной плеткой ручьевой,  
И угодливо поката  
Кажется земля пока,  
И в сапожках мягких ката  
Выступают облака.  
Капли прыгают галопом,  
Скачут градины гурьбой,  
С рабским потом,  
Конским топом  
И древесною молвой.

«Ливень с длинной плеткой» — это образ порки, телесного наказания; «рабским потом» покрылась «угодливо» подставленная под удары «покатая» спина, облака расхаживают в мягких сапожках ката, т.-е. палача. Вот какой кадр вставлен в идиллическое описание природы.

Мрачное впечатление производит окружающая Мандельштама действительность и в стихотворении «Я живу на важных огородах» (1935 г.). Об этих огородах Мандельштам говорит:

Ванька ключник мог бы здесь гулять.

Ванька ключник, как известно, был разбойник, «гулял» — гулять в применении к разбойнику значит грабить, убивать. «Обиженный хозяин», о котором говорит Мандельштам, — обиженный, т.-е. вероятно, зарезанный, — и после смерти бродит по этим гиблым местам. А дальше сказано:

И богато искривилась половица —  
Этой палубы гробовая доска.

Под половицей, где хозяин хранил деньги, лежит труп.

Страшный образ глухой, непросветленной России дан и в другом стихотворении, тоже помеченном 1935-ым годом:

Как на Каме-реке глазу темно, когда  
На дубовых коленях стоят города.  
В паутину рядясь борода к бороде...

То же мрачное освещение было и в таких стихах 1931-го года:

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,  
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи!  
Как, прицелясь на смерть городки зашибают в саду,  
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубашке  
И для казни петровской в лесах топориче найду.

В одном стихотворении 1937-го года Мандельштам говорит:

Что делать нам с убитостью равнин,  
С протяжным голодом их гуда?

В другом, еще более певучем, певучесть только подчеркивает мрачность картины:

Еще не умер я, еще я не один,  
 Покуда с нищенской подругой  
 Я наслаждаюсь величием равнин  
 И мглой, и голодом, и вьюгой.  
 В прекрасной бедности, в роскошной нищете

Да, жалок тот, кого, как тень его,  
 Пугает лай и ветер носит,  
 И жалок тот, кто, сам полуживой,  
 У тени милостыни просит.

Другое стихотворение того же года говорит о том, что пейзаж, окружающий Мандельштама, уже становится невыносимым для него:

О, этот медленный, одышливый простор!  
 Я им пресыщен до отказа —  
 И отдышавшийся распахнут кругозор  
 Повязку бы на оба глаза!

В двух стихотворениях, написанных в самом начале 30-тых годов, непривлекательного пейзажа нет, но в них выражено острое чувство одиночества Мандельштама, его неустрашенности в быту, отсутствие связи с окружающей жизнью:

Когда подумаешь, чем связан с миром,  
 То сам себе не веришь: ерунда!  
 Полночный ключик от чужой квартиры  
 Да гривенник серебряный в кармане

Я, как щенок, кидаюсь к телефону

Все думаешь к чему бы приохотиться  
 Посреди хлопшек и шутих,  
 Перекипишь — а там, гляди, останется  
 Одна сумятица, да безработица:  
 Пожалуйста, прикуривай у них!  
 То усмехнусь, то робко приосанюсь

И с белокурой тростью выхожу.  
 Я слушаю сонаты в переулках,  
 У всех лотков облизываю губы,  
 Листаю книги в глыбких подворотнях  
 И не живу, и, кажется, живу.

Мандельштам не знает, к чему приохотиться посреди житейского шума «хлопушек и шутих». И вот символы его жизни: «ключик от чужой квартиры» — то-есть отсутствие своего угла. «Я, как шенок, кидаюсь к телефону» — ожидание какой-то спасительной весты. «У всех лотков облизываю губы»: не на что купить еду («гривенник серебряный в кармане»).

Чувство одиночества еще сильнее в следующем стихотворении, начинающемся как бы истерическим криком: «поэт не может больше оставаться один:

Я к воробьям пойду и к репортерам,  
 Я к уличным фотографам пойду!

И до чего хочу я разыграться,  
 Разговориться, выговорить правду,  
 Послать хандру к туману, к богу,<sup>3</sup> к ляду,  
 Взять за руку кого-нибудь: — будь ласков, —  
 Сказать ему, — нам по пути с тобой...

Но самое острое выражение этого чувства одиночества находим в следующих стихах, где картина зимнего Воронежа нарисована с предельным отвращением, с предельной враждебностью:

Куда мне деться в этом январе?  
 Открытый город сумасбродно цепок.  
 От замкнутых я, что ли, пьян дверей? —  
 И хочется мычать от всех замков и скрепок.  
 И переулков лающих чулки,  
 И улиц перекошенных чуланы, —  
 И прячутся поспешно в уголки,  
 И выбегают из углов угланы.  
 И в яму, в бородавчатую темь,  
 Скользжу к обледенелой водокачке,

---

<sup>3</sup> Думается, художественно выше вариант с этим «к богу», а не «к бесу» — и «к богу» с маленькой буквы. И. Ч.

И, задыхаясь, мертвый воздух ем,  
 И разлетаются грачи в горячке.  
 А я за ними ахаю, стуча  
 В какой-то мерзлый деревянный короб:  
 Читателя! советчика, врача!  
 На лестнице колючей — разговора б!

«И переулков лающих чулки»... Мы понимаем, что Мандельштам идет понурившись, он уже не хочет видеть лица людей. Только какие-то ноги еще досадным образом мелькают по тротуару: «угланы», обитатели углов, еще зачем-то перебегают с места на место.

Так рисует Мандельштам отечественный пейзаж.

И вот в его поэзии начинает расти тема ухода.

В стихотворении «За высокую доблесть грядущих веков», помеченном 1931 г. [где в начале сказано, что ради высокого (коммунистического?) идеала поэт был лишен веселья], Мандельштам просит увести его — чтобы он не видел «ни хлипкой грязи, ни кровавых костей в колесе». Он просит увести его в торжественное спокойствие величавой первозданной природы:

Уведи меня в ночь, где течет Енисей  
 И сосна до зари достает...

Он хочет, «чтоб сияли всю ночь голубые песцы» ему «в своей первозданной красе». В стихотворении «Ночь на дворе», где ночь уже не голубая и величавая, а только страшная, эта тема ухода звучит еще сильнее!

Шапку в рукав, с шапкой в руках — и да хранит тебя Бог.

Особенно отчетливо выражено это желание уйти, скрыться, в стихах «Мы с тобой на кухне посидим», тоже помеченных 1931 годом:

А не то веревку собери  
 Завязать корзины до зари,  
 Чтобы нам уехать на вокзал  
 Где бы нас никто не отыскал.

Отметим: речь идет о бегстве под покровом ночи, до зари. И то же стремление уйти есть и в стихах 1935-го года:

Пусти меня, отдай меня, Воронеж,

Говорит об уходе Мандельштам и в этом стихотворении 1937-го года («Не сравнивай: живущий несравним»), хотя говорит и менее ясно; тема ухода осложнена чувством привязанности к родине:

И ясная тоска меня не отпускает  
От молодых еще воронежских холмов  
К всечеловеческим — яснеющим в Тоскане.

Тоскана... Европейские пейзажи появляются в ряде стихотворений Мандельштама 30-ых годов. В стихотворении «Возможна ли женщине мертвой хвала?» концовка напоминает картину фламандской школы. Правда, означает эта картина, видимо, только зиму, холод, — не европейский холод, а еще только тот, которым был окружен Мандельштам:

Но мельниц колеса зимуют в снегу  
И стынет рожок почтальона.

Однако в ряде других стихов европейские мотивы означают, повидимому, именно духовное бегство из России в непохожий на нее мир. Именно такой смысл имеют, мне кажется, строки стихотворения «Я к воробьям пойду», где поэт уходит от действительности в европейское прошлое:

Вхожу в вертепы чудные музеев,  
Где пучатся кашеевы Рембрандты,  
Достигнув блеска кордованской кожи;  
Дивлюсь рогатым митрам Тициана  
И Тинторетто пестрому дивлюсь.

И повидимому, именно европейский, средиземноморской пейзаж (скорее чем черноморский), нарисован Мандельштамом в этом стихотворении:

Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева,  
И парус медленный, что облаком продолжен,  
Я с вами разлучен, вас оценив едва:

Что ж мне под голову другой песок подложен?

Другой, не европейский песок. Кстати, это стихотворение невольно сравниваешь с другим, давним его стихом о Европе: «Как средиземный краб или звезда морская» (1914 г.).

Любовь Мандельштама к Европе проявляется в целом ряде стихов. В стихотворении «Рим» (1937 г.), как правильно указал В. В. Вейдле, даже обличение фашизма не заслоняет, все-таки, очарования удивительного города:

Словно мост ненарушенный ангела

Город ласточкой купола лепленный  
Из проулков и из сквозняков

И морщинистых лестниц уступки  
В площадь льющихся лестничных рек...

Отметим сравнение купола Святого Петра с ласточкиным гнездом. Собор предстает как гнездо духовной культуры.

Отчетливо выражена мечта увидеть Европу в таких стихах:

Я молю, как жалости и милости,  
Франция, твоей земли и жимолости,  
Правды горлинок твоих и кривды карликовых  
Виноградарей в их разгородках марлевых...

Стоит отметить, что Мандельштам принимает и «кривду карликовых виноградарей», то-есть, видимо, ту жизнь, которую русские писатели обычно характеризовали, как полную мещанской скупости и мелочности, быт отгороженный, без братства, без единения — то, что противоположно стихам Блока: «И все уж не мое, а наше, — И с миром утвердилась связь». Воздух Франции, которым Мандельштаму хочется подышать, это, «воздух денежный, обиженный», т.-е. воздух наживы и эгоизма. Даже такой европейский воздух Мандельштам принимает (а Блок стихотворение «Грешить бесстыдно, беспробудно» заканчивал словами: «Но и такой, моя Россия, / Ты всех краев дороже мне»).

Всего яснее это преклонение перед «капиталистическим Западом» выражено в стихотворении «Я пью за военные астры».

Я пью за военные астры, за все, чем корили меня,  
За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня,  
За музыку сосен саvoyских, Полей Елисейских бензин,  
За розы в кабине рольс-ройса, за масло парижских картин.  
Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин,

За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин,  
Я пью, но еще не придумал, из двух выбираю одно:  
Душистое асти-спуманте иль папского замка вино.<sup>4</sup>

Здесь уже самое начало поражает. Что это за военные астры, в честь которых провозглашает поэт заздравный тост? Военные астры это, очевидно, эполеты, т.-е. символ, так называемой, «военщины», символ «капиталистический», западный. Ведь у советских маршалов, при всей ошеломляющей нарядности их мундиров, эполет нет.

Далее Мандельштам пьет за барскую шубу, тоже символ «капитализма», пусть и штатского. В честь барства провозглашен и тост за астму. Болезнь эта вызывает в воображении образ Пруста, воспевшего жизнь французской аристократии.

«Желчь петербургского дня» как-будто выпадает из европейской атмосферы. Но вспомним европеизм Петербурга по сравнению почти со всей остальной Россией.

«За музыку сосен савойских». Это приводит на память облик Ламартина — и стихи о нем Тютчева: «Как он любил родные ели / своей Савойи дорогой». Ламартин — это как бы символ буржуазного романтизма, т.-е. направления, резко осужденного в Советском Союзе.

«Полей Елисейских бензин», «розы в кабине рольс-ройса». Нет необходимости доказывать, что здесь перед нами «квинт-эссенция буржуазного мира».

«За масло парижских картин». Скорее всего, Мандельштам имеет в виду парижскую школу, осужденную советской официальной критикой — в частности, характерные для нее полотна, на которых так часты и так колоритны образы буржуазной жизни — полотна Вюйяра, Ренуара, Эдуарда Монэ, Матисса (ср. стих. Мандельштама «Импрессионизм»). Очень вероятно, что заздравный кубок Мандельштам подымает и в честь позднейших модернистов.

«Я пью за бискайские волны». В соответствии с сказанным выше взору представляется роскошный пароход, великолепно разрезающий синие волны, озаренные солнцем.

<sup>4</sup> Советский критик А. Селивановский («Литературная учеба», 1934) писал, что в этих стихах «социальная конкретность обволакивается пеленой все тех же старинных книжных условностей». Но пелена, ведь, совсем прозрачна. *И. Ч.*

«За сливок альпийских кувшин». Такие кувшины часто бывали на полотнах жанристов конца 19-го века, в роде тех, например, какие воспроизводились в журнале «Нива», наиболее мешанском из русских дореволюционных журналов, отголоске немецкого «Гартенлаубе». Сливки альпийских кувшин — это, конечно, символ мешанского благополучия.

Еще более странна следующая строчка: «За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин». Это звучит неприкрытым восхвалением, во-первых, чуть ли не «расовой дискриминации», а во-вторых, и главным образом — колониализма — и восхвалением гораздо более решительным, чем это бывало даже у Киплинга. И оно совсем иное, чем то, которое находим в некоторых африканских стихах Гумилева. Гумилев воспевал не столько колониализм, сколько мужество завоевателей, Манделштам же восхищается именно и только колониализмом, при чем — колониализмом страны чужой и конкурирующей с его отечеством. И тут его всего уместней сравнить с В. С. Печерным, автором поэмы «Торжество смерти», где Россия гибнет — и Печерин радостно восклицает: «Альбион! Спокойно шли / прямо в Индию корабли: / Нет враждебные земли!»

В последних строках стихотворения оказывается, что, провозглашая этот тост в честь Европы, Манделштам и вино-то пьет не русское: асти-спуманте или папского замка вино, Châteauneuf-du-Pape. Над всем этим столь исключительно западническим стихотворением нависает тень папского замка, символизирующего твердыню Запада, — Запада столь отличного от России, столь не похожего на Россию.

На фоне всех приведенных стихов, малоубедительно звучат такие, как, например, «Стансы», где Манделштам говорит «И не ограблен я, и не надломлен» и т. д. Эти стансы, как и подобные им строки, написаны явно в целях самозащиты, в надежде смягчить сердца тех, от кого зависела судьба поэта.

Можно поставить вопрос и относительно одной строки в стихотворении, написанном Манделштамом в январе 1934-го года и посвященном Андрею Белому. Вот эта строка: «Часто пишется — казнь, а читается правильно — песнь». Не надеялся ли, хотя бы смутно, Манделштам, что хоть некоторые читатели догадаются применить эти строки к жизни и творчеству его самого и — переставят слова «песнь и казнь»: часто пишется песнь, а читается правильно — казнь. Еще до ссылки в

концлагерь та жизнь, о которой Мандельштам сложил такие страшные стихи и от которой ему так страстно хотелось в Европу — эта жизнь была для него казнью. Другое дело, что порой поэзия, пусть страшная, но и сладкозвучная, все-таки над казнью торжествовала, что над горем и отчаянием Мандельштама торжествовал его «сладкозвучный труд».

*Игорь Чиннов*

# ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ СМУТЫ\*

## ВОЙНА ВСЕХ ПРОТИВ ВСЕХ

«Война всех против всех» или всеобщий раскол, — так можно охарактеризовать положение дел в Русской Церкви к концу 1922 года: взаимной ненавистью были охвачены друг к другу «тихоновцы» и «обновленцы», — в неменьшей степени ненавидели друг друга и представители обновленческого движения, расколотого на ряд группировок.

Буря в сентябре 1922 года пронеслась над церковной Москвой, где создалось (после разрыва Антонина с ВЦУ) исключительно острое положение; буря пронеслась и над всей Русской Церковью.

Одним из знаменательных событий, характеризующих сентябрь 1922 года, является то, что отношения между обновленческим движением и гражданской властью вступили в новую фазу. До этого в отношениях между Живой Церковью и гражданской властью существовала нарочитая неясность. Пресса сочувственно отзывалась о новом движении, изредка упрекая его в «умеренности», но в то же время подчеркивая его прогрессивный характер. Что касается администрации, то она, как мы видели, в ряде случаев, оказывала обновленцам прямую поддержку.

Положение переменилось осенью. Первой ласточкой, предвещавшей перемену, явился доклад И. И. Скворцова-Степанова (видного партийца, члена ЦК, и старого большевика) на совещании пропагандистов, который затем был отпечатан отдельной брошюрой, под заглавием «О Живой Церкви». Здесь были поставлены все точки над и. В брошюре черным по белому говорилось об отрицательном отношении партии ко всем без исключения религиозным группировкам.

---

\* См. кн. «Н. Ж.» 85, 86, 87.

Скворцов-Степанов отмечал, что партийная пресса совершила ошибку, недостаточно подчеркивая это основное положение. Сейчас, — говорил он, — мы должны занять позицию, аналогичную той, которую мы занимали во времена Циммервальда, когда большевики выступали как против правых социал-демократов, так и против центристов, разоблачая и тех и других.

«Мы» ничего не имеем против начавшейся склоки. Мы используем ее для полного и решительного отрыва масс от всякого духовенства, от всякой церкви, от всякой религии», — весьма откровенно говорилось в конце брошюры (см. Скворцов-Степанов «О Живой церкви» М. 1922 г., стр. 39).

Вслед за тем началась антирелигиозная кампания, которая по своему размаху превзошла все антирелигиозные кампании, которые были как до, так и после 1922 года. Эту кампанию начал видный коммунист того времени своей речью на 5 съезде РКСМ.

«Религия есть горчичник, отяжка, — восклицал этот знаменитый тогда человек, пользовавшийся славой второго в мире (после Жореса), оратора, дергая себя характерным жестом за мефистофельскую бородку и поправляя поминутно падавшее пенсне. — Религия — отравы именно в революционную эпоху или в эпоху чрезмерных трудностей, которые наступают после завоевания власти. Это понимал такой контр-революционер по политическим симпатиям, но такой глубокий психолог как Достоевский. Он говорил: «Атеизм немислим без социализма, и социализм без атеизма». Вот эту глубину массовой психологии он понял; он увидел, что рай небесный и рай земной отрицают друг друга. Почему? Потому, что если обещан человеку потусторонний мир, царство без конца, то стоит ли проливать кровь свою и своих ближних и детей своих (?) на устройство царства на этой земле. Так стоит вопрос. Мы должны углублять революционное мирозерцание и мы должны подходить к молодежи даже с религиозными предрассудками, подходить с величайшим педагогическим вниманием более просвещенных к менее просвещенным. Мы должны идти к ним с пропагандой атеизма, ибо только эта пропаганда определяет место человека во вселенной и очерчивает ему круг сознательной деятельности здесь, на земле» («Известия» 13 окт. 1922 г. № 231, стр. 3).

Красноречивому оратору можно было бы многое возра-

зять, например, то, что христианская религия обязывает каждого человека помогать своим ближним (следовательно бороться за «улучшение условий жизни» — за устройство царства Божия здесь, на земле»). Можно было бы возразить очень многое. Но никто не возражал. Слова оратора были покрыты громом аплодисментов. А вслед затем началась кампания.

О характере этой кампании свидетельствует хотя бы такое краткое газетное сообщение: «Суд над Богом». 10 января 1923 г. в гарнизонном клубе Москвы состоялся гарнизонный политсуд над Богом. На суде присутствовали т.т. Троцкий и Луначарский. Пяти тысячное собрание красноармейцев бурными аплодисментами приветствовало своих любимых вождей («Безбожник», 11 марта 1923 г. № 5-6, стр. 5).

В декабре вышел первый номер газеты «Безбожник». Эта газета пришла на смену журналу «Наука и Религия» (весьма расплывчатому и неясному, в котором наряду с атеистами сотрудничали и деятели раскола). Из предшественников «Безбожника» можно назвать журнал «Атеист», вышедший в марте 1922 года под редакцией небезызвестного безбожника Шпицберга. Но второй номер журнала не вышел. Что же касается газеты «Безбожник», то она представляла собой весьма низкопробный образец низкопробной литературы и всегда служила пристанищем расстриг и всяких литературных неудачников.

В ходе антирелигиозной кампании задевали и обновленцев, о чем свидетельствует ряд резолюций рабочих собраний, печатавшихся в то время в газетах. Приводим, например, следующую резолюцию собрания рабочих Острожских мастерских: — «Заслушав доклад о современных течениях в православной церкви, мы, рабочие Острожских мастерских, признали, что русская церковь старается приноровиться к новым условиям жизни, чтобы сохранить гибнущую церковь и организовать эксплуатацию трудящихся в более тонкой форме. Мы, рабочие, знаем, что религия держится лишь благодаря недостаточному развитию народных масс. Мы выносим пожелание, чтобы РКП(б) и культурно-просветительные органы развили максимум энергии в распространении естественнонаучных и политических знаний, по мере которых (?) будут изжиты окончательно все религиозные предрассудки» («Воронежская Коммуна», № 268, 28 ноября 1922, стр. 3).

Следует, однако, признать, что иногда религиозные люди

также могли высказать в процессе антирелигиозной кампании свою точку зрения. Формой сопоставления противоположных точек зрения являлись диспуты на антирелигиозные темы, которые в эти годы приобрели большую популярность.

Эта кампания диспутов началась грандиозным диспутом в московском театре ГИТИС 27 сентября 1922 г. на тему «С Богом или без Бога». Основным докладчиком был А. И. Введенский. В качестве его оппонентов должны были выступать В. Э. Мейерхольд, проф. Рейснер и известный лектор по вопросам марксистской философии Сарабьянов.

А. И. Введенский говорил страстно и эмоционально. Пущена была в ход философия Анри Бергсона, поклонником которой оставался А. И. Введенский до конца своих дней. Понятие творческого импульса, лежащего в основе природы и жизни, раскрывалось оратором ярко на примерах из всех областей знания (неорганической химии, физики, зоологии) — видно было, что докладчик знаком с достижениями науки по первоисточникам. Большую роль в ораторском успехе Введенского играли также остроумие и находчивость. «Это так просто побеждать на диспутах, — говорил он как-то, слегка по обыкновению, рисуясь, — надо только узнать, что скажет твой оппонент за пять минут до того, как он это скажет».

Оппонентам Введенского не повезло: проф. Рейснер накануне заболел и потому не явился на диспут. Что касается В. Э. Мейерхольда, то он представил конспект своего выступления, но конспект изобиловал таким количеством «идеалистических рецидивов»; новоявленный защитник материализма шел на невероятные уступки идеалистам. Характерно, что исходной точкой его рассуждений был Метерлинк. Друг знаменитого режиссера посоветовал ему, во избежание скандала, вообще не выступать на диспуте. Поэтому вся тяжесть защиты материалистической философии легла на плечи тогда еще молодого диаматчика Сарабьянова. Надо отдать ему справедливость: основные положения марксистской философии излагались им талантливо, и он стяжал не меньшие аплодисменты, чем А. И. Введенский.

На этом диспуте выступали и другие ораторы: московские священники Щербаков, Ив. Борисов и толстовец Ив. Трегубов.

«Борисов в весьма воинственном и вызывающем тоне, — пишет очевидец диспута, — сетовал на те «гонения», кото-

рым якобы подвергается православная церковь и заявил, что он и его единомышленники уйдут в катакомбы, но не сдадутся... Щербаков весьма задорно и лишь в слегка иносказательной форме обзывал безбожников... «свиньями под дубом», но от такого «полемического» приема отгородился даже и протонерей Введенский в своем заключительном слове, констатируя, что представители противоположной стороны (т.-е. коммунисты) были гораздо сдержаннее в выражениях». («Калужская Коммуна», № 268, 29 сентября 1922, стр. 2).

Колоритна была фигура Ив. Трегубова — старого толстовца, который еще в марте 1917 года заявил о своем сочувствии большевикам, назвав себя «коммунистом духоборческо-толстовского толка». В это время он сотрудничал в «Известиях» и писал корреспонденции о «Живой Церкви», выдержанные в исключительно благожелательном тоне.

Его выступления производили благоприятное впечатление своим беззлобно-мягким тоном: чувствовался старый, милый, несколько наивный чудаковитый человек, обладавший большим запасом подлинной доброты. Как бы то ни было, московский диспут на тему «С Богом или без Бога» сыграл большую роль: он послужил началом гастролей Введенского в провинции. Вслед за ним двинулся в поход А. И. Боярский (разве мог он отстать от своего друга?), — и быстро вся русская провинция покрылась афишами, извещавшими о диспутах.

Диспут — это была «высокая форма» антирелигиозной пропаганды; в ней принимали участие «знаменитости», причем дело обычно оборачивалось (особенно, когда выступал Введенский) отнюдь не в пользу антирелигиозной пропаганды.

Наряду с этим, существовала и другая, низшая форма антирелигиозной пропаганды, бывшая на «народность» (на самом же деле никогда не поднимавшаяся выше лубка): официальная знаменитость, Демьян Бедный истекал сатирическими антирелигиозными стихами, грубость которых могла равняться только с их бесталанностью. По клубам распевались наскоро сложенные им частушки, например:

«Долой, долой монахов,  
Долой, долой попов;  
На небо заберемся —  
Разгоним всех богов» —

с совершенно бессмысленным рефреном:

«Сергей поп, Сергей поп,  
Сергей — валяный сапог».

Вся эта кампания завершалась комсомольским рождеством. В дни рождественских праздников (25 декабря 1922 г.) вышли на улицу комсомольские демонстрации с пеннем соответствующих частушек; комсомольцы несли чучела «монахов и попов» вместе с красными знаменами. «Трудно сказать, чего больше во всем этом — невежества или безвкусицы», говорил про «комсомольское рождество» даже А. В. Луначарский.

И как всегда бывает, комическое здесь смешивалось с трагическим. Жизнь порой рождала острые коллизии: столкновение идей вызывало, например, острые семейные столкновения. «Ты мне не отец, а враг» — под таким заголовком газета «Советская Сибирь» поместила в номере от 2 августа 1922 г. статью, в которой рассказывалось о потрясающей семейной драме.

«В 1920 году вступил в нашу бухтарминскую организацию некто Алексеев, — говорилось в статье. — Хорошо грамотный, скоро поддельвающийся к начальству — он быстро полез в гору и скоро сделался членом УКОМ. Но где-то промахнулся и во время чистки был выброшен. В течение года об Алексееве как-то не было слухов. Но вот на горизонте Бухтармы он опять появился в роли отца диакона местной церкви. Новый диакон во время службы вышел к народу с проповедью о прощении заблудшему его заблуждений... вдруг на амвон выходит сын Алексеева — 15-летний юноша, состоящий в рядах РКСМ, который громогласно заявил: «Отец! Ты мне больше не отец, а враг! Ты стал проводником тьмы и мне с тобой не дорога!»

Картина антирелигиозной кампании 1922 года была бы неполной, если бы мы не упомянули о расстригах. Именно в это время «входят в моду» публичные отречения с опубликованием в газетах. Если сравнивать тех ренегатов с нынешними, то можно констатировать некоторый «прогресс». Расстриги последних лет делают обычно вид, что сначала они были «глубоко верующими»: рассказывают о своих колебаниях, сомнениях, исканиях, через которые они прошли прежде, чем стали атеистами. Расстрига тех лет был грубее, проще; он так прямо

и начинал с того, что называл себя обманщиком и говорил, что никогда в Бога не верил. Вот, например, перед нами маленькая заметка в провинциальной газете под названием «Советский поп». Сельский священник, некий Иван Кряковцев, пишет: «Хотя поповство мое было ничем иным как дипломатическим обманом для укрепления моего авторитета на пользу народа, но все-таки я перенес тяжелую нравственную пытку, сознавая, что мой «дипломатический обман» все-таки есть обман». («Калужская Коммуна», № 128, 11 июня 1922, стр. 2).

Сравните этого калужского «дипломата» с новейшими его собратьями (типа Дулумана и Осипова), — все течет, все меняется, все совершенствуется.

Таким образом, во второй половине 1922 года в Русской Церкви создалась даже еще более накаленная атмосфера, чем в первую половину этого года. В этой раскаленной атмосфере и развернулся всероссийский раскол. В Петрограде и в провинции он был не менее болезнен, чем в Москве. И к петроградским событиям мы сейчас, в первую очередь, и обратимся.

В июне 1922 года в петроградской церкви царил разброд. Два популярных петроградских викария — епископ Ладожский Венедикт (Плотников) и епископ Кронштадтский Иннокентий (Благовещенский) содержались в «Крестах». На свободе оставалось три епархиальных епископа: Ямбургский Алексей (Симанский), Лужский Артемий (Ильинский) и Петергофский Николай (Ярушевич).

Ясно и четко определил свою позицию только один из них — епископ Артемий, который почти сразу после ареста митрополита безоговорочно признал ВЦУ. Что же касается двух остальных епископов, то их позиция не отличалась ясностью.

Особенно затруднительным было положение епископа Алексия: обладая формально всей полнотой архипастырской власти, он практически не мог ее осуществить без санкции ВЦУ: если бы он заявил о своем непризнании ВЦУ, он немедленно бы разделил участь двух своих собратий. Между тем, признав ВЦУ, епископ немедленно восстановил бы против себя всю епархию, — и следовательно, власть его все равно оказалась бы фиктивной. В этих условиях епископ Алексей избрал единственно возможную для него тактику «оттягивания»; он всячески медлил с окончательным решением, ссылаясь, то

на «неясность положения», то на необходимость лично ознакомиться с тем, что произошло в Москве, то почти признавал ВЦУ, то почти брал это признание обратно. Примерно ту же позицию занимал и его младший собрат епископ Петергофский Николай. Молодой, обаятельный архиерей, сделавший блестящую карьеру, пользовался популярностью в народе за свою мягко-лирическую манеру служить, за свои прекрасные, строго традиционные по содержанию, проповеди, за свою доступность в обращении. Рукоположенный всего лишь три месяца назад в епископа, преосвященный Николай занимал в то время должность наместника Лавры. Основываясь на праве ставропигии, которым обладают Лавры, епископ Николай также вел непосредственные переговоры с ВЦУ; следует отметить, что тактика отсрочек и оттяжек применялась им необыкновенно умело и ловко, чему в значительной мере способствовала природная уклончивость его характера.

К счастью для обоих епископов, Петроградский Комитет Живой Церкви сам занимал весьма умеренную позицию, побаиваясь слишком решительных действий: прот. о. Михаил Гремячевский (из Матфеевской церкви), который был официальным уполномоченным Живой Церкви, вел переговоры с исключительной медленностью; умиротворительную позицию занимал А. И. Боярский, отрицательно относившийся к Красницкому и его методам, совершенно отошел в тень раненый А. И. Введенский. Переговоры могли длиться месяцы (именно на это и рассчитывал епископ Алексей, желавший выиграть время).

Но положение изменилось в мгновение ока, когда 24/VI — скорым поездом из Москвы прибыл В. Д. Красницкий. Он неожиданно вырос из-под земли, как «призрак беспощадный», перед оробевшим епископом и вручил ему следующий документ:

«Преосвященному Алексию, Управляющему Петроградской Епархией. Прибыв в Петроград, согласно мандату ВЦУ от июня 10/23 дня с. г. № 310 — для ознакомления с положением Петроградского Епархиального Управления — ввиду того, что означенное Управление до сих пор еще не вступило в исполнение своих обязанностей под председательством Вашего Преосвященства, — предлагаю Вам именем Высшего Церковного Управления Православно-Российской Церкви, — немедленно вступить в обязанности председателя Епархиального

Управления, без чего не может быть осуществлено Вами Управление Петроградской Епархии.

Петроградское Епархиальное Управление должно действовать строго по указаниям Высшего Церковного Управления.

Заместитель председателя ВЦУ, протоиерей Красницкий, 24 июня 1922 г.» («Живая Церковь», № 4-5 стр. 9).

Дав прочесть этот «ультиматум» епископу Алексию, Красницкий (по всем правилам бюрократизма) заставил его сделать на копии следующую подпись: «Настоящая копия с подлинным верна. Епископ Алексей. Печать». Вслед за тем Красницкий нагло потребовал немедленного ответа, не давая даже одного дня на размышление; выбора не было: епископ Алексей должен был стать петроградским Леонидом (марионеточным главой петроградского ВЦУ), или уйти. К его чести надо сказать, что он не колебался. Тут же епископ Алексей составил следующее заявление: «В Высшее Церковное Управление. Ввиду настоящих условий признаю для себя невозможным дальнейшее управление Петроградской Епархией, каковыя обязанности с сего числа с себя слагаю.

Алексий, епископ Ямбургский.

24/11 июня 1922 г. Место печати» (см. там же).

Это только и надо было Красницкому — поле действий было открыто. С «отречением» епископа в кармане он сразу бросился к «своим». «Свои», однако, приняли его очень холодно и не пришли в восторг от его «достижений». В это время руководящее положение среди питерских обновленцев занимал А. И. Боярский, планировавший, как и Антонин, «вторую церковную революцию». А. И. Введенский, подпавший, по своей бесхарактерности, под его влияние, его поддерживал, — оба они отказались вступить в Епархиальный Совет, — остальные протоиереи, с которыми пытался вступить в переговоры Красницкий, вообще отказались с ним говорить. Здесь дело обстояло труднее, чем в провинции: публика была здесь дошлая и запугивания не оказывали особого действия, да и в Смольном уж очень иронически посматривали на московского гостя.

С большим трудом, после четырехдневных переговоров, Красницкому удалось «наскрести» трех священников, которые согласились составить питерское «церковное правительство». Это были протоиереи М. С. Попов, М. К. Воскресенский, а так-

же священник И. Н. Сперанцев. Решено было, что Красницкий и Гремячевский войдут в Епархиальный Совет по должности, как представители центра. О том, что произошло дальше, имеется рассказ в двух вариантах: один эпический (официальный акт) и другой — лирический (рассказ Красницкого). Начнем с первого.

«АКТ.

1922 года июня 28-го дня.

Епархиальное Петроградское Управление открыло свои действия молебном в митрополичьей Крестовой церкви и приступило к исполнению своих обязанностей в составе следующих лиц: заместителя председателя Высшего Церковного Управления прот. В. Д. Красницкого, уполномоченного Высшего Церковного Управления прот. М. И. Гремячевского и членов его прот. М. С. Попова, священника И. Н. Сперанцева, прот. В. К. Воскресенского».

А вот другой вариант — лирический или, точнее, лиро-эпический В. Красницкого: — «Петроградский переворот запечатлен тем, что революционные священники не постеснялись одни, без монаха-епископа, войти в митрополичью Крестовую церковь, совершить молебен перед началом своего служения своим братьям и своим духовным детям, потом одни, без того же монаха-ирхиерея, сесть за стол в митрополичьей гостинной и открыть действия своего революционного Епархиального Управления...» (Оба варианта читатель найдет в статье В. Д. Красницкого «В Петрограде», напечатанной в журнале «Живая Церковь», № 4-5, стр. 3-10).

Первым делом «революционных священников» было избрание епископа. Это на первый взгляд вызывает недоумение, т. к. в то время у петроградских обновленцев был епископ, права которого не вызывали сомнения. Поскольку епископ Алексей отказался от управления митрополией, все его права автоматически переходили к следующему по хиротонии епископу Лужскому Артемию, который уже признал ВЦУ.

Странно, что о нем Красницкий как бы забыл. Впрочем, объяснить этот внезапный «провал памяти» нетрудно; стоит только вспомнить его установку на белых епископов и органическое отращивание к монахам-архиереям. Впрочем, долго искать кандидата не пришлось: он был уже найден Красницким

на второй день после приезда его в Петроград. Членам Епархиального Управления осталось лишь прочесть и принять к сведению следующий документ, представленный Краснищим:

«В Высшее Церковное Управление.

Ввиду предложения принять управление Петроградской епархией в сане епископа — имею честь заявить, что я согласен принять сие предложение, если будет на то Воля Великого Архидиерея Господа нашего Иисуса Христа и назначение Высшего Управления Православной Российской Церкви.

Настоятель Введенской церкви г. Петрограда,  
протоиерей Николай Соболев.

Подпись о. протоиерея Николая Соболева удостоверяю.

Зам. председателя Высшего Церковного Управления  
прот. В. Красницкий, уполн. ВЦУ Мих. Гремячевский.

25 июня 1922 года» (там же).

В. Д. Красницкий и на этот раз поставил на архиерейскую кафедру соседа: если епископом Подольским был настоятель Матфеевской церкви, то архиепископом Петроградским должен был стать настоятель Введенской церкви. Картинный, величавый, высокого роста красавец-старик, действительно, был как будто создан для архиерейской кафедры. Будучи вдов, он не имел канонических препятствий к рукоположению — в качестве креатуры Красницкого он должен был быть таким же слепым орудием в его руках, как и Иоанн Альбинский.

На этот раз Красницкий, однако, просчитался: Николай Васильевич Соболев был человеком твердых моральных правил и не лишенным характера. Шестидесятивосьмилетний старец (он родился в 1854 г.), о. Николай принял священный сан в 1880 г. — и с тех пор прославился в Петербурге как администратор и педагог. Под его руководством была выстроена Введенская церковь (каменная вместо деревянной, на Петроградской стороне), он пользовался огромной популярностью как законоучитель Введенской гимназии.

Он принял архиерейский сан, искренно веря, что это будет способствовать умиротворению Петроградской Церкви — и ушел на покой, когда увидел, что его именем творятся темные дела.

Он был рукоположен в Москве 26 июня 1922 года, о чем любезно известил В. Д. Красницкий членов Петроградского Епархиального Совета; тут же был составлен указ о помино-

вении в храмах нового архиепископа Петроградского и Гдовского; затем обсуждался вопрос о том, как новому органу войти в контакт с питерским духовенством. Соповещения городского духовенства на этот раз решили не созывать (видимо, памятуя печальный опыт А. И. Введенского), а, вместо этого, созвали совещание благочинных, состоящее из 19 человек, которые после соответствующей обработки их В. Д. Красницким приняли 14 голосами при 5 воздержавшихся следующую резолюцию:

«1. Собрание благочинных гор. Петрограда, заслушав доклад Зам. Председателя ВЦУ прот. В. Д. Красницкого относительно перемен в Церковном Управлении и организации группы «Живая Церковь», признает лозунги «Живой Церкви» — белый епископат, пресвитерское под водительством епископа управление, единая Церковная и Епархиальная касса и союз белого приходского духовенства — приемлемыми для своего пастырского сознания без обязательства для каждого отдельного лица входить в состав группы.

2. Российскую социальную революцию признает справедливым судом Божиим за социальные неправды человечества, а равно и одобряет мировое объединение трудящихся для защиты прав трудящегося эксплуатируемого человека.

3. Высшее Церковное Управление признает центральным органом управления Российской Церкви до установления Поместным Собором постоянной формы церковного управления с тем, чтобы в наличный его состав были привлекаемы представители провинциальных епархий.

4. Предлагает В. Ц. Управлению воздерживаться от коренных церковных реформ и лишь подготавливать их к предстоящему Собору.

5. Настоящую резолюцию предложить на очередное пастырское собрание.

Принята 14 голосами при 5 воздержавшихся».

(«Живая Церковь» № 5-6, стр. 10).

Если внимательно читать эту резолюцию, то можно отметить, что (в отличие от провинции) Красницкий пошел на некоторые уступки (см. 4 пункт и последние слова первого).

Приведя, таким образом, всё в надлежащий порядок, премьер-министр Живой Церкви, даже не простясь с А. И. Введен-

ским и А. И. Боярским, которых он теперь третирует свысока, отбыл в Москву.

Пусть он сам расскажет о своих подвигах; как все люди в таких случаях, он эпичен.

«Ввиду серьезного положения в Петроград был командирован заместитель Председателя ВЦУ протоиерей Красницкий, — повествует с величавой важностью Красницкий, — лично принявший из рук патриарха Тихона его отречение. Печатаемые ниже документы показывают полный успех этой командировки и открывают ту силу, которая победила контр-революционные замыслы в Петроградской Церкви... Революционная стихия победила в Петрограде и на церковном фронте» («Живая Церковь» № 5-6, статья В. Д. Красницкого «В Петрограде»).

Так или иначе путь в Петроград для первого обновленческого архиепископа был расчищен. 16 мая 1922 года старец-архиерей прибыл в Петроград и совершил свое первое богослужение в Казанском Соборе. Необычная для обновленческого архиерея личность старца возымела свое действие: никаких враждебных обструкций, типичных для того времени и принимавших иной раз необузданные формы, по отношению к нему не было: единственной формой протеста был массовый отказ подходить к нему под благословение.

17 июля новый архиерей посетил Александро-Невскую Лавру, где был встречен помощником Наместника Лавры с братией.

Отношения между двумя тезками носили весьма деликатный характер. Александро-Невская Лавра, согласно праву ставропигии, не подчинена главе Петроградской Церкви, а подчинена непосредственно главе Русской Церкви (Синоду, Патриарху). Петербургские митрополиты правили Лаврой не в качестве епархиальных архиереев, а в качестве ее архимандритов. Николай Соболев архимандритом Лавры назначен не был; следовательно, никаких прав здесь не имел. Это дало возможность молодому епископу Николаю сохранить свою независимость, оставляя вопрос о признании ВЦУ и его ставленника Николая Соболева открытым. Однако 17 июля сам архиепископ прибыл в Лавру. Надо было найти какое-то решение. Епископ Николай вышел из положения со свойственным ему умом и тактом: выйдя навстречу старцу, он публично с ним облобы-

зался, а затем, в качестве гостеприимного хозяина, стал водить его по Лавре — и пригласил к завтраку. Епископ Николай несколько напоминал (по наружности), когда был молодым, портреты Александра I. Еще больше походил он на него внутренне: совершенно очаровательная любезность, ласковость, приветливость, — и за всем этим непроницаемая скрытность и тонкий дипломатический расчет,\* На этот раз епископ остался верен себе: он осыпал Николая Соболева ласками, комплиментами, поцелуями, так что тот уехал совершенно очарованный и, возможно, в первый момент не заметил одной лишь детали: наместник не пригласил его служить в Лавре, — а без этого вся его ласковость не имела ровно никакого значения и ни к чему его не обязывала (принимают же архиереи англиканских епископов — однако никакого признания это не означает).

Затем, на протяжении месяца, епископ Николай вел ту же ловкую и умную дипломатическую игру и, наконец, когда эта тактика недомолвок и проволочек стала совершенно невозможной, — потребовалось заявить ясно и недвусмысленно о признании ВЦУ и войти с Николаем Соболевым в евхаристическое общение — епископ «разыграл финал». Если можно говорить о дипломатическом искусстве, то епископ может считаться его мастером. Он умудрился одновременно уйти и остаться; и все признать и не признать ничего. В этом легко убедиться, прочтя следующий документ:

«В Петроградское Епархиальное Управление, епископа Николая (Ярушевича):

Будучи вполне и безусловно лойяльным в отношении ВЦУ и Петроградского Епархиального Управления, прошу Петроградское Епархиальное Управление об оставлении меня в должности Настоятеля Лавры, чтобы я мог продолжать свою сильную работу на пользу Церкви в новых условиях ее существования. Ввиду же моей болезни и полного переутомле-

---

\* Во избежание недоразумений, считаем нужным дать следующее пояснение. Епископа (ныне Митрополита) Николая Ярушевича мы считаем безусловно человеком честным. В тот период он пользовался методами дипломатическими и уклончивыми, однако никогда (ни в тот, ни в какой-либо другой период своей деятельности) он не прибегал к методам морально нечистоплотным (доносам, клевете), которыми подчас пользовались другие.

ния покорнейше прошу о разрешении мне сейчас отпуска в пределах Петроградской епархии на месяц с тем, что я оставляю за собой общее руководство Лаврою во время отпуска.

Епископ Николай (Ярушевич), Александро Невская Лавра». (См. журнал «Соборный разум» 1923 г. № 1-2).

Как мы увидим ниже, эта тактика епископа Николая была лишь увертюрой к его выступлению через месяц на историческую арену в качестве вождя так называемой петроградской автокефалии.

Между тем жизнь в Петроградской Епархии налаживалась: в июле и в августе в Петрограде происходили организационная и идейная консолидация раскола. Уже к августу стало совершенно ясно: обновленческий Петроград противопоставил себя живоцерковной Москве.

Епархиальное Управление в том составе, в каком оно было сформировано Красницким, просуществовало лишь месяц: председатель — архиепископ Николай Петроградский и Гдовский (Соболев), уполномоченный ВЦУ — прот. М. И. Гремячевский; члены — протоиерей И. В. Сахаров, (с 10 сентября 1922 года — Николай, епископ Кронштадтский), прот. М. С. Попов (с 12 сент. 1922 г. — епископ Детскосельский), управляющий делами — прот. Е. И. Запольский. Сергиевский Собор, члены: А. И. Боярский и В. К. Воскресенский. С августа в заседаниях Петроградского Епархиального Управления участвуют А. И. Введенский и прибывший из Москвы — Е. Х. Белков.

Все члены Епархиального Управления резко отличались от Живой Церкви как по идеологии, так и по своей психологии; такие люди как М. С. Попов, Е. И. Запольский и другие были типичными либеральными интеллигентами дореволюционной формации. Они с брезгливостью и отвращением относились к таким методам как политический донос или личные выпады против кого бы то ни было с церковной кафедры.

В идеологическом отношении вождем петроградских обновленцев был А. И. Боярский, имя которого не так гремело в то время, как А. И. Введенского, но удельный вес которого среди питерского духовенства был значительно больше.

Для того, чтоб уяснить себе каковы были цели А. И. Боярского, приведем здесь документ, написанный им еще в апреле 1922 года — обращение в Петросовет. Несмотря на то, что под документом стоят две подписи — А. И. Введенского и А.

И. Боярского, — документ этот принадлежит целиком одному А. И. Боярскому.

В обращении провозглашается создание нового религиозного братства. Задачи этого братства следующие: «Объединившись на мысли о необходимости очистить христианство от тех новых наслоений, которые превратили эту единую религию братства и любви в несколько узко националистических враждебных друг другу религиозных мировоззрений, мы решили учредить религиозное братство. Ввиду того, что христианство мы мыслим именно как религию всеобщего братства, основанного на любви (христианский интернационализм), мы учреждаемое братство решили назвать «Вселенским христианским братством». При этом считаем нужным сказать, что так понимаемое нами христианство противоположно тому лицемерному религиозному формализму и внешнему благочестию, которые допускают эксплуатацию широких народных масс небольшой кучкой капиталистов и которые давно перестали быть религией Христа, друга всех бедных, угнетенных и униженных. Братство и поставит одной из своих главных задач обличение лицемерия буржуазного христианства и выявление христианства как религии действительного равенства и братства» (документ был напечатан в выдержках в «Красной газете» в апреле 1922 г. впоследствии перепечатывался неоднократно в провинциальной прессе — в частности, см. статью проф. Гредескула «Победа Христа и советской власти» в газете «Красный набат», Тюмень 13 мая 1922 г.)

Установка Боярского была на создание широкого международного религиозного движения, которое должно было поставить своей целью обновление христианства в международном масштабе. Конфессиональные различия, по мысли Боярского, должны быть стерты в мощном потоке человеческих сердец, жаждущих обновления христианства. Это движение будет широко народным, социальным движением — и в своих отдельных аспектах (борьбе против всякой эксплуатации) оно совпадет с коммунизмом; однако никогда и нигде оно не будет строить своих отношений с коммунизмом по принципу: «Чего изволите».

Именно поэтому Боярский категорически отказался принять участие в поездке деятелей петроградской группы в Москву в мае 1922 года, и категорически отказался дать свое имя

ВЦУ и с самого начала поставил себя во враждебные отношения с Красницким. Такая позиция Боярского обусловила его положение в расколе: будучи одной из крупных фигур, превосходя по своему административному таланту, силе воли, моральному мужеству всех деятелей раскола и уступая как оратор лишь одному А. И. Введенскому, Боярский сознательно отходит на второй план, не желая торговать идеями. Принципиальность Боярского была главной причиной его трагической гибели — из всех деятелей раскола только ему одному суждено было войти в историю в ореоле мученика.\* В этот период Боярский полностью овладел А. И. Введенским, который очень быстро подпадал под влияние — уверенно и энергично шел навстречу «новой революции». По его инициативе была установлена конфиденциальная связь с Антонином, которому Петроградский Комитет Живой Церкви обещал оказать полную поддержку, как только он выступит против Красницкого. Одновременно Боярский вел переговоры в Смольном, указывая на то, что пресмыкательская политика Красницкого лишь компрометирует движение в глазах народных масс — и поэтому Красницкий является очень слабой опорой для тех, кто хочет наладить отношения с верующими. По его настоянию (для того, чтоб в надвигающейся борьбе петроградская группа не осталась без епископов) были хиротонисаны два вдовых протоиерея: о. Николай Сахаров и о. Михаил Попов. С конца августа начинается работа по созданию журнала, который должен был быть органом Петроградской группы. Сам А. И. Боярский, будучи в это время настоятелем Спасо-Сенновской церкви, служил по несколько раз в неделю — его глубокие по содержанию и общедоступные по форме беседы привлекали большое количество слушателей. А. И. Боярский продолжал служить и в Колпине, в Соборе — здесь он был по-прежнему любим своими старыми друзьями — ижорскими рабочими.

Будучи деловым человеком, отдавая большую часть своего времени административным делам, Боярский никогда не превращался в узкого деягу: идейная работа была для него на первом плане — религиозная молодежь (недавние красно-

---

\* Арестованный в 1934 году в г. Иваново-Вознесенске А. И. Боярский умер в заключении. В 1956 году его жене было объявлено о посмертной реабилитации почившего.

армейцы, еще ходившие в обмотках, студенты питерских вузов и даже поэты-футуристы) шла к нему — и для всех он находил нужное слово: часами беседовал с одними, метко и остроумно срезал других, а иногда осторожно и деликатно вручал деньги. «Иди сейчас же и купи себе штаны, — говорил он одному молодому богоискателю, ныне покойному, вручая ему конверт с деньгами, — и потом возвращайся беседовать о Фейербахе — а иначе никого знать не хочу: ни тебя, ни твоего Фейербаха».

Этот сильный человек умел держать в руках Введенского — и тот под влиянием Боярского воздерживался от многих ложных шагов, на которые его толкала природная слабохарактерность, трусость и детское тщеславие. Только в конце сентября (после приезда в Москву) А. И. Введенский сделал несколько неправильных шагов; особенного осуждения заслуживает составление им «черных списков»; в ноябре А. И. Введенский подал в одну высокую инстанцию обширный список «контрреволюционного петербургского духовенства» (впоследствии этот список выборочно использовался при арестах духовенства); этот шаг Введенского вызвал резкий протест Боярского; в конце своей жизни сам Введенский считал этот свой поступок величайшим грехом.

\*

Сентябрь 1922 года ознаменовался в Петрограде крупным событием, которое сыграло большую роль в положении церкви. В середине сентября, как только в Петроград пришло известие о расколе ВЦУ, было опубликовано следующее заявление корифеев Петроградской «Живой Церкви»:

«Из сообщений советской печати («Известия ВЦИК от 2 и 5 сентября, «Наука и религия» от 21 и 28 августа) для нас стало очевидно, что группа «Живая Церковь» в последний период своей деятельности (съезд) стала на путь узкословных, кастовых интересов белого духовенства.

Попытка создания единой церковной кассы, похоронных бюро, торговля всякими церковными вещами и т. д., отстранение от учета и распределения хозяйства приходов коллектива верующих (вопреки декретам советской власти) — все это напоминает о некоем церковно-нэповском тресте. Далее — отстранение верующих мирян от всякого действительного участия в церковной жизни есть нарушение церковных и советских законов и, при практическом проведении в жизнь, лишь усилит

кабалу (экономическую и моральную) попа-кулака над трудящейся верующей массой.

«Живая Церковь» должна была бы обратить внимание и на другую кабалу: тот гнет религиозных суеверий и лжи, что насквозь пропитал старую церковь. Если к этому добавить некоторые церковные методы, которыми пытались, вопреки советской конституции, проводить идеи ответственные руководители «Живой Церкви», то станет понятен тот протест, который возник среди церковного общества, мы имеем в виду прогрессивные круги духовенства и мирян, давно работавших над освобождением церкви от мрака религиозных суеверий. Настоящим мы заявляем о своем выходе из квази-революционной группы «Живая Церковь» и об образовании комитета «Союза церковного возрождения»:

Николай, архиепископ Петроградский.

Петроградское Епархиальное Управление.

По поручению Комитета «Союза Церковного возрождения» (б. Петроградского комитета «Живая Церковь»). Президиум Комитета: — прот. А. Введенский, прот. Е. Белков, прот. М. Гремячевский, священ. И. Кулагин».

(«Соборный Разум» 1922 г. № 1, стр. 4).

Таким образом, в решающий момент Петроградская группа бросила свою гирию на чашу Антонина, — и чаша Красницкого стремительно полетела вверх, в безвоздушное пространство. «Горе-воеводой», растерявшим свою армию, назвал в это время Красницкого с кафедры А. И. Боярский.

Пример Петрограда оказался решающим: в 12 епархиях (Тамбовской, Пензенской и других) большинство обновленческого духовенства заявило о своем выходе из «Живой Церкви» и о принятии платформы «Союза Церковного возрождения» (это было тем легче, что никто толком не знал, в чем она заключается). В конце сентября капитулировал Красницкий, им было объявлено в особом письме на имя митрополита Антонина, что он готов на любые уступки с целью сохранения единства обновленческого движения и что «Живая Церковь» не претендует на «монополию власти и влияния». На другой день в Москву, из Петрограда прибыл А. И. Введенский. «Празднуем смерти умерщвление, всё теперь пойдет по-новому!» воскликнул он, явившись к Антонину.

«Все вы хороши», — ответил несговорчивый старик.

«Ну вот вы нами и будете руководить и учить нас уму-разуму, Владыко!» — сказал А. Введенский. — «Попробуем!» — усмехнулся Антонин и благословив Введенского и облобызавшись с ним, изложил ему вкратце свой план действий. На другой день Красницкому был предъявлен «ультиматум»: все обновленческие группировки должны быть равномерно представлены в ВЦУ — и «Живая Церковь» не должна иметь никаких привилегий. Красницким эти условия были приняты и тут же было объявлено о том, что ВЦУ возобновляет свою деятельность под руководством митрополита Антонина.

В число членов ВЦУ были включены Митрополиты Владимирский Сергей (в будущем Святейший Патриарх) и архиепископ Нижегородский Евдоким, возведенный в сан Митрополита. А. И. Введенский вернулся на пост заместителя председателя.

Тут же Антонин потребовал произвести денежную ревизию, — это требование было удовлетворено. Вслед затем было принято постановление:

«По заявлению митрополита Антонина о необходимости разъединения касс ВЦУ от организации «Живая Церковь», признано, что касса ВЦУ должна быть самостоятельной. Число членов плenumа ВЦУ определено в 17 человек.

Постановлено, что все бумаги, исходящие из ВЦУ, должны иметь три обязательных подписи: председателя, заместителя председателя и управляющего делами.

Постановлено, что председатель ВЦУ должен жить в стенах Троицкого подворья. Митрополиту Антонину предложили переехать на подворье в ближайшие дни» (См. журнал «Соборный Разум»).

«Стану я им ездить взад и вперед», — заявил Антонин и остался жить у себя, в Богоявленском монастыре. Вообще Антонин не проявил ни малейшего желания сделать свой контакт с Петроградской группой более тесным. «Все они совсем другого духа, чем мы, — говорил он у себя в Заиконоспасском своим сторонникам, — не надо нам растворяться в них, они всё загадят своей пошлостью, карьеризмом — пусть нас лучше будет мало, очень мало, но мы сохраним наш огонек, чем мы будем многочисленны и богаты, а духовно бедны». С особым недоверием относился Антонин к А. И. Введенскому, зачастую упрекая его публично в честолюбии, духовной неустойчивости, в грехах против нравственности. «Не такой он

уж плохой человек, даже хороший, но грешник — большой грешник; где уж такому реформировать церковь — самого себя прежде надо реформировать!» — с искренней болью говорил Антонин.

А. И. Введенский спорил, но как-то нерешительно и робко: он побаивался и уважал Антонина.

В начале октября А. И. Введенский попробовал начать переговоры с Антонином, — для участия в переговорах приехал из Петрограда А. И. Боярский. Главным предметом спора был белый епископат — Антонин отказался от него наотрез; отказался также признать второбраще духовенства. Переговоры кончились полной неудачей — Петроградский Комитет Союза Церковного Возрождения объявил о своей независимости от Антонина. К петроградцам присоединились некоторые московские и провинциальные батюшки; так возник «Союз общин древне-апостольской церкви», во главе которого встал А. И. Введенский. Таким образом, возникла третья крупная обновленческая организация «Содац».

В соответствии с этим в октябре ВЦУ было окончательно сформировано в следующем составе: Митрополит Антонин (председатель). Заместители — протоиереи А. И. Введенский и В. Д. Красницкий. Митрополиты Сергей, Евдоким и Иоанн, архиепископ Краснодарский. Члены: протоиереи Боголюбский и Федоровский (Союз Возрождения); прот. Вдовин и свящ. Эндека (Содац); епископ Богородский Николай Федотов, прот. Пименский, Красотин и Покровский (от «Живой Церкви»).

29 октября состоялся первый пленум ВЦУ. В порядке дня были поставлены следующие вопросы: 1. Утверждение положения о ВЦУ, о епархиальных управлениях и инструкция уполномоченным ВЦУ. 2. О передаче всех ценностей, оставшихся в храмах, на ликвидацию последствий голода. 3. Обращение ВЦУ к верующим. 4. Об отмене платы за совершение таинств духовенством. 5. Вопрос об упразднении наград».

При обсуждении всех этих вопросов выявились острые разногласия. Антонин требовал самых радикальных решений: полного отмежевания от административных методов, бесплатного духовенства, живущего трудом рук своих и полного упразднения каких-либо наград и рангов; должны быть лишь три древних церковных степени: епископ, пресвитер и диакон. Красницкий в ответ на эти предложения мрачно молчал, не

считая нужным даже возражать на этот «бред сумасшедшего». А. И. Введенский уговаривал «не идти так далеко, а то мы можем остаться совершенно одни». Ни по одному из этих вопросов не было принято никаких решений. Единственным практическим результатом пленума ВЦУ было новое распределение портфелей в президиуме ВЦУ. Было постановлено, что общим направлением дел ведают Председатель и Управляющий Делами (митрополит Антонин и А. И. Новиков — недавний сторонник Красницкого, переметнувшийся к Антонину); предсоборными делами — прот. А. И. Введенский; административными — прот. Красницкий, брачными и судебными делами — епископ Николай Федотов (сторонник Красницкого), финансовыми и хозяйственными делами — прот. Вдовин (сторонник Введенского — из Красного Села под Петроградом).

Постановлено было также пересмотреть состав епархиальных управлений и списки уполномоченных ВЦУ, т. к. все члены епархиальных управлений и уполномоченные фактически были единолично назначены В. Д. Красницким.

Для «чистки» сторонников Красницкого была образована особая комиссия в состав которой вошли Митрополит Сергей, протоиерей А. И. Введенский, Вдовин и прот. Красницкий. Таким образом, Красницкому удалось сохранить важные позиции в новом ВЦУ — в его руках, в частности, остался административный отдел — важнейший нерв, связывающий ВЦУ с периферией. Тем не менее осень 1922 года принесла полное поражение «Живой Церкви» — кратковременный период ее засиления в обновленческом движении и период диктатуры Красницкого ушли безвозвратно в прошлое.

В чем основная причина поражения «Живой Церкви»? Красницкому и его приспешникам удалось, ловко жонглируя политическими лозунгами, при помощи самого низкопробного политиканства, отстранить значительную часть духовенства — застрашать и принудить к молчанию другую. Однако не так-то легко оказалось справиться с народом.

Ненавидимая и презираемая народом, не имеющая опоры в духовенстве, разьедаемая внутренними противоречиями, (потому что безыдейность и беспринципность не рожают дружбу между людьми, а порождают лишь животный эгоизм) — группа «Живая Церковь» после нескольких месяцев своего господства пришла к полному банкротству. К сожалению, с уходом

«Живой Церкви» от власти не исчез ее дух: этот тлетворный, смердящий дух карьеризма, пресмыкательства и сикофанства остался в обновленческом движении навсегда — и он пережил обновленцев: этот мертвящий дух веет над официальной церковью и в наши дни.

\*

В Петрограде исход московского кризиса вызвал серьезное недовольство; особенно тяжелое впечатление производило соглашение с Красницким, благодаря которому он сохранил часть своего влияния и власти.

«Введенский всех нас продал», — громко заявлял о. Евгений Белков.

Раскол с Белковым, частичное восстановление «Живой Церкви», появление на авансцене раскола Н. Ф. Платонова — таковы основные события в жизни петроградского раскола в зиму 1922-23 года.

На первом месте, однако, надо поставить образование петроградской автокефалии, которое имеет огромное историческое значение. В одной из предыдущих глав, говоря о позиции Митрополита Сергия, мы отмечали, что он в это время осторожно нащупывал какой-то «третий путь» для русской церкви.

Гораздо более конкретные формы приобрело это «прощупывание пути» в Петрограде. Осенью 1922 года здесь возникает мощное объединение верующих, которые хотят соединить политическую лояльность по отношению к советской власти с верностью канонам.

В сентябре 1922 года, после падения Красницкого, когда стало ясно, что власть оказывает безоговорочную поддержку живоцерковникам — в Смольный (в Петроградский Совет) было подано заявление, подписанное епископами Алексием и Николаем.

В этом документе, очень умно и дипломатично составленном, основными были следующие три пункта: 1. Авторы заявления стоят на позициях безоговорочного признания советской власти; признают социальную справедливость Октябрьской революции и считают капиталистический строй греховным. 2. Авторы заявления отрекаются от Карловацкого собора и не имеют ничего общего с духовными вождями, ставшими на путь контр-революции. 3. Авторы заявления, будучи православными христианами, не могут вступить в общение с ВЦУ и

его ставленником «так называемым архиепископом Петроградским и Гдовским», т. к. ВЦУ является самочинным, антиканоническим учреждением — и признать его — это означает отступить от православия.

Ввиду отсутствия в Русской Церкви канонического центра, авторы заявления от своего имени и от имени своих сторонников объявляют об образовании автокефальной (независимой) Петроградской Церкви и просят зарегистрировать ее в Петроградском Совете (См. журнал «Соборный Разум» 1922 г. № 1-2, стр. 3-4).

День, когда два епископа посетили Смольный, следует признать историческим, — их акция предвосхищала последующий многолетний период в истории Русской Церкви. Первым по хиротонии был епископ Алексей (Симанский), однако вскоре он исчез с петроградского горизонта, переселившись на три года за Урал, — главным вождем автокефалии стал епископ Николай.

Отдадим должное этому человеку, деятельности которого мы не одинаково сочувствуем во всех ее аспектах, — автокефалия не могла найти себе более талантливого, более умелого и более умного руководителя. Находясь в невероятно трудном положении: не признанный Смольным, травимый обновленцами, при отсутствии Патриарха на свободе, испытывая недоверие со стороны крайне правых элементов в своей собственной среде, молодой епископ осторожно лавировал между Сциллой и Харибдой — и сумел в короткий срок организовать в Петрограде централизованную организацию.

Пользуясь огромной популярностью среди верующих, епископ сумел привлечь на свою сторону также большинство петроградского духовенства. Автокефалия не имела в своей среде людей, хотя бы в какой бы то ни было мере равных по таланту Антонину Грановскому, А. И. Введенскому и А. И. Боярскому — она не ставила перед собой широких целей обновления христианства, как это порой делали вожди раскола, — автокефалия, однако, была великолепным практическим выходом из положения, т. к. она давала верующим то, что им было более всего нужно — несомненную каноническую церковь вместо обновленческой путаницы, а порой и грязи.

И вот, к автокефалии потянулся простой русский человек — в короткий срок она стала широким народным движением.

О положении, которое сложилось в это время в Петрограде, дает довольно ясное представление письмо, написанное в это время:

«Картина церковного положения в данное время в Петрограде приблизительно представляется в следующем виде. Со времени образования группы «Живая Церковь» Петроградская паства разбилась на два лагеря. Большая по численности населения (около 65 церквей) часть осталась верна старым традициям, меньшая часть (и то не народа, а духовенства) по тем или иным соображениям примкнула к так называемым новаторам. Это расслоение происходило по тому же принципу, что и в Москве, и в других городах, т. е. движущим элементом явились следующие соображения: с одной стороны: группа «Живая Церков» — с идейной стороны в сущности стоящая на рационалистической протестантской точке зрения, а с другой — группа духовенства, усталого от преследований и ищущего компромисса с врагами церкви, и с третьей — группа честолюбивых и житейски настроенных лиц, ищущих «реформ» и компромиссов для личных выгод.

Несмотря на такой обширный диапазон запросов, группы эти все-таки оказались в меньшинстве среди духовенства, а среди народа не имели никакого авторитета, если не считать личного влияния некоторых руководителей.

Словом, роль живоцерковного духовенства оказалась вполне выявленной, народ чутко отозвался на нее и церкви живоцерковников опустели; морально и материально они терпели урон. Тогда то и была создана и здесь «Церковь обновления», т. е. «тех же шей, да пожиже влей». Однако и эта форма не нашла сочувствия в массах и г.г. обновленцы должны были приостановить всякие попытки обновления. Таким образом содалось положение, при котором сейчас у нас есть как бы два течения: старое автокефальное и новое, но ничем внешне не отличающееся от старого. Та же служба, те же приемы внешние, а о реформах нет и речи, ибо их не приемлет народ. Вся разница сводится лишь к признанию или непризнанию самочинной власти петроградской епархиальной и ВЦУ. Новая церковь усиленно муссирует и зовет к подчинению, автокефалисты же, не уверенные в православии самочинных церковных властей, игнорируют как ВЦУ, так и Епархиальное Петроградское Управление, «новые», видя, что их моральный

авторитет падает все ниже и ниже, что их епископы Николай Соболев, Михаил Попов (из протонереев) и даже Артемий Лужский — не пользуются не только популярностью, но не решаются служить в городе, ищут теперь путей привлечь к себе народ и остальное духовенство, которое признает каноническим своим руководителем преосвященного Николая (Ярушевича) епископа Петергофского. Это объединение под его духовным водительством до сих пор не оформлено официально, так как до сих пор еще не зарегистрирована автокефальная церковь, как самостоятельная организация, несмотря на хлопоты и здесь и в Москве. Тем не менее фактически большинство петроградцев признает только преосвященного Николая Петергофского и он всюду служит и рукополагает, а рукоположенных «новыми» пока еще не признают, и они служат у себя только в приходах, которые часто захвачены насильно. Ряд епископов изъяты. Преосвященный Венедикт в тюрьме по приговору; преосвященный Алексей (Симанский) и Иннокентий (Тихонов) Ладожский высланы: первый в Семипалатинск, второй в Архангельск.

Имя Святейшего Патриарха в большинстве случаев не возносится громогласно, хотя официального приказа об этом не было, поминают же так: «вся святейшие вселенские патриархи православные, митрополиты, архиепископы и епископы». Домовые церкви усиленно закрываются и окончательно разоряются; на все храмы налоги, но пока по милости Божией все уплачивается, и храмы полны, и вера, о которой говорит Псаломпевец «верую, что увижу благодать Господа на земле живых», живет и дает силы мужественно бороться за истину Христову. Так приблизительно было в месяце декабре-январе».

Между тем, епископ Николай делает ряд попыток узаконить и легализовать свою власть. В начале января 1923 года епископа Венедикта, содержавшегося в тюрьме, посетили два духовных лица, которые передали ему секретное поручение от епископа Николая. В результате появилось следующее письмо от епископа Кронштадтского Венедикта к епископу Николаю, писанное из тюрьмы.

«Ваше Преосвященство! Возлюбленный о Христе собрат! Сегодня, 29 декабря 1922 г. (11 января 1923 г.) посетил меня о. прот. В. И. Сокольский с от. архимандритом Досифеем и после предварительной беседы, они предложили мне в пись-

менной форме три следующие вопроса, на которые просили дать незамедлительный ответ, адресуя его на Ваше имя.

Как один из викариев Петроградской митрополии, хотя временно и лишенный возможности принимать активное участие в церковной жизни, считаю долгом совести ответить на эти вопросы следующее:

Вопрос первый гласит: — «Считаете ли Вы Преосвященного Николая Петергофского временно правящим Епископом со всеми правами Епархиального Архиерея? На этот вопрос отвечаю следующее: я считаю Преосвященного Николая Епископа Петергофского в настоящее время только законным викарием Петроградской епархии; признать же его и правящим Епархиальным Архиереем могу лишь в том случае, если:

1) последует предварительное избрание преосвященного Николая через законно собранных представителей от духовенства и мирян Петроградской Епархии и

2) если по избрании его будет выражено согласие на это законных архиереев области как соборное утверждение его в правах самостоятельного правящего архиерея. До тех пор он может быть признаваем лишь временно правящим епархией. Но и в этом случае должен быть сначала выяснен окончательно вопрос о положении старшего викария, Епископа Артемия Лужского, а именно:

а) об его отношении к ВЦУ и

б) об его отношении к «Живой Церкви», после какого объяснения он или войдет в братское общение с Преосвященным Николаем, Епископом Петергофским, или совершенно отделится от него и тогда Преосвященный Николай, епископ Петергофский, в порядке очереди, законно вступит во временное управление Петроградской Епархией.

Второй вопрос: «Признаете ли вы необходимым, в целях предотвращения оскудения Православного Архиерейства в Петрограде, поставление новых викариев?» Отвечаю: законно избранный и утвержденный Правящий Епархиальный Архиерей сам усмотрит необходимость и озаботится выбором себе соответствующих викариев в том количестве, какое сочтет нужным для пользы дела. Для целей же, указанных в вопросе, по условиям времени викарии были бы желательны.

Третий вопрос: «В случае утвердительных ответов — кого Вы могли бы наметить в кандидаты в викарии?» Отвечаю: вы-

бор, избрание и утверждение будут зависеть от братского согласия епископов области или, по крайней мере, ближайших из них к Петрограду, по представлению Правящего Епископа, каковое, по трудности настоящего времени, может быть выражено, если не на Соборе лично, то в письменной форме с мест их пребывания.

Венедикт, Епископ Кронштадтский»

(См. «Соборный Разум» 1922 г. № 1-2, стр. 7-8).

Таким образом, епископ Венедикт на просьбу о признании епископа Николая как главы Петроградской Церкви дал вполне отрицательный ответ, обусловив его признание целым рядом формальностей, которые было бы трудно выполнить даже и в более нормальное время. Еще более отрицательную позицию по отношению к своему младшему собрату занял епископ Иннокентий Ладожский, прямо мотивировавший свой отказ в признании, если верить сообщениям тогдашней печати, личным недоверием к епископу Николаю (Там же).

Чем объясняется столь отрицательная позиция петроградских архиереев к человеку, взявшему на себя ответственность за петроградскую церковь в такое тяжелое время?

Разгадку, надо, очевидно, искать в той двусмысленной позиции, которую занимал епископ Николай по отношению к «Живой Церкви» в бытность свою наместником Лавры; нельзя впрочем, сказать, чтоб позиция двух епископов, выраженная ими в их заявлении в Смольный, отличалась бы прямотой и ясностью. Несмотря на это, популярность епископа Николая все возрастала; вскоре она переходит пределы Петроградской епархии — в Новгородской епархии ревнители православных традиций обращают к нему свои взоры.

Новгородская епархия, формально «обращенная в обновленчество», возглавлялась живоцерковным епископом Александром Лебедевым. Законный митрополит Арсений находился далеко от своей паствы.

Запуганное новгородское духовенство формально признало епископа-живоцерковника из вдовых протоиереев, хотя почти каждое его служение ознаменовывалось каким-либо скандалом (сам епископ был довольно безобидным стариком, случайно попавшим в эту кашу).

Единственным очагом «тихоновщины» в Новгородской епархии была захолустная Макарьевская пустынь (в 20 кило-

метрах от Любани), — место подвигов преподобного Макария Гимлянина, жившего в XII веке — затерянная среди дремучих лесов и болот. Монахи этой пустыни отказались от каких-либо компромиссов с носителями зловерных новшеств. Настоятелем пустыни был архимандрит Кирилл (впоследствии епископ Макарий), который держался строго православной позиции. Однако среди братии нашлись два пламенных фанатика — иеромонахи Митрофан и Клеопа, чью огненную ревность не удовлетворил даже строго православный архимандрит Кирилл. Они заподозрили его в тайном пристрастии к расколу: основанием было то, что однажды архимандрит Кирилл совершил где-то литургию с известным Петроградским обновленческим архиереем о. Н. Сыренским. Они подняли восстание против игумена, — пламенные речи сотрясали деревянные стены обители.

И вот, возмущенная братия нашла мудрого судию в лице епископа Николая. «Владычный суд» был скор и решителен. Епископ полностью оправдал архимандрита и наказал мятежных монахов запрещением в священнослужении.

Популярность Владыки росла, но вместе с тем, мрачные тучи собирались над его головой. Становилось все более ясно, что несмотря на его дипломатическую изворотливость — удары судьбы его не минуют. И не мог не встать вопрос о преемнике. В первые месяцы 1923 года состоялось тайное собрание сторонников автокефалии; единогласно был намечен в преемники иеромонах Мануил — настоятель крохотной домовый церкви Александро-Невского общества трезвости, которому через несколько месяцев пришлось сыграть выдающуюся роль в истории Петроградской церкви. Этот малого роста иеромонах-аскет имел в груди пламенное сердце протопыта Аввакума и был абсолютно непоколебим и несгибаем в своей религиозной ревности. Было условлено, что хиротония его во епископа произойдет в тайне в Архангельске, где жил тогда в ссылке митрополит Серафим (Чичагов).

Хиротонию эту осуществить не удалось, однако впоследствии, когда как бы воскрес из мертвых патриарх Тихон, епископу Мануилу суждено было стать одним из самых яростных и самых непримиримых борцов против обновленчества — за торжество патриаршей идеи в Петрограде.

Между тем печальные предвидения осуществились, епископ Николай был арестован и выслан в Коми-Зырянский край. Его

дело, однако, не прошло даром. Автокефалии распространялись по лицу всей Российской земли. В Петрограде они чуть не привели к краху все дело обновленцев.

«Буря проносится над Русской церковью» — писал в своем воззвании — «к чадам Петроградской церкви» обновленческий архиепископ Николай Соболев. «Мягутся души верующих. Смущают их сердца пастыри стада Христова, вместо мира и любви старающиеся, по различным побуждениям, сеять недоверие, раздоры и церковную смуту. В это время я призван на святительскую кафедру Петроградской Православной Церкви. Не искал я этого звания, не мыслил о нем, но когда взоры тех, в чьи руки Господу угодно было вручить управление делами Русской Церкви, в тот момент остановились на мне, я не почел возможным отказаться «взять крест и последовать Христу». Знал, что происшедшее в церкви волнует умы: но знаю и то, что «ни один волос не упадет с головы нашей без Воли Отца нашего Небесного».

Знаю, что смущает иных огненное дерзновение нескольких архипастырей и пастырей, которые взяли помочь надтреснувшему кораблю церковному избежать крушения среди волн политической борьбы, куда склонны были втянуть Церковь иные из ее архипастырей, но знаю и то, что и «теплых изблюет нас Господь из уст Своих», а ошибки можно исправить общей молитвой, любовью и работой. Вот на эту работу на склоне дней своих вышел и я. Не на себя надеюсь, но на Божью благодатную силу. Также право верую и право исповедую веру нашу святую, как исповедывал ее, служил ей 47 лет моего священства. Иные из врученной мне Господом паствы склонны видеть во мне чуть не врага Церкви — Бог да простит им, «не ведают они что говорят». И даже сослужители мои, викарные епископы Алексей и Николай, которые сначала приняли меня, ныне под влиянием каких-то соображений пытаются расхитить овец не порученных им — Бог поругаем не бывает и взыщет души смущенных от рук их.

Но благодаря Богу — поколебалась, однако, не рассыпалась еще Петроградская паства, и теперь, когда выяснилось, что большая часть клира и верующего народа Петроградской епархии приняла новое создавшееся положение, вместе с целым рядом видных епископов Церкви Российской, я обращаюсь к вам, возлюбленные собратья и сослужители по городу

Петрограду — оставьте разделения, устраните соблазны и выйдите дружно на работу по созданию Духа Христова в сердцах верующих членов Церкви. Несите им проповедь мира и любви. Проповедуйте слово Божие. Будьте светильниками в мире.

А вы, возлюбленные чада Церкви, народ православный, знайте, что, стоя на грани вечности, я не изменю святому Православию, а сеющих смуту и раздирающих Тело Церкви, по данной от Господа мне архипастырской власти, буду устранять от руководства церковным народом.

Моя молитва о вас — и приемлющих и гонящих меня.

Благодать Всесвятого Духа и мир с Петроградской Православной Церковью. Аминь.

Николай, архиепископ Петроградский и Гдовский».

Из-под его пера вышли через несколько месяцев следующие строки, которые представляют собой потрясающий человеческий документ:

«В Петроградское Епархиальное Управление.

Волею Божиею и стихийными обстоятельствами, хотя и против личного желания и при протесте со своей стороны, я с величайшей грустью и томлением принял на себя сан епископа и обязанности по управлению Петроградской Епархией, принеся требуемую от меня жертву во имя умиротворения многострадальной нашей Церкви.

Документы и живые свидетели в будущем выяснят фактическую и правдивую сторону этого исторического в церковной жизни момента.

Во время минувшего полугодия моего пребывания в Управлении в качестве правящего Епископа Петроградской Епархии я с болью в душе и сердце переносил те нестроения и раздоры, которыми за это время старала и страдает наша православная паства со своими пастырями. Далее этого тяжелого креста, возложенного на меня, или, грубо говоря — этого духовного ярма, — я не в состоянии нести.

Для меня совершенно ясно, что это страшное и грустное церковное разделение идет все далее и далее не только в Петрограде и уездах нашей губернии, но даже и в других епархиях. Кроме того, и в среде своих ближайших сотрудников я начинаю чувствовать известную долю внутренней отчужденности.

А потому, для пользы Церкви, ради мира церковного, для

примирения пастырей и пасомых, я слагаю с себя обязанности правящего Епископа и удаляюсь на покой.

В заключение должен сказать, что этой духовной власти я не искал и не ищу. Свидетель тому сам Господь Бог...

Архиепископ Николай Соболев, 2 января 1923 года.

(«Соборный Разум» 1923 г. № 1-2 стр. 7).

\*

Эту главу мы кончаем в неделю Блудного Сына, — к покаянию, обновлению духовному зовет в эти дни Православная Церковь; и хочется думать, что церковь русская, вспомнив свои исторические грехи перед Богом, — скажет — и скажет за всех (и за живых и за умерших): «Отче, согреших на небо и перед Тобою», — и получит прощение всех своих грехов!

*А. Левитин и В. Шавров*

# ЛЕНИН\*

Впервые я увидел Ленина в Женеве в июне 1905 года.

Я был тогда большевиком и работал в партийной организации в Казани. Это было время нарастающего революционного взрыва по всей России, уже ясно чувствовались его предвестия и в нашей провинциальной организации велась довольно-таки энергичная революционная работа.

Перед приближающейся революцией у нас резко стоял и жестоко дебатировался вопрос о вооруженном восстании. Он являлся центральным на всех заседаниях и конференциях. Но в провинциальных организациях по этому вопросу чувствовалось колебание, шатание, нерешительность. Партийная провинция решить этот вопрос самостоятельно не могла. Многие противились вооруженному восстанию. Одним словом: — большевистской провинции требовались ясные «директивы» вождей.

Вот тогда-то казанская организация большевиков и послала меня в Женеву к В. И. Ленину, уже в то время пользовавшемуся громадным авторитетом в партии.

В середине июня я выехал из Казани. Ехал я к Ленину не только для того, чтоб привезти от него директивы. Кое-что я вез

---

\* Печатаемая нами рукопись о Ленине, это воспоминания А. Д. Нагловского, быв. видного большевика, первого торгпреда в Италии, вскоре после приезда на Запад порвавшего с большевиками и перешедшего на положение «невозвращенца», а потому объявленного большевиками «врагом народа». Эти воспоминания были записаны Р. Б. Гулем со слов А. Д. в 1936 году в Париже и тогда же под инициалами Н. Н. напечатаны в журнале «Совр. Записки» (кн. 61). Но, к сожалению, редакция «С. З.» чрезвычайно сократила эту запись и многое ценное из рассказа А. Д. не увидело света. Сейчас мы печатаем полный текст. В кн. 82 «Н. Ж.» мы уже печатали воспоминания А. Д. о Л. Б. Красине. В примечании к ним читатель найдет биографические сведения об А. Д. Нагловском. Полный текст рукописи о Ленине взят из архива Р. Б. Гуля, находящегося в Йельском университете. РЕД.

и для Ленина. Казанская организация к моему отъезду собрала около 20.000 рублей для ЦК партии, каковой взнос я и должен был вручить Ленину.

Мне было ровно 20 лет и я был «убежденным большевиком», прошедшим уже несколько тюрем, знававшим и нелегальную жизнь и надзор полиции, вообще окунувшимся целиком в бытие подпольщика и партийного агитатора.

Как сейчас помню, лето стояло великолепное. Я ехал легально. Переезд мой через границу Германии прошел вполне благополучно. В Германии я не задерживался и в последних числах июня уже был за швейцарской границей; поезд мчал меня к Женеве.

В первый же день моего приезда в Женеву я отправился по данному мне в Казани адресу. Но явка была не прямо к Ленину, а к другому члену партии, грузину, настоящую фамилию которого я так и не узнал.

О моем приезде ЦК был уведомлен. Грузин тут же дал мне адрес Ленина, сказав, что лучше всего зайти к нему между 5-6 часами вечера. И в этот час я уже шел по скромной женеvской улице в районе рю де Каруж, разыскивая дом, где жил Ленин.

Свидание с Лениным меня, разумеется, волновало. До этого мне приходилось видеть многих партийных лидеров и должен сказать, что у большинства из них всегда было и чванство и «взгляд свысока» и все прочие атрибуты лидерства. Тем приятнее поразила меня встреча с Лениным всем совершенно обратным. Эта встреча произвела на меня сильное впечатление.

Обстановка, в которой жил тогда Ленин, была больше, чем скромная. Бедная. Он жил с Крупской в одной комнате. На стук в дверь я услышал картавящий на «р» крик. И вошел.

Внешность Ленина помню отчетливо. Небольшого роста человечек с монгольским лицом, очень живой, очень приветливый, одетый в потрепанный пиджачный костюм. Характерны были живые, быстрые глаза, пронзительно глядевшие из-под большого крутого лба.

Несмотря на разницу лет и положения в партии, естественно-приветливое, живое товарищеское обращение без тени какого бы то ни было чванства меня сразу подкупило. От «бонзы» в Ленине не было тогда ничего. Это был старший товарищ, к тому же горящий «огнем дела».

Сразу же Ленин попросил Крупскую «приготовить чайку»

и за пустым, без всяких «аблимантов» чаем Ленин жадно принялся меня расспрашивать о партийных делах в Казани, о настроениях в России, о возможности расширения большевистской деятельности в столицах и прочем. Видно было, что Ленин всем этим горит.

С первых же слов в нем чувствовался сразу большой ум, тонко схватывающий каждую мелочь, хитрая практическая сметка и, конечно, абсолютная преданность делу партии. К тому ж, в противоположность другим вождям, в Ленине тогда было что-то еще очень живое, *молодое*. Ему тогда минуло 35 лет.

Единственно, что производило неприятное впечатление, это общий тон Ленина, когда он начинал говорить о противниках. Это был тон беспардонного издевательства, пересыщенный грубой руганью.

Давно забыв о стоявшем перед ним чае, Ленин уже быстро ходил из угла в угол, засунув большие пальцы рук на груди под жилет. Это была обычная привычка Ленина — говорить, ходя из угла в угол. Хотя собственно он даже не говорил, обращаясь ко мне, а словно читал лекцию о «текущем моменте».

Отмечу здесь мимоходом одну черту сразу бившую в облик Ленина. Теперь о Ленине коммунисты обычно пишут как о каком-то «спокойнейшем мудреце», вещавшем истины. Напротив, уж тогда Ленин был крайне нервен, непоседлив, взвинчен. Это был, конечно, явный *неврастеник*, а вовсе не мудрец «божественного спокойствия».

Когда я взял быка за рога, начав говорить о том, что больше всего волновало партийные низы в России — о вооруженном восстании — быть ему или не быть, итти на него или не итти, Ленин на минуту, было, присевший к столу, вдруг быстро вскочил и резко, очень сильно картавя, совершенно не выговаривая «р», заговорил:

— Что нужно делать? Нам нужно одно — *вооруженное восстание!* — повторял он тоном непререкаемой необходимости, повелительно и бесспорно. Когда ж я указал, что в партийных кругах в России живет сомнение в том, что восстание едва ли может быть победным, Ленин сразу даже остановился.

— Победа?! — проговорил он, — Да, для нас дело вовсе не в победе! — и делая правой рукой резкие движения, словно вбивая какие-то невидимые гвозди, Ленин продолжал: — От моего имени так и передайте всем товарищам: — нам иллюзии не нуж-

ны, мы трезвые реалисты и пусть никто не воображает, что мы должны *обязательно* победить! Для этого мы еще очень слабы. Дело вовсе не в победе, а в том, чтобы восстаньем потрясти самодержавие и привести в движение широкие массы. А потом уже наше дело будет заключаться в том, чтобы привлечь эти массы к себе! Вот в чем вся суть! Дело в *восстании как таковом!* А разговоры о том, что «мы не победим» и поэтому не надо восстания, это разговоры трусов! Ну, а с ними нам не по пути!

Все было ясно. Директивы получены. Мой первый визит к Ленину кончался. Прощаясь, Ленин жал руку, говорил всякие подбадривающие комплименты. В Ленине тех времен было много силы, здоровья, энергии. Но, в противоположность холодному барственному Плеханову, в Ленине не было ничего от «высокой мудрости». Это бы умный, смелый, очень хитрый партийный заговорщик, властный водитель клана. Политический боец исполненный абсолютного цинического презрения ко всему, кроме себя самого. Всей манерой речи, каждой фразой, каждым словом он как бы говорил: — «Знайте, во-первых, что все кроме меня, дураки и никто ни в чем ничего не понимает! А во-вторых, если все товарищи будут слушать меня, то из этого выйдет настоящий толк! И даже очень большой толк! Вот и извольте мне беспрекословно подчиняться! А я уж знаю, что буду делать!»

Прощаясь, я сказал Ленину о привезенных деньгах. Это Ленина очень обрадовало. Он ответил, что деньги я должен передать тому самому грузину, который дал мне его адрес. И на мгновение задумавшись, Ленин вдруг сказал, что было бы правильнее, чтобы я после Женевы ехал не в Казань, а в Петербург, где необходимо усилить большевистскую агитацию среди питерских рабочих. Я согласился. На том мы и порешили. Перед отъездом Ленин обещал дать точные инструкции.

## II

Через две недели, в течение которых в Женеве я несколько раз встречался с Лениным, поезд мчал меня уже назад в Россию, но не в Казань, а, по указанию Ленина, в Петербург, где я должен был стать ответственным пропагандистом Нарвского района. Мне была дана явка в страховом обществе на углу Морской и Гороховой.

В те предгрозовые предреволюционные месяцы ленинские вождения в Петербурге направлялись главным образом на

Путиловский завод. Сознание, что в этой цитадели русского пролетариата нет *никакой* большевистской организации приводило Ленина в бешенство.

Насколько вообще тогда, в 1905 году, были слабы большевики и насколько не имели корней в массах, показывает факт, что вся организация их в Петербурге едва ли насчитывала около 1000 человек. А в Нарвском рабочем районе — человек около 50-ти. Связи с рабочими были минимальны, вернее сказать, их почти не существовало. Большевистское движение было чисто интеллигентское; студенты, курсистки, литераторы, люди свободных профессий, чиновники, мелкие буржуа, вот где рос тогда большевизм. Ленин это прекрасно понимал и по его плану, эти «кадры» партии должны были начать завоевание пролетариата. Тут-то и интересовал его Нарвский район и самый мощный питерский Путиловский завод, где тогда имели большое влияние гапоновцы.

В страховом обществе, куда я пришел с явкой от Ленина, меня встретил мрачный бородатый мужчина, дал все указания, адреса. И вскоре я приступил к попытке создать на Путиловском заводе «большевистскую организацию».

Увы, дело это было очень трудное. Только теперь у большевистских историков все выходит очень гладко. На самом же деле все обстояло куда менее импозантно, а подчас и вовсе безнадежно.

Питерские рабочие шли тогда за меньшевиками и эс-эрами. В течение многих недель я пытался сколотить хоть какой-нибудь большевистский рабочий кружок на Путиловском заводе. Но результат был плох. Мне удалось привлечь всего-навсего пять человек, при чем все эти пять, как на подбор, были какими-то невероятно запьянцовскими типами. И эта пятерка на наши «собрания» приходила всегда в неизменно нетрезвом виде.

Вскоре эта моя «деятельность» неожиданно оборвалась: — был издан манифест 17-го октября, после которого большевистская организация в Петербурге могла уже приступить к более или менее широкой полулегальной работе.

Тут-то после манифеста и встретил я снова Ленина. Правда, эта петербургская встреча была «мимолетна». — В трамвае. Помню, я ехал по Бассейной, вдруг в вагон вошел человек по всему обличью очень напоминавший Ленина, но с чрезвычайно большими светлыми усами. Эта странная фигура, не замечая меня, шла в мою сторону и вдруг села прямо передо мной. Мне

достаточно было пристального взгляда, чтобы узнать Ленина. Я слегка подмигнул ему. Он меня тут же узнал, но явно не пожелал быть узнанным, заволновался, сделал отрицательный знак головой, чтоб я, мол, не подавал никаких признаков знакомства. И вдруг даже встал и на следующей остановке вышел из трамвая.

Вскоре я увидел Ленина во второй раз, уже без усов, без грима, он выступал на митинге на курсах Лесгафта. Ораторская манера была совершенно та же, как тогда передо мной в Женеве. Ленин так же ходил по трибуне из угла в угол и сильно картавя на «р», говорил резко, отчетливо, ясно. Это была не митинговая речь (на что в те поры среди большевиков был только один мастер — «товарищ Абрам», Крыленко). У Ленина это была даже не речь. Ленин не был оратором, как, например, Плеханов, говоривший по французской манере с повышениями и понижениями голоса, с жестами рук. Ленин не обладал искусством речи. Ленин был только — логик. Говоря ясно, резко, со всеми точками над «і», он с огромной самоуверенностью расхаживал по трибуне и говорил обо всем таким тоном, что в истинности всего им высказываемого вообще не могло быть никаких сомнений. Раз он, Ленин, так говорит, стало-быть это так и есть. И только полемизируя, Ленин выходил из тона этой безграничной самоуверенности и впадал в дешевую насмешку и грубость издевки.

В Петербурге под прикрытием легальности в организованных тогда большевиками нескольких рабочих клубах под энергичным руководством Ленина пошла довольно-таки широкая работа по привлечению масс и в частности по подготовке вооруженного восстания. В эти дни большевистская работа стала давать уже гораздо бoльшие результаты. И, например, большевистский клуб за Нарвской заставой привлекал уже на свои лекции и агитационные собрания порядочное количество путловцев.

В те дни большевиками были собраны значительные суммы. Партия стала копить оружие. Организовалась и первая большевистская боевая дружина в 25 человек, поступившая в распоряжение заведывавшего тогда всеми дружинами большевиков — Л. В. Красина.

Но сам Ленин в Петербурге в те дни пробыл недолго. Не помню куда он исчез, но исчез быстро, дав директивы и окончательно сплотив большевиков на лозунге вооруженного восста-

ния. Помню, за восстание были тогда — Г. Алексинский, И. Сталин (тогда незаметный член партии), А. Крыленко и главный руководитель боевыми отрядами — Л. Красин.

Но так как ни широкие массы питерских рабочих, ни другие революционные партии в Питере лозунга вооруженного восстания не разделяли, то начать вооруженное восстание здесь большевики не решились, обратив все свое внимание на восстание в Москве.

Разумеется, и это восстание имело немного шансов на успех. Оно и было подавлено. И в результате разгрома как восстания, так и партии, в среде последней возникла острая оппозиция к Ленину, критиковавшая его «авантюристическую тактику», обрушивавшаяся на его «нечаевщину», на тактику «вспышкопускательства». Но Ленин в своей «линии» был абсолютно твердым. Ленин остался на своем. По его мнению, восстание было нужно и прекрасно, что оно было. От своих положений Ленин никогда не отступал, даже если оставался один. И эта его сила сламывала под конец всех в партии.

### III

Следующие мои встречи с Лениным относятся уже к 1917 году.

Теперь это стало известным, что до приезда Ленина в Россию большевистская партия пребывала в состоянии полной растерянности. Мне, как «очевидцу», тогдашнему члену партии, остается этот факт только подтвердить: — без директив «вождя» в 1917 году в партии шел невероятный разброд. Приезд Ленина считался совершенно необходимым, хотя надо сказать, что тогдашнее большинство видных партийцев ждало Ленина с опасениями, предчувствуя, что в этом хаосе Ленин сразу займет крайнюю атакующую позицию в отношении Временного Правительства и Совета Рабочих Депутатов.

Таврический дворец тех дней, где заседал Совет, представлял тревожную картину. На трибунах — головка Совета — лидеры меньшевиков и эс-эров. Где-то по кулуарам растерянно мечутся, мнутя, пробегают большевики — Стасова, Бубнов, Сталин, Каменев, Стеклов и другие. А зал залит революционной толпой, производившей, надо сказать, самое гнетущее впечатление. В большинстве это был, конечно, не народ, а большевистски-настроенный *оэмос*, на который и оперся в скором времени Ленин.

Но пока что речами Чхеидзе, Церетели, Керенского даже в самом остром вопросе — о войне — этот охлос сдерживался все-таки на позициях оборончества, хоть и было ясно, что скрепы, пролегавшие от трибуны в зал, чрезвычайно хрупки. Хрупкость обнаружилась ежечасно.

Помню выступление Плеханова — о войне. Прекрасный оратор западноевропейской манеры, Плеханов на этот раз говорил необычайно резко о войне до победного конца, о германском милитаризме, о славных союзниках, о героической Бельгии. При уважении к его имени в зале стояла тишина. Но когда он кончил, тишина так и осталась стоять, не прерванная ни единым хлопком. И чтобы как-нибудь выйти из положения встал Чхеидзе, произнося сглаживающую половинчатую речь.

Приехавшего Ленина я увидел на вокзале. Этот приезд достаточно описан в литературе, и я не коснусь его подробностей. Скажу только, когда я увидел вышедшего из вагона Ленина у меня невольно пронеслось: — «Как он постарел!» В приехавшем Ленине не было уже ничего от того молодого, живого Ленина, которого я когда-то видел и в скромной квартире в Женеве и в 1905 году в Петербурге. Это был бледный изношенный человек с печатью явной усталости.

Приняв поздравления, Ленин ответил на них известной демагогической речью. Для всех стало ясно, что Ленин совершенно готов к продолжению заговорщицкой борьбы. И он повел ее из дворца Кшесинской.

Впечатление о сильной «постарелости» Ленина подтвердилось и в последующие дни, когда я часто встречал его в этом дворце. Весь вид Ленина был резко отличен от прежнего. И не только вид. В обращении исчезли всякое добродушие, приветливость, товарищеская легкость. Ленин этого времени по всей своей цинической, замкнутой, грубоватой повадке казался заговорщиком «против всех и вся», не доверявшим никому, подозревавшим каждого и в то же время решившим всеми силами, не считаясь ни с чем, итти в атаку на захват власти.

Разумеется, как и в былые дни, его обаянье в партии было сильно. Но тем не менее, прежде чем захватить власть в стране, Ленину предстояло еще завоевать свою партию. Против него шло не только «будированье по закоулкам», но оказывалось и резкое открытое сопротивление. Не только Каменев, Зиновьев, но подавляющее большинство партии было не на его стороне. И все же

Ленин был настолько уверен в себе, настолько «самодержавен», что сразу же перешел в атаку на оппозиционеров.

Помню, как уже на первых собраниях во дворце Кшесинской он кричал — «Или теперь или никогда! Наш лозунг — вся власть советам! Долой буржуазное правительство!» — и перекосив лицо, картавя, в демагогической речи звал «итти с кем угодно, с улицей, с матросами, с анархистами», но итти на немедленный захват всей полноты власти! И в самое короткое время Ленин подмял под себя всю партию, чувствовавшую, что сил сопротивляться ему — нет, а без этого заговорщицкого кормчего она — ничто.

Временный уход Ленина в подполье после июльских дней увел его из поля моего зрения. Я увидел Ленина снова уже в Смольном в роли председателя Совета Народных Комиссаров. Тут мне приходилось наблюдать его довольно часто.

Суммируя впечатление, которое у меня не опроверглось и последующими общениями с Лениным, я, вероятно, пойду в разрез с установившейся репутацией Ленина не только уж в большевистской, но даже, пожалуй, и в антибольшевистской литературе.

Обычно Ленин «все-же» признается «государственным человеком». Встречаясь с Лениным на государственной работе, делая ли ему доклады, получая ли от него распоряжения, этого впечатления у меня *никогда не создавалось*. Напротив, все говорило о противоположном.

Среди большевиков были люди государственного размаха, могущие быть «министрами» в любой стране. Это — Л. В. Красин, человек большого ума, расчета, инициативы, трезвого глаза. Это — Л. Д. Троцкий, несмотря на то, что ни на кого эта фигура никакого «обаяния» не производила. Но только, разумеется, ни Ленина зачислять в государственные люди.

Прежде всего Ленин был типичным человеком подполья. Ленин не знал ни жизни, ни России, ни русского крестьянства, не знал фактов. Ленин был существом *исключительно партийным*. Ни в одной стране он не мог бы быть «министром», зато в любой стране мог бы быть главой заговорщицкой партии. Ленин был *узко-партийный конспиратор до мозга костей*.

И сидя ли в Кремле или в Смольном, Ленин действовал везде именно так, как привык действовать в партии. В то время как распоряжения и назначения Троцкого и Красина обычно как-то базировались на здравом смысле, распоряжения и назначения Ленина бывали иногда поистине шедеврами нелепости.

Дара подбора людей, более-менее обязательного для «государственного человека», у Ленина не было. *Партмиец* у Ленина мог получить *любое* назначение. Так, с первых же дней Ленин выдвигал и прочил чуть-ли не в «главнокомандующие» бездарную пустоту, партийца Лашевича, дошедшего в мировой войне до чина унтер-офицера. В вопросах промышленности, отмечая мнения людей здравого смысла, Ленин сплошь и рядом обращался за советом к Ю. Ларину, человеку ни в чем не компетентному, фанатическому начетчику большевистской программы. Можно безо всякого преувеличения сказать, что деятельность Ларина заключалась в систематическом разрушении промышленности. Но мнение этого прикованного болезнью к постели фанатика с полуокостяненным телом и воспаленным мозгом, было часто решающим в распоряжениях Ленина.

Чтоб охарактеризовать Ларина приведу случай из его распоряжений. В декабре 1917 года ко мне в комиссариат пришел знакомый студент-технолог, беспартийный, единственным занятием которого были бега и игра на бильярде. Студент спрашивал, нет-ли какой-нибудь для него «работенки»? Даю ему письмо к Ларину, полагая, что может-быть у него он что-нибудь найдет. Через три часа студент приходит в очень веселом настроении.

Прочтя письмо и узнав, что этот студент — «технолог» — Ларин тут же устроил ему назначение комиссаром правления одного из крупнейших Русско-Бельгийских металлургических заводов на юге России. Студент был не из нерешительных. Поехал действовать по директивам Ларина и в самый короткий срок закрыл правление завода, остановив всю деятельность этого крупнейшего предприятия. Окончил же свою деятельность этот студент — директором советской балетной школы.

«Неталантливость» в подборе людей в Ленине была поразительна. Помню, позднее, в бытность Ленина в Москве, из Питера я приехал к нему в составе «пятерки» представителей железнодорожников с «челобитной» снять с поста наркома путей сообщения литератора Невского, под нелепостью распоряжений которого железнодорожники задыхались.

Приехавшие входили в кремлевский кабинет Ленина не без волнения. Было неизвестно с какой ноги встал «Ильич». Но какво же было удивление, когда после первых же наших слов, Ленин сразу перебил:

— Знаю, знаю, что у Невского происходит черт знает что!

Он никуда не годится! И я его выгону вон! У меня для вас есть замечательный нарком! — и Ленин назвал фамилию, — Кобызев.

Кобызев — средней руки инженер. Чем он пленил Ленина — неизвестно. Но высказывания каких бы то ни было сомнений в кабинете диктатора неуместны. И Кобызев стал наркомом ровно... на месяц, после чего его Ленин тоже «выгнал вон».

В характере Ленина, как в отношении людей, так и дел, была мелочность. И в Смольном и в Кремле впечатления главы правительства Ленин не производил. Это был всегда партийный заговорщик, но не глава государства.

#### IV

В Москве впервые я увидел Ленина в Кремле в мае 1918 года, в день восстания в Поволжье чехов. В небольшой кремлевской комнате, непосредственно примыкавшей к кабинету Ленина, шло очередное заседание совнаркома, обсуждавшее один из бесчисленных докладов «об эвакуации».

У стены, смежной с кабинетом Ленина, стоял простой канцелярский стол, за которым сидел Ленин, рядом — его секретарша Фотиева, женщина ничем кроме преданности вождю незамечательная. На скамейках, стоящих перед столом Ленина, как ученики за партами, сидели народные комиссары и вызванные на заседание видные партийцы.

Такие же скамейки стояли у стен перпендикулярно по направлению к столу Ленина; на них так же тихо и скромно сидели наркомы, замнаркомы, партийцы. В общем, это был класс с учителем довольно-таки нетерпеливым и подчас свирепым, осаживающим «учеников» невероятными по грубости окриками, несмотря на то, что «ученики» перед «учителем» вели себя вообще примерно. Ни по одному серьезному вопросу никто никогда не осмеливался выступить «против Ильича». Единственным исключением был Троцкий, действительно хорохорившийся, пытаясь держать себя «несколько свободнее», выступать, критиковать, вставать.

Зная тщеславие и честолюбие Троцкого, думаю, что ему внутренне было «совершенно невыносимо» сидеть на этих партах, изображая из себя благонамеренного ученика. Но подчиняться приходилось. Самодержавие Ленина было абсолютным. Хотя все-таки шло распяленного тщеславия и заставляло Троцкого вска-

кивать с «парты», подходить к Ленину, выходить из комнаты и вообще стараться держаться перед остальными «учениками» так, как бы всем своим поведением говоря: — «вы не воображайте, что я и вы одно и то же! Ленин, конечно, Ленин, но и Троцкий тоже Троцкий!» И уже «тоном ниже», но все-таки пытался подражать своему шефу, помощник Троцкого, исключительно развязный Склянский.

На этом заседании во время прений Ленину подали свежую телеграмму о восстании чехов в Поволжье. Ленин взволновался до крайности. Заседание было прервано. И когда я в соседней комнате разговаривал с Троцким, туда быстрыми шагами вошел Ленин и, обращаясь к Троцкому, резко проговорил:

— Сейчас же найдите мне Розенгольца!

Стало ясно: Ильич почему-то решил отправить в Поволжье Розенгольца. Это внезапное назначение ни в Троцком, ни в других наркоммах явно не могло встретить сочувствия. Но все-ж все тут же бросились разыскивать Розенгольца.

Два слова о Розенгольце. Этот человек выдвинулся на военно-чекистской работе. По основной специальности он фельдшер. Издавна знавшие его отзывались о нем не иначе, как «ужасный тип». Обязан он отмеченности Лениным только из-за необычайной жестокости и абсолютного наплевательства на жизни хотя бы десятка тысяч людей. Когда Розенголец был назначен заведующим политическим управлением НКПС, этот круглый, гладкий человек подбирал служащих по политуправлению так. Вызывал в свой кабинет и задавал один вопрос:

— Сколько контр-революционеров вы расстреляли собственноручно?

Если опрашиваемый мялся или сообщал, что «не приходилось», то уходил из кабинета не получив никакого назначения. Впоследствии Розенголец эту свою деятельность сменил на дипломатическую, став полпредом в Англии. В Лондоне он начал давать блестящие балы, танцуя с дамами английского дипломатического корпуса и чувствуя себя совершенно «в своей тарелке».

В мае 1918 года Ленин отправил Розенгольца с аршинными мандатами в Поволжье, ибо Розенголец принадлежал к тем «рукастым» коммунистам, которых особенно ценил Ленин.

Чем шире развивалась гражданская война, тем усиленной Ленин интересовался ВЧК и террором. В эти годы влияние Дзер-

жинского на Ленина — несомненно. И тем первнее, раздражительнее и грубее становился Ленин. В 1918-19 годах нередко приходилось его видеть на собраниях совнаркома, выходящим из себя, хватавшимся за голову. В прежние времена этого не бывало. Старый заговорщик, Ленин, явно изнашивался. И тут действовала не одна болезнь. Иногда глядя на усталое, часто кривящееся презрительной усмешкой лицо Ленина, либо выслушивающего доклады, либо отдающего распоряжения, казалось, что Ленин видит какая человеческая мразь и какое убожество его окружают. И эта усталая монгольская гримаса словно говорила: — «да, с таким 'окружением' никуда из этого болота не вылезешь».

— Фанатик-то он фанатик, а видит ясно куда мы залезли, — говорил о Ленине Красин, относившийся к октябрьской вершухе большевиков тоже с нескрываемым презрением.

Вот именно в эти-то годы и влиял на Ленина Дзержинский, еще более узкий фанатик чем он. Ленин брал на себя, разумеется, всю ответственность за террор ВЧК. Он считал его необходимым. И Дзержинский был ему под стать.

Их силуэты особенно запомнились мне на одном из заседаний. Не помню, чтоб Дзержинский просидел когда-нибудь заседание совнаркома целиком. Но он очень часто входил, молча садился и так же молча уходил среди заседания. Высокий, неопрятно одетый, в больших сапогах, грязной гимнастерке, Дзержинский в головке большевиков симпатией не пользовался. Но к нему люди были «привязаны страхом». И страх этот ощущался даже среди наркомов.

У Дзержинского были неприятны прозрачные больные глаза. Он мог длительно «позабыть» их на каком-нибудь предмете или на человеке. Уставится и не сводит стеклянные с расширенными зрачками глаза. Этого взгляда побаивались многие.

Вот на одно из заседаний, при обсуждении вопроса о снабжении продовольствием железнодорожников, в этот же «класс» с послушными «учениками» и вошел Дзержинский. Он сел неподалеку от Ленина. Заседание было в достаточной мере скучным. Но время было крайне тревожное, были дни террора.

Обычно Ленин во время общих прений вел себя в достаточной степени безцеремонно. Прений никогда не слушал. Во время прений ходил. Уходил. Приходил. Подсаживался к кому-нибудь

и, не стесняясь, громко разговаривал. И только к концу прений занимал свое обычное место и коротко говорил:

— Стало быть, товарищи, я полагаю, что этот вопрос надо решить так! — Далее следовало часто совершенно не связанное с прениями «ленинское» решение вопроса. Оно всегда тут же без возражений и принималось. «Свободы мнений» в совнарком у Ленина было не больше, чем в совете министров у Муссолини и Гитлера.

На заседаниях у Ленина была привычка переписываться короткими записками. В этот раз очередная записка пошла к Дзержинскому: — «Сколько у нас в тюрьмах злостных контрреволюционеров?» — В ответ от Дзержинского к Ленину вернулась записка: — «Около 1500». Ленин прочел, что-то хмыкнул, поставил возле цифры крест и передал ее обратно Дзержинскому.

Далее произошло странное. Дзержинский встал и как обычно, ни на кого не глядя, вышел с заседания. Ни на записку, ни на уход Дзержинского никто не обратил никакого внимания. Заседание продолжалось. И только на другой день вся эта переписка вместе с ее финалом стала достоянием разговоров, шепотов, пожиманий плечами коммунистических сановников. Оказывается, Дзержинский всех этих «около 1500 злостных контрреволюционеров» в ту же ночь расстрелял, ибо «крест» Ленина им был понят как указание.

Разумеется, никаких шепотов, разговоров и качаний головами этот крест «вождя» и не вызвал бы, если бы он действительно означал указание на расправу. Но как мне говорила Фотиева:

— Произошло недоразумение. Владимир Ильич вовсе не хотел расстреля. Дзержинский его не понял. Владимир Ильич обычно ставит на записке крест, как знак того, что он прочел и принял, так сказать, к сведению.

Так, по ошибочно поставленному «кресту» ушли на тот свет «около 1500 человек». Разумеется, о «таком пустяке» с Лениным вряд ли кто-нибудь осмелился говорить. Ленин мог чрезвычайно волноваться о продовольственном поезде не дошедшем во-время до назначенной станции и подымать из постели всех начальников участков, станционных начальников и кого угодно. Но казнь людей, даже случайная, мне казалось, не пробуждала в нем *никакого* душевного движения. Гуманистические охи были «не из его департамента».

## V

Последний раз я видел Ленина в 1921 году. Видел тоже в Кремле и тоже на заседании. Ленин, как всегда, то ходил меж скамеек по комнате, то садился за председательский стол. Но уже тогда он производил впечатление человека совершенно конченного. Он то и дело отмахивался от обращающихся к нему, часто хватался за голову. Казалось, что Ленину «уже не до этого». Ни былой напористости, ни силы. Ленин был явный нежилец и о его нездоровье плыли по корридорам Кремля всевозможные слухи. А за спиной этого желтого истрепанного человека, быстро шедшего к смерти, кипела ожесточенная борьба — Сталина, Зиновьева, Каменева, Троцкого.

Когда через три года Ленин умер, я видел многих видных вельмож коммунизма, которые плакали самыми настоящими человеческими слезами. Плакали не только Крестинский, Коллонтай, Луначарский, но (в самом буквальном смысле!) плакали заматерелые чекисты. Эти слезы были довольно «трогательны». Но любовь партии к Ленину и даже не любовь, а какое-то «обожание» были фактом совершенно несомненным.

В Ленине жила идея большевизма. Он олицетворял ее. Людям нужны «идолы». И Ленин был великим идолищем большевизма.

А. Н.

# РОССИЯ И США

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
С КОНЦА XVIII ВЕКА ДО 1917 ГОДА\*

## Екатерина II и новорожденная американская республика

В истории Европы XVIII век характеризовался политическим, военным и культурным преобладанием Франции на европейском континенте и все возрастающим морским и колониальным могуществом Англии, признанной «царицы морей». Интересы и притязания этих двух великих держав сталкивались и в Европе и в «Новом Свете», и их борьба нашла наиболее сильное выражение в эпоху наполеоновских войн.

Россия в эпоху Екатерины II вела свою внешнюю политику самостоятельно, но отношение русского правительства к Франции (которая была другом и покровителем Турции) было весьма сдержанным. В 1764 г. Екатерина заключила союз с Фридрихом II Прусским, а в 1766 г. был заключен торговый договор с Англией. Выдающийся дипломат екатерининской эпохи граф Никита Иванович Панин, стоявший во главе «коллегии иностранных дел», строил планы заключения «северного союза» (или «северного аккорда»), направленного «против коварной французской инфлюенции»; союз этот должен был бы вклю-

---

\* В настоящей статье мы не касаемся деятельности учрежденной в 1798-1799 гг. Российско-Американской Компании, управлявшей русскими владениями в Северной Америке, а также культурного взаимодействия России и США в области науки, литературы и искусства.

О Российско-Американской Компании см.: С. Б. Ожунь. Российско-Американская Компания. Москва, 1939 (есть англ. перевод).

О русско-американских отношениях в области духовной культуры см. статьи Е. Двойченко-Марковой: *The American Philosophical Society and Early Russian-American Relations*. In: "Proceeding of the American Philosophical Society", vol. 94, 1950. Американское Философское Общество и Россия. 18-й век. «Нов. Журн.», кн. 36, 1954. То же: 19-й век. «Нов. Журн.», кн. 42, 1955.

чать, кроме России, Пруссии и Англии, также Данию и Швецию. Британское правительство относилось весьма сочувственно к идее заключения союза с Россией; Екатерина, которая сама была главным руководителем российской внешней политики, уверяла своего «брата», короля Георга III, в своем дружеском расположении, но от заключения формального союза с ним уклонялась.

Основываясь на дружеских уверениях Екатерины, британское правительство решило в 1775 г. просить у нее военной помощи для борьбы с восставшими американскими колониями. По поручению британского «секретаря по иностранным делам» графа Суффолка, британский посол сэра Роберт Гуннинг, просил Панина переговорить с императрицей по этому делу и скоро получил от него ответ, что императрица «готова оказать его величеству всякую помощь, какую он только может пожелать». Обрадованный посол донес об этом своему правительству, и скоро получил от него проект договора о посылке в Северную Америку 20.000 русской пехоты, которую британское правительство приняло бы на свое полное иждивение, и сверх того, для покрытия расходов по подготовке экспедиционного корпуса, «Его Величество Король Великобританский обязуется уплатить Ее Величеству Императрице Всероссийской за всякого пехотинца по семи фунтов стерлингов».

Переговорив с Екатериной, Панин сообщил британскому послу (к его великому изумлению и возмущению), что императрица не расположена посылать свои войска в Канаду. Гуннинг просил личной аудиенции, чтобы напомнить Екатерине о ее прежних обещаниях, но она сказалась больной, а свой ответ на обращенное к ней письмо Георга III она продиктовала (будто бы, лежа в постели) своему секретарю. В своем письме (от 23-го сент. 1775 г.) «добрая сестра» снова уверяла короля в своей дружбе, но говорила, что пожелания британского правительства о посылке в Канаду 20 тыс. русских войск «превосходят те средства, которыми я могу располагать для оказания услуги Вашему Величеству». Русская армия только что закончила «долгую и упорную войну в убийственном климате» (на Балканах...); теперь «моя империя нуждается в сиюминутности», а между тем в Европе создается неустойчивое политическое положение — в делах испанских, шведских и польских. Ко всему этому Екатерина добавила язвительное замечание,

что призыв иностранных войск для войны со своими подданными, с одной стороны, и посылка войск для такой цели в чужое государство, с другой стороны, не соответствовали бы достоинству обоих монархов и их государств: «Не могу также не размыслить, — писала она, — и о тех последствиях, которые должны возникнуть для нашего достоинства, а также для достоинства обеих монархий и обеих наций от подобного соединения наших сил единственно для усмирения восстания, не поддержанного ни одной из иностранных держав». (См. «Сборн. Русск. Ист. Общества», т. 19, 1876, стр. 474, 485-87, 500-502).

В 1778 г. французское правительство признало Северо-Американскую республику, заключило с нею оборонительный союз и послало на помощь ей отряд французского войска.

Британское правительство, чтобы ослабить сопротивление американских «мятежников», проводило строгую блокаду северо-американского побережья, — британские военные суда и каперские корабли захватывали идущие в Америку нейтральные суда, а британские призовые суды слишком широко толковали понятие «военной контрабанды». Тогда Екатерина II, 28-го февр. 1780 г., издала свою «декларацию вооруженного нейтралитета», обращенную к правительствам воюющих держав. Декларация требовала свободы нейтральной торговли на морях, ограничения понятия военной контрабанды (считая таковым только оружие и боевые припасы) и признания блокированными только тех портов, входы в которые действительно блокируются военными судами воюющих сторон. Императрица далее предупреждала, что для охраны российских торговых судов она посылает «значительную часть» своих военно-морских сил.

Екатерина обратилась к нейтральным державам с приглашением присоединиться к «союзу (или «лиге») вооруженного нейтралитета» для защиты нейтральной торговли. В 1780 г. к этому «союзу» присоединились Дания и Швеция, в 1781 г. — Пруссия и Австрия, в 1782 г. — Португалия, в 1783 г. — «королевство обеих Сицилий». Принципы декларации 1780 г. были признаны Францией и Северо-Американскими Штатами. Британское правительство отказывалось их признать, но, не желая иметь против себя коалицию нейтральных государств, вынуждено было дать своим каперским кораблям и призовым судам инструкции, смягчавшие их прежнюю практику. Таким обра-

зом, «лига вооруженного нейтралитета» ослабила блокаду Северной Америки и тем принесла пользу американской борьбе за независимость.

Американский Конгресс (заседавший в Филадельфии) в августе 1781 года постановил послать Фрэнсиса Дейну «полномочным министром» в С.-Петербург для того, чтобы получить от русского правительства признание новообразованного государства и заключить договор «о дружбе и коммерции». Дейна пробыл в Петербурге два года и был приветливо встречен петербургским обществом, но его дипломатическая миссия окончилась неудачей: Екатерина отказалась принять его и признать Северо-Американскую республику, ибо с точки зрения монархического легитимизма американские «колонии» были только «мятежниками», восставшими против власти своего законного государя, с которым, к тому же, Екатерина находилась, официально, в дружеских отношениях.

Упомянем, что при Екатерине служил в русском флоте американский адмирал Павел Джонс, а при Павле и при Александре I — адмирал Жорж Тэт (родом из Массачусетса).

С 1783-1784 гг. американские торговые суда начали появляться в русских портах, а в 1794 г. первый президент США Джордж Вашингтон назначил Джона Росселя американским консулом в С.-Петербурге.

### **Александр I и начало русско-американской дружбы**

В новой американской историографии стало модным или совсем отрицать факт почти столетней русско-американской дружбы, считая ее «мифом», «легендой» и т. п., или считать дружбу либерально-демократической американской республики с «деспотическим царизмом» «странной», «неестественной», «парадоксальной» и т. д.

Харвардский историк-социолог П. А. Сорокин в своей книге «Россия и Соединенные Штаты» (изд. 2-е, Лондон, 1950) прекрасно показал, что мифом, наоборот, является представление о какой-то, будто бы, полярной противоположности исторического развития и духовного характера русского и американского народов, тогда как в действительности в том и другом есть очень много сходных черт, и, с другой стороны, у России и США нет оснований для конфликтов (я имею в виду дореволюционную Россию).

Начать с условий геополитических: оба народа имели перед собой огромную, необъятную территорию с обильными и разнообразными природными богатствами, и оба создали огромное государство, пределы которого расширились более колонизацией пустых или почти пустых пространств, чем завоеванием. Национальный состав обоих государств получился в высшей степени пестрый и сложный: в Америке — эмигранты из многих стран; в России: в деревне — русский крестьянин рядом с мордвинами, черемисами, чувашами, татарами и т. д.; российское дворянство, бюрократия и интеллигенция — пестрая смесь различных «евразийских» элементов, от татар и грузин, до немцев и французов. Благодаря этому — отсутствие национальной ограниченности и шовинизма, терпимость в отношении чужих нравов и обычаев.

В области экономической обе страны, одна преимущественно аграрная, другая преимущественно торгово-промышленная и мореходная, были созданы для обоюдного-выгодного обмена.

В области социально-политической, как справедливо замечает П. А. Сорокин, царский абсолютизм (бывший в свое время необходимым для создания огромного централизованного государства и для его военной защиты) явился покровом или завесой, скрывавшей от иностранных наблюдателей демократические элементы русских социальных институтов, начиная с древнерусского веча: в Московской Руси — земские соборы и посадские и волостные миры (добавлю от себя: сыгравшие такую огромную **политическую** роль в Смутное время); в XVIII-XIX вв. — крестьянский мир, артель, затем, земские учреждения и городское самоуправление; в начале XX в. — Государственная Дума и мощное развитие кооперативного движения.\*

---

\* Надо заметить, что те из иностранных наблюдателей, кто (как барон А. фон Гакстгаузен или Дональд М. Уоллэс) основательно изучали Россию и хорошо знали русскую жизнь, отмечали это противоречие между самодержавно-бюрократическим политическим строем Российской империи и социальным характером русской жизни, где (по выражению В. Стэда) «бесчисленное множество сельских республик» в своей внутренней жизни управлялись крестьянским «миром» и выборными старостами.

В основе русско-американской дружбы в XIX в. лежали факты политического, экономического и идеологического характера.

В области внешне-политических отношений обе страны долгое время имели сильного и опасного врага в лице Великобритании.\*\* На суше интересы и стремления России и Англии сталкивались и на Балканском полуострове и в Средней Азии. На море Россия, обладавшая слабым военным и торговым флотом, находилась в полной зависимости от могучей «царицы морей» и в отношении военно-стратегическом и в отношении морской торговли. Естественно, что российское правительство было радо найти в быстро развивавшейся мореходной и торгово-промышленной заокеанской республике противовес британскому всемогуществу и стремилось установить дружественные отношения с США.

В области экономической обе страны были связаны интересами обоюдно-выгодной торговли. Первая половина XIX в. была временем парусных судов, и американский военный и торговый флот настоятельно нуждался в таких привозимых из России товарах как пенька, лен и пеньковые и льняные изделия — парусные полотна, корабельные канаты, веревки и т. д.<sup>1</sup> Кроме того, весьма важным и высоко ценимым предметом русского вывоза в то время было железо (производимое на Урале). Далее шли за границу смола, воск, щетина, кожи, сало, дерево и др.

Американский ввоз в Россию, начавшийся уже в 1783-84 гг. и непрерывно возраставший до 1812 г., доставлял хлопок и т. наз. «колониальные товары»: сахар, кофе, рис, табак, индиго и другие красящие вещества, пряности, а также немного вина и рома.

Если российское правительство и русский торговый класс были заинтересованы в американской дружбе по причинам политическим и экономическим, то русская либеральная и радикальная интеллигенция, зародившаяся в эпоху Екатерины II, с живейшим интересом и с восторгом взирала на страну Ва-

---

\*\* А при наличии общего врага возможен был союз Рузвельта и Черчилля со Сталиным — дружба неизмеримо более странная и «парадоксальная», чем дружба Джефферсона с Александром I или Линкольна с Александром II.

шингтона и Франклина как на обетованную землю, воплотившую в жизнь идеи свободы и демократии.

---

В 1801-м году Александр I вступил на престол Российской империи, а Томас Джефферсон, «апостол демократии» и автор «Декларации независимости», стал президентом США. Молодой государь, известный своими либеральными убеждениями и преобразовательными планами, и глава недавно рожденной заокеанской республики проявляли живой интерес и симпатию один к другому, в то время как торговые и дипломатические отношения двух государств постепенно развивались. В 1802 г. в русские порты пришло 80 американских кораблей с товарами, а в 1803 г. американское правительство послало консулом в С.-Петербург Леветта Харриса, который был весьма дружелюбно принят и долго исполнял не только консульские, но и чисто дипломатические обязанности в сношениях между двумя правительствами.

С 1804 года началась непосредственная переписка между Александром и Джефферсоном, в которой, по выражению современного американского историка, оба корреспондента «бросали букеты один другому». Александр получил от Джефферсона несколько книг об американской конституции и, в письме к американскому президенту от 7 ноября 1804 г., писал, что он питает «высокое уважение к нации, которая установила свободную и мудрую конституцию, обеспечивающую счастье всех и каждого», и к «добродетельному и просвещенному» главе американского правительства.<sup>2</sup>

Джефферсон в своих письмах также не скупился на комплименты по адресу своего царственного друга. Интересно, что вместо общепринятого обращения к монарху: «Ваше Величество», Джефферсон употребляет обращение: «великий и добрый друг».<sup>3</sup> (Впоследствии так же обращался Линкольн к Александру II).

В 1808 г. русское правительство послало А. Дашкова своим дипломатическим представителем в США, а в 1809 г. послало, в качестве «полномочного министра», гр. Палена (который скоро был переведен в Бразилию, тогда как Дашков остался русским представителем в США). Оба они, Дашков и гр. Пален, сообщали в Петербург о том в высшей степени дру-

жественном отношении, которое они встретили со стороны правительства и американского общества.

Летом 1809 года новый президент США Джеймс Мадисон назначил посланником в Россию выдающегося американского политика и дипломата Джона Кв. Адамса (который впоследствии был президентом США). Адамс приехал в С.-Петербург в конце октября 1809 г. и оставался здесь до апреля 1814 г.

5-го ноября Адамс был принят императором Александром в дружественной и весьма продолжительной аудиенции, наедине, без всякой официальной помпы. Император заверил американского посланника в своем дружеском расположении к президенту и к США и в том, что он находит правительственную систему США «мудрой и справедливой».

Затем император перешел к обсуждению общего политического положения в Европе. Здесь надо напомнить, что положение это и отношения между европейскими государствами были в то время весьма сложными и напряженными. После того как Наполеон и Александр заключили между собою летом 1807 года в Тильзите мир и даже «союз», Англия отказалась присоединиться к Тильзитскому договору и решила продолжать войну с Наполеоном. К борьбе военно-политической скоро присоединилась война экономическая: Наполеон провозгласил свою знаменитую «континентальную систему», которая должна была закрыть все порты континентальной Европы для английских торговых кораблей (под угрозой конфискации, если бы они явились в эти порты); британское правительство объявило блокаду всех европейских портов, которые находились под властью французского императора. Александр I, формальный союзник Наполеона, должен был присоединиться к «континентальной системе», порвать торговые и дипломатические отношения с Англией и даже объявить ей войну. При таких условиях для России особенно важными становились торговые сношения с США, но Наполеон весьма косо смотрел на американскую морскую торговлю с Европой, полагая (и не без основания), что на кораблях под американским флагом перевозились английские товары.

В разговоре 5-го ноября Александр сказал Адамсу, что теперь, когда Россия и Франция находятся в мире, главным и единственным нарушителем мира является Англия, разрушающая нейтральную морскую торговлю. Что же касается отно-

шений России и США, то, — сказал император, — между ними не может быть столкновения интересов и нет никаких причин для раздора; русско-американская торговля должна быть в высшей степени выгодна для обеих стран, и он желает ее наибольшего развития в обоюдных интересах.<sup>4</sup>

В дальнейшем Адамс часто встречался с Александром не только на официальных приемах, но — чаще — в городе, на прогулках царя, который, встречая американского посланника, дружелюбно и запросто разговаривал с ним на разные темы, начиная от погоды и кончая вопросами внешней политики.

Канцлер граф Н. П. Румянцев (управлявший министерством иностр. дел) весьма дружественно относился к Адамсу и очень часто беседовал с ним, приглашая его или в свой служебный кабинет или на обеды (общие с другими дипломатами). Во время деловых визитов к Румянцеву Адамс, конечно, больше всего говорил о защите интересов американской торговли и судоходства, но, по окончании деловых разговоров, Румянцев обычно переходил на общие темы и подолгу (и — для дипломата — откровенно) обсуждал с представителем США текущие вопросы международной политики, возникавшие в это бурное и сложное время, полное военных и дипломатических конфликтов.

В продолжительной беседе, состоявшейся 15-го ноября 1809 г., Румянцев уверял недавно приехавшего американского посланника, что дружественное отношение к США есть не временная и случайная, но твердая и постоянная политика русского правительства. Британские притязания на монопольное господство на морях и пренебрежение Англии к правам остальных наций вынуждают Россию искать опору в лице иной сильной торговой и мореходной нации, которая может быть соперницей Англии и противодействовать ее притязаниям, а такой нацией являются именно США, и потому установление постоянных и прочных дружественных отношений с заокеанской республикой диктуется насущными интересами России.<sup>5</sup> И в дальнейшем Румянцев не раз развивал эту тему.

Дружеское отношение императора и канцлера к американскому послу имело для него и печальные последствия — чрезмерное внимание со стороны петербургского придворного и аристократического света. В письмах к отцу и к матери серьезный и строгий пуританин из Массачусетса (занимавшийся

дома чтением Библии и изучением древних авторов и теологических сочинений) пишет, что единственным предметом для жалобы в его петербургской жизни является бесконечный ряд приглашений на вечера, обеды, балы, маскарады и приемы разного рода, которые он находит «чрезвычайно скучными», но от посещения которых он не может отказаться по своему официальному положению.

Однако, к императору Александру и к канцлеру гр. Румянцеву Адамс относился с большим уважением и симпатией, и свою дипломатическую службу в Петербурге ценил высоко. В феврале 1811 г. он был назначен членом Верховного Суда США, но отказался от этого высокого поста и предпочел остаться в Петербурге.

Защита Адамсом интересов американской морской торговли встречала полную поддержку со стороны русского правительства. В декабре 1809 г. датское правительство, под давлением Франции, задержало несколько кораблей с американскими товарами и намеревалось конфисковать их. Адамс сообщил об этом гр. Румянцеву; канцлер ответил, что он не может вмешиваться в действия правительства независимой державы, но обещал доложить об этом императору. Александр посмотрел на дело иначе и предписал Румянцеву сделать представление датскому правительству об освобождении американских кораблей и грузов, и Дания исполнила желание русского императора.<sup>6</sup>

Наполеон видел, что американская торговля значительно подрывает эффективность его «континентальной системы», и решил удалить американские корабли от берегов Европы. В 1809-1810 г.г. он приказал закрыть для американских кораблей все порты подвластных ему стран Европы, под угрозой конфискации кораблей и грузов в случае их появления. В 1810 году Пруссия и Дания, по требованию Наполеона, также закрыли свои порты для американских кораблей. Наполеон потребовал того же от своего союзника Александра, но Александр (в декабре 1810 г.) решительно отклонил это требование, чем вызвал гнев Наполеона, для которого это «непослушание» его «союзника» послужило одним из мотивов для надвигавшегося великого конфликта двух стран.

При весьма доброжелательном отношении русского правительства к американской торговле, для которой все порты

европейского континента, кроме русских, оказались закрытыми, в 1810-1811 гг. сотни американских торговых судов устремились в русские порты (главным образом в Кронштадт и Архангельск) и завалили русский рынок такой массой «колониальных» товаров, что предложение превысило спрос и цены на американские товары значительно упали.

22-го июля 1811 года, Адамс писал «государственному секретарю» (т. е. министру иностранных дел) Дж. Монрое, что весьма либеральное отношение русского правительства к американской торговле оказывается, в конце концов, сомнительным благодеянием: «Около 200 американских судов, нагруженных ценными товарами, уже прибыли в русские порты с начала навигации, из них около 100 в Кронштадт, и ожидается приход новых. Их груз составляют так-называемые колониальные товары — сахар, кофе, хлопок, индиго и красильные вещества, — и рынок оказался до такой степени перенасыщен этими товарами, что их трудно продавать без значительных убытков». С другой стороны, цены русских товаров, которые должны быть взяты в обмен, для обратного рейса, растут пропорционально чрезвычайному спросу на них, и таким образом платежный баланс складывается весьма неблагоприятно для американских торговцев.<sup>7</sup>

Но 1811-й год был последним годом столь высокого подъема и столь своеобразных осложнений в русско-американской торговле: в 1812-1814 гг. война России с Францией и война Англии с США привели, временно, почти к полному ее прекращению.

В июне 1812 года, одновременно с вторжением «великой армии» Наполеона в Россию, началась война США с Англией, вызванная стеснениями американской морской торговли, вплоть до захвата англичанами (на свою службу) матросов с американских торговых судов.

Политическое положение в 1812 году оказалось весьма сложным: после вторжения Наполеона в Россию русское правительство заключило не только мир, но и союз с Англией для совместной борьбы с Наполеоном, а между тем новый союзник — Англия была в состоянии войны с США. Однако Александр заверил американского посланника, что каковы бы ни были его отношения с другими европейскими державами,

ничто не может нарушить его дружественного отношения к США. (Письмо Адамса к Манрое, 11 дек., 1812 г.).

Не ограничиваясь словесными выражениями дружбы, Александр в 1812 году официально предложил свое посредничество для заключения мира между Америкой и Англией; правительство США немедленно приняло это предложение, британское правительство его отклонило.

Победы России в войне 1812 года и уничтожение «великой армии» Наполеона вызвали радость в США, особенно в мореходном и торговом Массачузетсе. 25-го марта 1813 г. в Бостоне состоялась торжественный и многолюдный «фестивал» в честь русской победы: президент Харварда Кирклэнд призвал благословение неба на собравшихся, затем следовали обед, речи, тосты, парады; вечером публика распевала сочиненную молодым поэтом кантату или оду, которая прославляла русские победы, императора Александра и русских генералов — героев 12-го года, начиная с «князя Смоленского», т. е. князя Кутузова<sup>8</sup>.

После наполеоновских войн, при новом главе российского министерства иностранных дел, гр. Нессельроде, дружественные отношения русского правительства к США сохранялись попрежнему, и новый американский посланник Пинкни, прибывший в Россию в начале 1817 года, был принят графом Нессельроде и императором Александром «с исключительной сердечностью».<sup>9</sup>

В начале 20-х годов XIX в. русско-американской официальной дружбе угрожала некоторая опасность с двух сторон. Александру, сделавшемуся в эпоху «Священного Союза» защитником политического status quo, не понравилось признание Соединенными Штатами независимости бывших испанских колоний, образовавших несколько республик в южной и средней Америке. Правительству США не понравился изданный в сентябре 1821 г. указ Александра о предоставлении Российско-Американской компании монопольного права рыболовства, торговли с туземцами и устройства поселений на территории Северо-Американского материка и прилегающих островов севернее 51-го градуса северной широты.

В декабре 1823 года, в послание президента Монрое Конгрессу, была включена знаменитая «доктрина Монрое», которая провозглашала признание независимости существующих американских государств и недопустимость дальней-

шей колонизации Американского материка европейскими державами и их вмешательства в дела американских государств.

Нет оснований соглашаться с мнением, что «доктрина Монрое» была направлена специально против России, если помнить, что в начале XIX века в делах Американского континента, кроме России, были заинтересованы и другие европейские державы — Англия, Франция, Испания.

Территориальные разногласия между правительствами России и США были очень скоро разрешены и ликвидированы заключенным в апреле 1824 г. в С.-Петербурге договором, по которому границей между русскими и американскими владениями в Северной Америке была признана линия, проходящая через 54-й градус и 40 минут северной широты.<sup>10</sup>

По смерти имп. Александра президент США Джон Кв. Адамс в своем послании Конгрессу, 5-го декабря 1826 г., констатировал, что в лице императора Александра Соединенные Штаты потеряли «испытанного, стойкого и верного друга», сделавшего все возможное для установления дружеских отношений между Россией и США, и выражал надежду на сохранение этих отношений при новом императоре.<sup>11</sup>

### США и российская интеллигенция

Если правительство Александра I в своей дружбе с США руководилось преимущественно соображениями международной политики и экономическими интересами государства, то молодая российская интеллигенция, зародившаяся в эпоху Екатерины II, с восторгом взирала на новорожденную северо-американскую республику, как на воплощение в жизни идеалов свободы и демократии, и имена вождей американской революции — Вашингтона и Франклина — были у всех на устах.

Известный деятель просвещения екатерининской эпохи Н. И. Новиков в издаваемой им газете «Московские Ведомости» и в «Прибавлениях» к ней широко освещал американские события с 1775 года и «интерес русского общества к американской революции был так велик, что тираж газеты Новикова за этот период достиг неслыханных размеров», (Е. Двойченко-Маркова, «Грани», № 27-28, 1955, стр. 227).

В 1784 г. Новиков поместил в «Московских Ведомостях» «Краткое описание жизни и характера генерала Вашингтона»,

которое заканчивалось словами: «Рим имел Камилла, Греция имела Леонида, Швеция — Густава, Англия — Русселя и Сиднея. Однако же, сии славные герои не равняются Вашингтону, Он основал республику, которая, вероятно, будет прибежищем свободы, изгнанной из Европы роскошью и развратом». (Е. Двойченко-Маркова в «Н.Р.С.», 22 февр. 1951 г.).

Такою же популярностью как Вашингтон пользовался в России и его сподвижник, знаменитый ученый и дипломат Франклин, который в 1789 г. был избран почетным членом Российской Академии Наук.

Духовный родоначальник русской радикальной интеллигенции А. Н. Радищев в своем «Путешествии из Петербурга в Москву» (1790 г.) хвалит надпись на памятнике Франклина, «надпись, начертанную не ласкательством, но истинною держаущею на силу»: «се исторгнувший гром с небеси и скипетр из руки царей» («Путешествие», стр. 450).

В своей известной оде «Вольность» Радищев, обращаясь своей «вспаленной душой» к «словутой стране» американской, освободившейся от власти тирана, восклицает:

«Ликуешь ты, а мы здесь страждем!

Того ж, того ж и мы все жаждем», —

и выражает желание быть похороненным в свободной американской земле. (Материалы к изучению «Путешествия», «Академия», 1935, стр. 228)

Впрочем надо заметить, что Радищев сурово осуждает новую Америку за кровавое подавление «природных ее жителей» — индейцев, и за жестокую эксплуатацию рабского труда негров («Путешествие», стр. 249-251).

Не только пылкий революционер Радищев, но и умеренный и спокойный Н. М. Карамзин восхвалял вождей американской революции Вашингтона и Франклина среди великих людей, которых породил XVIII век, тогда как его отношение к французской революции, которую он наблюдал «воочию» в 1790 году, было весьма скептическим.\*

---

\* Вот его краткая но выразительная характеристика действующих лиц французской драмы: «Те, которым терять нечего, дерзки, как хищные волки; те, которые всего могут лишиться, робки, как зайцы» (Избранные сочинения, т. I, 1964, «Письма русского путешественника», стр. 381).

В первой четверти XIX века вся передовая российская интеллигенция (включая будущих декабристов) с интересом, симпатией или с восторгом (смотря по темпераменту) смотрела на молодую северо-американскую республику.

В сочинениях и в показаниях декабристов Соединенные Штаты упоминаются многократно и всегда в положительной оценке.

В «Записках» князя С. Г. Волконского (СПб. 1901) читаем о его намерении (после войны 1812-1814 гг.) исколесить всю Европу и «посетить и прочие части света, особенно Американские Штаты, занимавшие тогда умы нашей русской молодежи по их самостоятельному быту и по демократическому политическому составу». (стр. 327).

Барон А. Е. Розен замечает в своих «Записках»: «...в Американских Штатах говорят на двадцати языках, в каждом городе и на каждой улице найдете церкви и молельни всех вероисповеданий. Там национальность не разбирается по лицу, по вере и языку; все без различия граждане американские, с равными правами гражданства» (в отличие от Радищева, А. Е. Розен забывает о неграх и индейцах). («Записки декабриста», СПб. 1907, стр. 55).

Пылкий декабрист П. Г. Каховский писал 24-го февр. 1826 г. из тюрьмы одному из следователей по делу о восстании 14-го декабря, генерал-адъютанту Левашову: «Мы свидетели великих происшествий. Образование Нового Света, Северо-Американские Штаты своим устройством подвинули Европу к соревнованию. Они будут сиять в пример и отдаленному потомству. Имя Вашингтона, друга, благодетеля народного, пройдет из рода в род; при воспоминании его закипит в груди граждан любовь к благу и отечеству». («Из писем и показаний декабристов», 1906, стр. 12).

Лидер «Южного Общества» П. И. Пестель на вопрос следственной комиссии: — под какими влияниями сложились его республиканские убеждения — назвал некоторые книги и добавил: «Все газеты и политические сочинения так сильно прославляли возрастание благоденствия в северных Американских Соединенных Штатах, приписывая сие государственному их устройству, что сие мне казалось ясным доказательством в превосходстве Республиканского Правления». («Восстание Декабристов», т. IV, 1927, стр. 91).

Один из лидеров «Северного Общества», Никита Мих. Муравьев составил для будущей России проект конституции (одобренный большинством членов «Северного Общества») явно по образцу конституции США, и некоторые статьи муравьевского проекта представляют просто перевод соответствующих статей американской конституции. («Избран. Произв. Декабристов». т. I, 1951, стр. 295-329).

Будущее Российское государство должно представлять собою федерацию из 13-ти «держав» (соответствующих американским штатам) и двух особых областей — Московской и Донской, — ибо только «федеральное или союзное правление» может согласовать «величие народа и свободу граждан». Правда, во главе исполнительной власти, по муравьевской Конституции, стоит наследственный император, а не выбранный президент, но император есть только «верховный чиновник российского правительства», и его права и полномочия очерчены в точном согласии с правами и полномочиями президента США. Законодательной властью, по проекту Муравьева, обладает «Народное Вече», состоящее из двух палат: «Верховной Думы» и «Палаты народных представителей», соответственно двум палатам Конгресса США. Члены Палаты представителей переизбираются каждые два года (как в США); треть Верховной Думы «возобновляется каждые два года новым избранием» (как в Сенате США).

Император, по проекту Муравьева, «ведет дела внешних сношений и, с совета и согласия Верховной Думы», назначает высших чиновников государственного управления (точный перевод соответствующих постановлений американской конституции о правах и полномочиях Президента США и об отношении Сената к исполнительной власти). Здесь надлежит сделать существенную оговорку. Принимая политические **формы** американской конституции, Н. Муравьев существенно отклоняется от ее демократического **содержания**, ибо он вводит в свой проект для активного и пассивного избирательного права довольно высокий имущественный ценз, которого не требует федеральная американская конституция.

### При Николае I традиция дружбы продолжается

Правительство Николая I сохраняло и продолжило тра-

дицию дружественных отношений с США (см. примечание 12).

В декабре 1832 года между Россией и США был заключен в С.-Петербурге договор «О навигации и коммерции», который предоставлял сторонам обоюдно права «наиболее благоприятствуемых наций»<sup>13</sup> и который сохранял свою силу в течение 80 лет.

До приобретения Россией средне-азиатских владений (в 60-х гг. XIX в.) и развития собственного хлопководства весьма важное значение в экономической жизни России имел импорт американского хлопка, снабжавший сырьем быстро развивавшуюся хлопчатобумажную промышленность центральных губерний.

Задумав строить железную дорогу между Петербургом и Москвой, Николай I в 1842 г. пригласил на русскую службу американского инженера Джорджа Уистлера, который был «наблюдателем» и консультантом при постройке Николаевской железной дороги, а также при постройке или перестройке береговых укреплений, арсенала и доков в Кронштадте; правительство награждало американского инженера русскими орденами, а сын его обучался в императорской академии художеств (умер Уистлер в Петербурге в 1849 г.).<sup>14</sup>

Подавление Николаем I венгерского восстания в 1849 г., конечно, вызвало недовольство и осуждение в либеральных и радикальных кругах американского общества, но традиционная русско-американская дружба пережила это испытание, и во время Крымской войны (1853-1856 гг.), когда правительство США, конечно, сохраняло нейтралитет, общественное мнение и пресса оказались на стороне России, а не на стороне англо-франко-турецкой коалиции.

Русское посольство в Вашингтоне было «наводнено» просьбами американских граждан о принятии их волонтерами в русскую армию. Из штата Кентуки поступила просьба от 300 «стрелков» о посылке их в армию, защищающую Севастополь.<sup>15</sup>

Русское правительство, конечно, воздержалось от вербовки американских волонтеров в русскую армию, но 30 американских врачей-хирургов пробрались в осажденный Севастополь и принимали деятельное и самоотверженное участие в помощи русским раненым и на поле сражения и в военных и морских госпиталях. Перед концом осады в Севастополе

вспыхнула эпидемия тифа и холеры, и половина героических американских друзей русского народа и русского солдата погибли от этих болезней.

Что касается общественного мнения в России, то русская легальная печать в эпоху николаевской цензуры, конечно, не могла бы восхвалять политическую свободу и либерально-демократический строй заокеанской республики, но в мемуарах, относящихся к этой эпохе, находим иногда заметки о том, что интерес и симпатию к США можно было встретить в самых неожиданных местах.

А. И. Герцен, высланный из Москвы и отданный под надзор полиции, служил в 30-х годах XIX века в Вятке мелким чиновником губернского правления. В 1838 году в Вятку был назначен новый губернатор Корнилов, служивший до того в Петербурге полковником в одном из гвардейских полков. Он, — рассказывает Герцен, — был воспитанник Лицея, «покупал новые французские книги, любил беседовать о предметах важных, и дал мне книгу Токвиля о демократии в Америке на другой день после приезда». («Былое и думы», 1946, стр. 158).

Еще более интересное и удивительное сообщение встречаем в «Записках революционера» князя П. А. Кропоткина. В середине XIX столетия генерал-губернатором Восточной Сибири был граф Н. Н. Муравьев-Амурский, выдающийся администратор и человек весьма либеральных убеждений, желавший «работать на пользу края». Кропоткин, окончив в 1863 г. Пажеский корпус, по своему желанию поехал на службу в Сибирь офицером одного из казачьих полков, и занимался работами по исследованию Амурской области. К этому времени, — пишет Кропоткин, — «Муравьеву удалось отделаться почти от всех старых чиновников, смотревших на Сибирь, как на край, где можно грабить безнаказанно, и он окружил себя, большею частью, молодыми честными офицерами, из которых многие имели такие же благие намерения, как и сам он. В его кабинете молодые люди, вместе с сосланным Бакуниным (он бежал из Восточной Сибири за границу в августе 1861 года), обсуждали возможность создания Сибирских Соединенных Штатов, вступающих в федеративный союз с Северо-Американскими Соединенными Штатами». («Записки революционера», 1933, стр. 111).

А. И. Герцен, который эмигрировал из России в 1847 году

и, после неудачной революции 1848 года, разочаровался в Западной Европе, обращал свои взоры к Америке. В письме из Парижа, 1-го июня 1849 года, он восхвалял политический строй северо-американской республики в следующих выражениях: «Все, что могла дать конституционная республика в разумнейшем развитии своем, все осуществлено по ту сторону океана. Северо-Американские Штаты, что ни толкуют болезненно романтические души, которым все простое и здоровое противно, государство возмужалое, трезвое, умное. Политическая республика, к которой стремился либерализм XVIII столетия, там водворена, права, о которых столько говорили французы, там приобретены. Вы можете быть оскорблены в Северо-Американских Штатах общественным мнением, их образом жизни, но не властью, — там никогда не считали правительственное святым, там почти нет бюрократии, этого позорного бича, обмакнутого в чернила, которым на-днях хвастался спьяну король прусский; там нет шпионства, нет марсомании и бешенства к мундирам; там не понимают, что такое стеснение книгопечатания». («Собр. сочинений», т. V, 1955, стр. 184-185).

Через 8 лет Герцен писал: «Если бы я не был русский, я давным давно уехал бы в Америку».\*

### **Расцвет русско-американской дружбы при Александре II**

Наиболее полно, ярко и политически эффективно русско-американская дружба проявилась в царствование имп. Александра II, особенно в 60-е годы XIX века. Прежде чем излагать относящиеся сюда факты, надо вспомнить общее международное положение того времени. Руководители британской внешней политики во второй половине XIX века (особенно Пальмерстон и Дизраели) считали необходимой борьбу против русского

---

\* Собрание сочинений, т. XII (Москва, 1957). «Еще вариация на старую тему» (Письмо к другу из Лондона, 3-го февр. 1857 г.), стр. 433. В этом письме Герцен подробно высказывает свои мысли об Америке.

В пределах настоящего очерка я не могу излагать взгляды на Америку русских политических радикалов второй половины XIX века. На эту тему существует специальный труд: David Hecht, *Russian Radicals Look to America, 1825-1894. Harvard University Press.* 1947. В этой книге подробно излагаются взгляды на Америку Герцена, Огарева, Чернышевского, Бакунина, Лаврова и Чайковского.

империализма и защиту не только европейской, но и турецкой, персидской, афганской, туркменской, монгольской и всякой иной цивилизации против русского варварства; поэтому интересы и стремления России и Англии постоянно сталкивались и в Европе (гл. обр. на Балканах), и в Азии, и напряженные отношения между двумя державами не раз угрожали перейти в открытую войну.

А на другой стороне Атлантического океана быстро возраставшее торгово-промышленное и морское могущество США делало их соперником «царицы морей». В 1861 году весь тоннаж торгового флота Великобритании с ее многочисленными колониями составлял 5.895.000 тонн, а тоннаж США — 5.539.000 тонн и тоннаж всех остальных стран мира вместе взятых — 5.800.700 тонн. «Уже в тот момент для владычицы морей — Англии возникла реальная угроза потерять свое первенство. Действительно, США становились руководящей торгово-морской державой, располагавшей целой третью всего мирового тоннажа, при чем 63% торгового флота обслуживали за границу». («Красный Архив», т. 94. 1939, стр. 101).

Союзником Англии был французский император Наполеон III, обладавший честолюбием и завоевательными стремлениями своего великого дяди, но не обладавший его талантами и могуществом. В начале 60-х годов он составил столь же смелый сколь нелепый план образования Мексиканской империи (под французским протекторатом) и для осуществления этого плана в 1861-62 гг. послал в Мексику французские войска, а в 1864 г. послал «императора» (австрийского эрцгерцога Максимилиана). Разумеется, эта затея вызвала негодование в Америке, и как только окончилась гражданская война в США (1865 г.), американское правительство потребовало отозвания французских войск с американского континента; после их удаления несчастный «император» был взят в плен и расстрелян мексиканцами.

Таким образом, расположение четырех великих держав явно складывалось так: на одной стороне — Англия и Франция, на другой — США и Россия.

Это размещение политических сил проявилось немедленно, как только в США началась гражданская война между Севером и Югом (1861 г.)

Российский посол в Лондоне барон Бруннов доносил в

1861 г., что британское правительство желает распада США на две соперничающих республики, над которыми Англия могла бы господствовать. Англия и Франция признали за южной конфедерацией право «воюющей стороны», и хотя формально объявили себя нейтральными в войне Севера с Югом, но в действительности всячески помогали южанам, строили для них корабли, которые нарушали блокаду южного побережья, объявленную Линкольном, снабжали их необходимыми для продолжения борьбы припасами и денежными средствами.

Совершенно противоположным было отношение русского правительства к США и к американской гражданской войне. Вице-канцлер и министр иностранных дел князь Горчаков с самого начала конфликта неоднократно и настойчиво заявлял в своих депешах российскому посланнику в Вашингтоне барону Стекло и в своих обращениях к американским посланникам в С.-Петербурге — Камерону, Тэйлору и генералу Клею, — что император Александр, русское правительство и вся русская нация преисполнены самых дружеских чувств к США и желают скорейшего прекращения гражданской войны и восстановления единства, процветания и могущества «Унии», которая является существенным элементом мирового политического равновесия.

В телеграмме от 9 янв. 1862 г. Горчаков поручал Стекло: «Благоволите, милостивый государь, выразить федеральному правительству эти пожелания Императора (о восстановлении мира в США) и вновь заверить его в том, что Его Императорское Величество с удовлетворением увидел бы укрепление Американского Союза», который «вернулся бы к условиям мощи и процветания, которых мы ему желаем не только в силу соединяющей обе страны сердечной симпатии, но еще и потому, что от сохранения его могущества в высшей степени зависит всеобщее политическое равновесие». («Красный Архив», т. 94 стр. 122).

В беседе с представителем США Тэйлором в октябре 1862 г. Горчаков сказал ему: «Пусть ваше правительство знает, что раскол Союза, которого я опасаюсь, рассматривается Россией, как одна из величайших возможных катастроф». («Красн. Архив», т. 38, стр. 155).

В ответ на письмо американского посла в Петербурге ген. Клея кн. Горчаков писал ему (15 июня 1862 г.), что им-

ператор поручил выразить его «живые, глубокие и неизменные симпатии к Американскому Союзу» и его желание скорейшего прекращения внутренних раздоров и возвращения Союза к его прежнему величию.\*

Президент Линкольн и правительство США высоко ценили отношение России — своего единственного друга среди европейских великих держав — и не раз выражали свою благодарность государю и России за это отношение. 11 янв. 1862 г. Линкольн писал в **частном** письме американскому посланнику в С.-Петербурге С. Камерону (желавшему покинуть свой пост), что он может сослужить для США важную службу, «находясь вблизи великого монарха, которого личная и наследственная дружба к США сделала его таким дорогим для американского народа».<sup>16</sup>

В 1862 г. дружеское отношение России к США конкретно проявилось в вопросе о дипломатическом признании Южной конфедерации. Французское правительство обратилось к русскому правительству с предложением, чтобы три правительства — английское, французское и русское — предложили правительству США заключить перемирие с Южной федерацией. Это, в сущности, означало бы дипломатическое признание «двух Америк»; российское правительство решительно отказалось от участия в таком выступлении и тем расстроило англо-французскую дипломатическую комбинацию.

Надо заметить, что дружественное отношение к США во время кризиса 1861-1865 гг. проявляло не только прави-

---

\* *The Life of Cassius Marcellus Clay. Memoirs, Writings, and Speeches.* Vol. I, 1886, pp. 338-339. Генерал Клей, бывший американским посланником в С.-Петербурге 9 лет (с 1861 по 1869 г., с кратким перерывом в 1862-63 гг.), стал искренним другом России. В своих мемуарах, изданных в 1886 году, он защищает Россию и русское правительство от тех упреков и обвинений, которые в то время начали раздаваться в руссофобской печати. В частности, он указывает на отсутствие в России национального шовинизма и дискриминации в отношении покоренных народов: Россия их ассимилирует, — говорит он, — а Англия их порабощает. Интересно, что он здесь же делает такое предсказание: «Великая мировая Британская империя быстро идет к своему разложению» (стр. 445), хотя в то время Британская империя, повидимому, стояла еще на вершине своего могущества.

тельство, но и русское общество и печать разных направлений (и по разным мотивам). В этом сходились такие политические «антиподы» как революционер-народник Чернышевский и националист и умеренный либерал М. Н. Катков (который впоследствии стал литературным столпом реакционной партии). Чернышевский (в своем «Современнике») естественно желал победы Севера над южными плантаторами, державшими в рабстве миллионы негров. Катков (в «Московских Ведомостях») видел в Соединенных Штатах надежных и «естественных» союзников России в случае возникновения войны в Европе, где у России не было союзников (в передовой статье 4 окт. 1863 г.).

Наконец, следует отметить, что были русские люди, решившиеся помогать северным штатам с оружием в руках и вступавшие добровольцами в американскую армию. Среди них наиболее известным был И. В. Турчанинов, бывший полковник генерального штаба, по происхождению донской казак, который в 1856 г. эмигрировал в Америку. В гражданскую войну бригадный генерал «Турчин» прославился своей безумной храбростью и «заслужил» прозвище «бешеный казак».

1863-й год был годом весьма тревожным в международно-политических отношениях и Старого и Нового света. При продолжающейся гражданской войне в Америке, в январе этого года в Польше вспыхнуло восстание против русского владычества и образовалось временное правительство, которое провозгласило независимую Польскую республику. Правительства Англии, Франции и Австрии заявили русскому правительству, что русско-польский вопрос должен быть решен на международной конференции. Франция обратилась к правительству США с приглашением присоединиться к выступлению трех держав в пользу Польши, но Линкольн и Сьюард решительно отказались принять участие в дипломатическом давлении на Россию.

Летом и осенью 1863 года политическое положение в Европе продолжало оставаться напряженным, и нельзя было еще предвидеть, ограничится ли конфликт между Россией и западно-европейскими державами из-за Польши дипломатическими нотами, или дело дойдет до вооруженного столкновения. И вот осенью этого года совершилось неожиданное и загадочное событие (смысл которого раскрылся много позже):

две эскадры русских военных судов появились у берегов Америки: эскадра из Балтийского моря (в составе трех фрегатов, двух корветов и одного клипера), под командой контр-адмирала Лесовского, явилась в порт Нью-Йорка, и небольшая тихоокеанская эскадра, под командой контр-адмирала Попова — в Сан-Франциско.

Получив в сентябре 1863 г. от русского правительства известие о выходе балтийской эскадры к берегам США, Стебль уведомил об этом американское правительство и получил (23 сент. 1863 г.) от морского министра Уэллиса ответ, что «присутствие в наших водах эскадры, принадлежащей флоту Его Величества, может быть только источником радости и счастья для наших соотечественников», и что «все приспособления бруклинских верфей будут предоставлены в распоряжение адмирала Лесовского для всякого ремонта и с радостью будет ему оказано всякое содействие во всем чего он пожелает». («Красн. Архив», т. 38, стр. 157)

Дополнительно Стебль доносил кн. Гарчакову, что им получено от морского министра США официальное извещение, что «армиралу Паулдинг'у отдан приказ предоставить в распоряжение нашей эскадры нью-иоркское адмиралтейство на случай если наши суда будут нуждаться в какой-нибудь починке, и вообще оказывать нашим морякам все услуги, какие им могут потребоваться. («Красн. Архив», т. 94, стр. 137).

Прибытие двух эскадр русского военного флота вызвало взрыв восторженной радости в американском обществе, недоумение и недовольство западно-европейских правительств. И друзья и враги предполагали (ошибочно, как выяснилось впоследствии), что между правительствами России и США заключен какой-то секретный военно-политический договор о взаимной помощи.

Раньше чем в нью-иоркский порт пришла вся эскадра адм. Лесовского (в конце сентября 1863 г.), туда пришел фрегат «Ослябя». Супруга президента, г-жа Линкольн, находившаяся в то время в Нью-Йорке, посетила русский военный корабль и «была в восторге от оказанного ей приема», как доносил Стебль кн. Горчакову. («Красн. Архив», т. 94, стр. 136).

Вскоре после прибытия всей эскадры адм. Лесовского началась непрерывная цепь манифестаций русско-американской дружбы — балы, парады, приемы, обеды с множеством тостов,

встречи с бесчисленными делегациями. Русские моряки устраивали ответные балы и приемы на своих кораблях. Американская пресса была полна статей, посвященных русским гостям, и описаниями торжеств, связанных с их приемом. (См. «Столетняя годовщина прихода русских эскадр в Америку, 1863-1963». Изд. В Камкина, 1963).

В декабре адм. Лесовский и его офицеры были приняты Президентом Линкольном в Белом Доме. В это время русская эскадра стояла на якоре у берегов столицы; Стебль и Лесовский, через «государственного секретаря» Сьюарда, пригласили всех членов Конгресса посетить русские корабли и, в назначенное время, приняли на борту флагманского корабля «Ослябя» пятьсот человек сенаторов, членов палаты представителей и членов их семейств. («Красн. Архив», т. 94, стр. 139).

Подобные празднества и чествования русских моряков эскадры адм. Попова происходили и в Сан-Франциско.

Присутствие русских эскадр в США и связанные с ним манифестации русско-американской дружбы оказали существенную морально-психологическую поддержку правительству и обществу США в тяжелое время гражданской войны\* и, вероятно, оказали некоторое сдерживающее и отрезвляющее влияние на противников.

«Визит» русских эскадр в США затянулся на 7 месяцев (до лета 1864 г.). Скрытый смысл их пребывания в США раскрылся после опубликования секретных документов императорских архивов.

Летом 1863 года российское правительство, опасаясь войны с западными державами (из-за Польши) не хотело, чтобы весь балтийский флот был обречен на бездействие, запертый англичанами в Кронштадте. Поэтому было решено послать две эскадры быстроходных судов в Атлантический и в Тихий

---

\* Эскадра адм. Попова в Сан-Франциско обменялась со своими хозяевами услугами не только морального характера: американские моряки подобрали и доставили в безопасное место матросов с корвета «Новик», потерпевшего крушение недалеко от Сан-Франциско, а русские моряки, под командой адм. Попова, мужественно и самоотверженно боролись с огромным пожаром в Сан-Франциско 23-го октября 1863 г., спасая жителей из горящих домов; при этом многие получили сильные ожоги и увечья, от которых шесть матросов умерли в местном морском госпитале.

океаны, чтобы они, опираясь на порты дружественной морской державы (а такую были только США) могли наносить крейсерскими операциями максимально возможный вред английской морской торговле. Инструкция морского министерства, от 14-го июля 1863 г., подписанная управляющим морским министерством адм. Н. Краббе, гласила: «...П. 3. Цель отправления вверяемой вашему начальству эскадры состоит в том, чтобы, в случае предвидимой ныне войны с западными державами, действовать всеми возможными и доступными вам средствами против наших противников, нанося посредством отдельных крейсеров наичувствительнейший вред и урон неприятельской торговле или делая нападения всею эскадрою на слабые и мало-защищенные места неприятельских колоний». («Красн. Архив» т. 38, стр. 159).\*

В 1865 г. гражданская война в США окончилась победой Севера и в этом же году президент Линкольн пал жертвой покушения. Его смерть произвела потрясающее впечатление в США и вызвала отклики горячего сочувствия со стороны русского правительства и общества. А в апреле 1866 года в Петербурге раздался выстрел Каракозова. Покушение на жизнь государя, освободившего крестьян от крепостной зависимости и бывшего верным другом Америки, вызвало негодование в США (оно было приписано врагам эмансипации) и живейшую радость по случаю сохранения жизни Царя-Освободителя.

16-го мая 1866 г. Конгресс США, в соединенном заседании Сената и Палаты Представителей, принял резолюцию и обращение к императору Александру, в которых он поздравлял императора и русский народ с избавлением от грозившей им опасности, вспоминал неизменно дружеское отношение царя к США и освободительные реформы, произведенные им в России, вспоминал недавнее тяжкое горе Америки, потерявшей «нашего главу, нашего вождя, нашего отца» и выразил

---

\* Истинную цель посылки русских эскадр в США обнаружил еще до революции американский историк Ф. А. Голдер. Он, с разрешения морского министра, работал в архиве морского министерства и, в результате, опубликовал статью: "The Russian Fleet and the Civil War" in: "The American Historical Review," Vol. XX (1915), pp. 801-812.

благодарение Богу за то, что Он спас от подобного горя «наших друзей и союзников — русский народ».<sup>17</sup>

Для того, чтобы послать резолюцию Конгресса русскому императору, правительство США избрало торжественный и совершенно необычайный способ: оно снарядило монитор (броненосец) «Миантоном», придало ему, для сопровождения, корабль «Августа» и поручило помощнику морского министра Густаву Фоксу отвезти резолюцию Конгресса в Россию и вручить ее лично Императору.\*

В июле тяжеловесный американский «письмоносец» прибыл в Россию, и 27-го июля американское посольство было принято имп. Александром в Петергофском дворце. Вручая императору резолюцию Конгресса, глава посольства произнес речь, начинавшуюся словами: «Постановление Конгресса, которое я имею честь представить вашему величеству, есть голос целого народа. Единое сердце говорит миллионами уст. Многообразные узы, искони соединявшие великую империю на Востоке с великою республикою на Западе, умножились и окрепли под влиянием неизменной дружбы, явленной императорским правительством к правительству нашей республики в течение последнего периода наших политических потрясений. Сочувственные и дружественные слова, обращенные в то время к вашингтонскому правительству по приказанию Вашего императорского величества, начертаны навеки в памяти благодарного народа»... (описание петергофского приема см. Лубат, стр. 89-90 и С. Татищев «Император Александр II, т. II, изд. 2-е, стр. 12-13).

«Император Александр отвечал, что он радуется дружественным отношениям между Россией и Соединенными Штатами и что ему приятно видеть эти отношения столь высоко ценимыми в Америке. Он уверен, что братство двух народов пребудет вечным, и со своей стороны будет всеми силами содействовать поддержанию его и укреплению этих связей».

«Заатлантических друзей... чествовали рядом блестящих празднеств при дворе и во всех слоях русского общества. За обедом в Петергофском дворце государь пил за благоден-

---

\* Это весьма оригинальное и интересное путешествие подробно описано в книге секретаря американского чрезвычайного посольства Лубата. (см. прим. 18).

ствие великой Северо-Американской республики и за вечную дружбу ее с Россиею. В честь дорогих гостей даны были обеды от имени русского флота в Кронштадтском морском собрании, петербургскою и кронштадтскою городскими думами и главнейшими из петербургских клубов. Такие же чествования повторялись в Москве, Нижнем Новгороде, Костроме, Угличе, Твери, которые посетили американцы, и где обеды у должностных лиц и в общественных собраниях чередовались с праздниками в частных домах, у вельмож и именитых купцов» (Татищев, т. II, стр. 13).

В городах, куда приезжали американцы, и на железнодорожных станциях по пути их следования собирались огромные толпы народа, шумно приветствовавшие дорогих гостей. Из городов, куда не предполагался приезд американской делегации, приходили на имя Фокса приветственные телеграммы.

Москва, Петербург, Кронштадт и Кострома выбрали Фокса своим почетным гражданином, и даже маленький уездный городишка Тверской губернии Корчева (с 3-мя тысячами населения) пожелал оказать эту честь Фоксу и себе.

Фокс и его спутники получили множество подарков, начиная от дорогих ваз и цветов, и кончая автографами писем или стихотворений Петра Великого, Державина, Пушкина и Жуковского.

И тогда были предприимчивые люди: перед путешествием американцев по Волге было изготовлено множество карточек («открыток») с фотографией Фокса, и в Нижнем Новгороде за время пребывания там американской «миссии» было продано свыше 20 тысяч таких карточек (Лубат, стр. 301).

Пришлось американским гостям пережить и особое проявление русской дружбы. В Кронштадте, 28-го июля, после банкета с речами и тостами, когда старшие офицеры русского флота удалились, молодые начали «качать» американцев, т.е. подбрасывать их в воздух, ловить и снова подкидывать. Эта форма чествования весьма изумила американских гостей и не очень понравилась им (стр. 113), но они должны были терпеливо перенести и эту своеобразную манифестацию русской души.

По возвращении гостей в Петербург после их триумфального путешествия по России, их еще раз чествовали в Английском клубе парадным банкетом, на котором князь Горчаков

произнес большую речь о русско-американской дружбе (стр. 341-346).

29-го августа Фокс, Лубат и командиры двух американских судов были в Царском Селе приняты императором Александром в простой и весьма сердечной прощальной аудиенции, и 3-го сентября американская «миссия» покинула Кронштадт и Россию.

По приезде американской миссии в Россию император Александр послал (5 авг.) президенту США А. Джонсону благодарственную телеграмму за присылку миссии, подписавшись: «Ваш добрый друг Александр» (Лубат, стр. 304-305).

По возвращении в США Фокс 30-го сент. представил «государственному секретарю» Сьюарду сначала краткое донесение о своей поездке в Россию, а затем дополнительно, 25-го февр. 1867 г., он представил донесение, в котором давал суммарное описание того приема, который его миссия встретила в России (стр. 415-416): «То что я писал сам, и то, что писалось в прессе не в состоянии дать достаточное представление об энтузиазме русского народа в отношении к Соединенным Штатам, которым он со всею искренностью желает процветания и могущества». Упомянув о проявлениях симпатии к США, которые миссия дружбы слышала из уст императора и князя Горчакова, Фокс продолжал: «Толпы народа, которые собирались вокруг нас при всех встречах общественного характера,... цветы, которые подносились нам, многочисленные подарки, которые подносились нам при всяком подходящем случае,... глубокое чувство, которое народная масса проявляла всякий раз как только было упомянуто имя нашей страны, и многие (иные) трогательные случаи проявления этих симпатий, — все это не было проявлением любопытства или результатом официальной подготовки. Русские давно привыкли к встречам пышных посольств могущественных монархических дворов. Теперь это было сердечное проявление народных симпатий к нашей стране, вызвавшее эти совершенно необычные манифестации, обращенные к послам доброй воли».

Когда вся Россия приветствовала дорогих американских гостей, издатель «Московских Ведомостей» М. Н. Катков писал (в передовой статье 13 авг. 1866 г.): «Происходящее перед нашими глазами сближение двух великих народов Старого и Нового Света, этот обмен изъявлений взаимной националь-

ной дружбы между Россией и Америкой, есть факт великой важности, и притом нечто новое, нечто *sui generis*. — «Россия и Соединенные Штаты Америки, вот естественный и крепкий союз, который послужит основой новой системы политического равновесия. Этот союз упразднит систему искусственных и фальшивых союзов». — «Союз с Соединенными Штатами есть единственный надежный для нас союз, единственный согласный с нашими интересами». (См. «Собрание передовых статей».)

В 1867 году российское правительство за гроши (за 7 милл. долларов) «продало» Соединенным Штатам огромную территорию Аляски. Конечно, уступка другому государству обширной пограничной (т.е. отделенной узким проливом) территории возможна была только в том случае, если «продавец» не ожидал в будущем от «покупателя» никаких политических или военно-стратегических неприятностей.

В 1871 году Александр II послал в Соединенные Штаты с «миссией дружбы» своего сына Алексея, которого Америка весьма радушно встретила. Дружественные отношения двух стран и их правительств продолжались до смерти Александра II.

Убийство Царя-Освободителя (1-го марта 1881 г.) произвело в США гнетущее впечатление. Сенат, в специальной сессии 14-го марта, единогласно принял резолюцию, которая сурово осуждала убийство, вспоминала дружеские отношения между народами и правительствами России и США, которым так много содействовал покойный император, и выражала искреннее сочувствие правительству и народу России в постигшем их горе.

Законодательное собрание штата Нью Йорк также приняло резолюцию, выражавшую глубокую скорбь американского народа, осуждавшую убийство и вспомилавшую дружеское отношение Александра II к США в тяжелое время гражданской войны.<sup>19</sup>

### **Старая дружба идет на убыль**

С начала 80-х годов XIX века традиционная русско-американская дружба идет на убыль. Охлаждение американского общественного мнения и правительства в отношении к офи-

циальной России было вызвано, главным образом, двумя факторами: дискриминацией против евреев в России и затем (с конца XIX века) агрессивной империалистической политикой русского правительства на Дальнем Востоке.

В начале 80-х годов произошло несколько анти-еврейских погромов в юго-западных городах. Министр внутренних дел гр. Толстой (в 1882 г.) приказал губернаторам не допускать повторения погромов, но правительство Александра III проводило политику стеснения личных и имущественных прав евреев. В 1891 г. администрация выселила из Москвы несколько тысяч евреев-ремесленников, давно и спокойно там проживавших (при Александре II евреям-ремесленникам было дозволено повсеместное «право жительства» в России). Опасения погромов и стеснения личных прав и экономических возможностей вызвали массовую эмиграцию евреев в Соединенные Штаты, и эти новые американцы, естественно, принесяшие с собою чувства обиды и возмущения, возбуждали общественное мнение США против официальной России.

В связи с легальными ограничениями «лиц иудейского вероисповедания» в России\* скоро возник длительный дипломатический конфликт между двумя правительствами. Американское правительство требовало, чтобы евреи — американские граждане, приезжая в Россию, пользовались всеми личными и имущественными правами, которыми пользовались все иностранцы. Русская бюрократия затруднялась предоставить евреям-иностранцам те права повсеместного жительства, свободы занятий, приобретения недвижимых имуществ (вне «черты оседлости») и т.д., которых не имели евреи русские подданные, и дипломатические переговоры по этому вопросу оставались безрезультатными.

В 1903 году кишиневский погром, в котором было убито 45 евреев и ранено много больше, вызвал всеобщее возмущение, а затем погромы 1905-1906 гг. вызвали новую волну еврейской эмиграции в Америку, а между правительствами произошло новое обострение отношений по вопросу о легальном положении в России евреев-американцев, и наконец, в 1911-1912 гг. Конгресс и правительство США демонстративно ан-

---

\* Юридически дискриминация против евреев в России носила не расовый, а религиозный характер.

нулировали торговый договор с Россией, заключенный в 1832 году.\*

Помимо еврейского вопроса, усилению недовольства общественного мнения США официальной Россией в 90-х годах XIX века много способствовало известное сочинение Дж. Кеннана, представившее американской публике преувеличенномрачное описание сибирской ссылки и преувеличенно-светлое изображение политических ссыльных.

На другой стороне океана отношение к США в конце XIX и в начале XX в. тоже значительно отдалилось от тех времен, когда на почве симпатий к великой заокеанской республике сходились Александр I с декабристами и Александр II с Герценом. Для обоих крайних флангов русской общественности — правого и левого — США из друзей превратились в неприятелей. Вышедшие на арену публичной политической деятельности в 1905 году правые организации и группы, в примитивной идеологии которых антисемитизм играл большую, едва ли не главную роль, рассматривали Америку как еврейское царство, и были возмущены требованием «привилегий» для американских евреев в России и демонстративным расторжением торгового договора.

На другом фланге русской общественности неприязнь к Америке исходила из других оснований. В 90-х годах XIX в. марксизм (или т.наз. «научный социализм») широко распространился в левых кругах российской интеллигенции и был почитаем ею за непреложную истину. Как известно, «по Марксу» всякое «буржуазно-капиталистическое» государство, независимо от его внешних форм, по существу представляет собою организацию классового господства буржуазии для

---

\* Судя по данным официальной статистики о внешней торговле за 1913-й год, этот демонстративный акт Конгресса не отразился заметно на торговых оборотах между двумя странами. За 5-тилетие 1908-1912 гг. средний годовой вывоз товаров из России в США составлял сумму 11,1 милл. рублей, привоз из США — 80,3 милл. руб.; в 1913 г. соответственные суммы были 14,2 милл. руб. и 79,1 милл. руб. («Статистический ежегодник России 1914 г.», отдел X, стр. 30-31). Надо иметь в виду, что данные официальной статистики о размерах русско-американского товарообмена не показывают его полной картины, ибо значительная его часть проходила через руки английских и немецких торговых фирм.

эксплуатации рабочего класса, и потому США, как страна капиталистическая *par excellence*, никак не могла пользоваться симпатиями российских марксистов.

Когда прославленный писатель Максим Горький (по политическим убеждениям марксист-большевик) посетил в 1906 году США, он предал проклятию это царство «Желтого Дьявола» (т. е. золота). В своих статьях «Город Желтого Дьявола», «Царство скуки» и «Моб»\* Горький уверяет, что нигде и никогда он не видел столько нищеты, грязи, эксплуатации и духовного убожества и уродства, как в Нью Йорке. Его особенно возмущает то, что американцы не видят своего рабства и считают себя свободными, тогда как «это — свобода слепых орудий в руках Желтого Дьявола — золота» (стр. 10). «Я впервые вижу такой чудовищный город, — пишет Горький, — и никогда еще люди не казались мне так ничтожны, так поработаны. И в то же время я нигде не встречал их такими трагикомически довольными собой, каковы они в этом жадном и грязном желудке обжоры, который впал от жадности в идиотизм и с диким ревом скота пожирает мозги и нервы» (стр. 11).

Щадя эстетическое чувство читателей, не буду приводить дальнейших цитат из сочинения великого пролетарского гуманиста.

В отношениях международно-политических российское правительство до конца XIX века рассматривало Англию как главного противника России на международной арене и хотело сохранять дружественные отношения с США. Соответственные наставления были изложены в инструкции министра иностранных дел гр. М. Н. Муравьева, данной (29 янв. 1898 г.) ново-назначенному посланником в Вашингтон гр. А. П. Кассини, и 10 июня 1898 г. гр. Кассини, в своем письме из Вашингтона, писал министру иностранных дел: «Все, что может быть сделано, чтобы убедить здешнее правительство и нацию в том, что их лучшим другом всегда была, есть и будет Россия, будет сделано». («Красн. Архив», т. 52, 1932, стр. 133-138 и 142).

В то же время (в июне 1898 г.) министр иностранных дел Муравьев говорил в Петербурге американскому послан-

---

\* М. Горький. Собрание сочинений. Том 7 (Москва, 1950), стр. 7-42.

ннку: «Мы были друзьями, мы теперь — друзья, и мы намерены оставаться друзьями». Сам император Николай II также напоминал посланнику США о всегдашних дружеских отношениях между двумя странами и выражал надежду, что они всегда останутся такими.<sup>20</sup>

Но эти хорошие слова не удовлетворяли американское правительство поскольку этим словам противостояли совершенно явные **факты** русской агрессии на Дальнем Востоке: захват Ляодунского полуострова с Порт-Артуром, а потом оккупация Манчжурии, которую императорское правительство обещало очистить через два года после подавления боксерского восстания, но замедлило с исполнением своего обещания. Правительство США настаивало на сохранении территориальной неприкосновенности Китайской империи и защищало принцип «открытых дверей», т. е. свободу торговых и иных отношений с Китаем для всех иностранных государств одинаково. Нежелание русского правительства следовать этим принципам толкало правительство США в сторону сближения с другими противниками русской дальневосточной политики — Англией и Японией. Когда вспыхнула (в 1904 г.) русско-японская война, то США формально оставались нейтральными, но сочувствие американского общества и правительства было явно на стороне Японии.

Война, успешная для Японии, закончилась (в авг. 1905 г.) мирным договором, заключенным в Портсмуте, в США, при посредничестве президента Теодора Рузвельта, и после этого внешне-политические противоречия в отношениях России и США сами собой сгладились, но внутренняя политика русского правительства — продолжающаяся дискриминация против евреев, ненужно-агрессивная политика в отношении Финляндии, наконец, нелепый процесс Бейлиса продолжали нервировать общественное мнение Америки и усиливали руссофобские настроения.

В первой мировой войне Америка до 1917 года оставалась нейтральной. В 1914-1916 гг. американским послом в С.-Петербурге был Джордж Мэри, внимательно наблюдавший происходившие события и издавший впоследствии свои дневники за эти годы. В отличие от многих западных авторов, легко «забывающих» о заслугах и жертвах русской армии в 1914-1916 гг., посол США указывает на героическую стойкость

русской армии, которая, при катастрофическом недостатке вооружения и боевого снабжения, 2½ года боролась с прекрасно вооруженным и снабженным всем необходимым противником и, сдержав его натиск, оказала своей борьбой огромную помощь общему делу союзников.<sup>21</sup>

После февральской революции 1917 года Временное Правительство с полной симпатией относилось к заокеанской демократической республике, а президент США Вильсон приветствовал «новую демократию», созданную революцией.

Когда в России захватили власть «марксисты-ленинисты», они образовали коммунистический «Третий интернационал», целью которого было создание «всемирной советской республики», т. е. подчинение всего мира диктатуре коммунистической партии. Главным препятствием к достижению этой цели, главным оплотом «капиталистического» мира была могучая республика США, и потому Ленин люто ненавидел и злословил ее.\* — «Идеализированная демократическая республика Вильсона оказалась на деле формой самого бешеного империализма, самого бесстыдного угнетения и удушения малых народов» (стр. 292). — В самой Америке, по утверждению Ленина, «нагло господствует кучка миллиардеров, а весь народ в рабстве и неволе» (стр. 201). — «Американская республика душит рабочий класс» (стр. 288), — «Америка стала одной из первых стран по глубине пропасти между горсткой обнаглевших, захлебывающихся в грязи и в роскоши миллиардеров, с одной стороны, и миллионами трудящихся, вечно живущих на границе нищеты, с другой» (стр. 176). — Англо-американские империалисты «накричали, что они ведут освободительную войну (против германского империализма). Это был обман»; в действительности, по мнению Ленина, «англо-американский империализм такой же зверь, по отношению к которому справедливость может быть только в том, чтобы удушить его» (стр. 267), и «мы говорим с абсолютной уверенностью, что теперь этот обожравшийся зверь так же свалится в пропасть, как свалился зверь германского империализма» (стр. 268, речь о международном положении в ноябре 1918 г.).

---

\* Приведенные цитаты взяты из 2-го изд. сочинений Ленина, т. XXIII. 1918-1919 гг. Госиздат, 1929.

К счастью для человечества, захватившие власть в России ленинцы были три года заняты борьбой с белыми армиями и у них не хватило сил для осуществления их планов — сначала покорить дезорганизованную и ослабленную войной Европу, а потом «удушить американский империализм».

С. Пушкикарев

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Alfred W. Crosby. *America, Russia, Hemp, and Napoleon. American Trade with Russia and the Baltic, 1783-1812.* (Ohio State University Press, 1965).

<sup>2</sup> Max M. Laserson. *The American Impact on Russia — Diplomatic and Ideological, 1784-1917.* (New York, 1950), p. 83.

<sup>3</sup> *The Writings of Thomas Jefferson.* Library edition (Washington, D.C., 1904), Vol. XI, pp. 103-104; Vol. XII, p. 153; *The Collected Works of Abraham Lincoln.* Rutgers University Press, 1953, Vol. V, pp. 74, 440, Vol. VII, p. 296.

<sup>4</sup> *Memoirs of John Quincy Adams,* comprising portions of his *Diary* from 1795 to 1848. Ed. by Charles F. Adams. Vol. II. (Philadelphia, 1874), pp. 50-55.

<sup>5</sup> *Memoirs,* Vol. II, p. 65.

<sup>6</sup> *Memoirs,* Vol. II, pp. 88-89, 100-101.

<sup>7</sup> *Writings of John Quincy Adams,* ed. by W. Ch. Ford. Vol. IV (New York, 1914), pp. 149-150.

<sup>8</sup> Crosby, op. cit., pp. 265-266.

<sup>9</sup> John C. Hildt, *Early Diplomatic Negotiations of the United States with Russia.* (Baltimore, 1906), p. 108.

<sup>10</sup> Stanley S. Jados, ed. *Documents on Russian-American Relation — Washington to Eisenhower.* (Washington, D.C., 1965), p. 3.

<sup>11</sup> Jados, *Documents,* p. 8.

<sup>12</sup> "... both Nicholas and his ministers were wholly faithful to the tradition of friendliness toward the United States... Nicholas looked across the Atlantic, as had Alexander, for friendship and sympathy." Foster R. Dulles. *The Road to Teheran. The Story of Russia and America, 1781-1943.* (Princeton, 1944), p. 50. — "During that period Russia regarded the United States as a vital element in the European balance of power, while the United States looked upon Russia as her only European friend." Benjamin P. Thomas. *Russo-American Relations, 1815-1867.* (Baltimore, 1930), p. 9.

<sup>13</sup> Jados, *Documents,* pp. 8-11.

<sup>14</sup> Anna M. Babey, *Americans in Russia, 1776-1917*. (New York, 1939), p. 8. — M. Laserson, *The American Impact on Russia*. (New York, 1950), p. 17.

<sup>15</sup> Albert A. Woldman, *Lincoln and the Russians*. (New York, 1952), p. 11.

<sup>16</sup> *The Collected Works of Abraham Lincoln*. (Princeton, 1953), Vol. V, p. 97.

<sup>17</sup> Jados, *Documents*, pp. 17-18.

<sup>18</sup> *Narative of the Mission to Russia*, in 1866, of the Hon. Gustavus Vasa Fox, Assistant Secretary of the Navy. From the Journal and Notes of J. E. Loubat. New York, 1874.

<sup>19</sup> M. Laserson, *op. cit.*, pp. 199-200.

<sup>20</sup> Foster R. Dulles, *The Road to Teheran*, p. 81.

<sup>21</sup> George Thomas Marye, American Ambassador to Russia, 1914-1916. *Nearing the End in Imperial Russia*. (Philadelphia, 1929), pp. 174, 245, 298-299.

# ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И БОЛЬШЕВИЗМ

## ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

События 1917 г. так быстро сменялись, что даже современникам многое представлялось трудно объяснимым. Но пятьдесят лет спустя, пора уже не только вспоминать то, что может оказаться небесполезным для будущих историков, но и попытаться найти объяснения тому, что поражало современников роковых событий своей неожиданностью. Сторонники Ленина составляли явное меньшинство даже к моменту октябрьского переворота. Ленин шел на риск, подготавливая октябрьское выступление, и когда в Смольном стало известно о падении Временного Правительства, он сказал Троцкому: «Захватывает дух. Не верится, что все так удачно закончилось!» Но и когда в январе 1918 года собралось Учредительное Собрание, большинства Ленин в нем не имел, зато власть была уже в его руках.

Как же все это произошло? В статьях и исследованиях событий 1917 года, не без основания, особое внимание уделяется тому, что предшествовало февральской революции и подготовило ее. Но даже допустив, что революция, благодаря совокупности неблагоприятных обстоятельств, стала неизбежна (что, однако, вовсе неоспорно), мы не разрешаем вопроса о том, почему февральская революция с ее демократическими настроениями и лозунгами привела, в конце концов, к крайностям революции октябрьской.

Чтобы понять причины успеха большевизма, необходимо проследить последовательность событий, которые характеризовали падение влияния и престижа Временного Правительства и возрастание успехов подрывной работы Ленина.

### Отречение государя и Временное Правительство

«Что же теперь? Девять царей вместо одного?»  
(Из разговоров на улице).

Если отречение государя стало неизбежно, то юридические последствия его до сих пор недостаточно освещены. Государь отрекся за себя и за сына Алексея, своего законного преемника. Имел ли государь право отречься за сына, вопрос спорный. Передача прав на престол брату Михаилу, без предварительного согласования с ним перехода власти, создала дальнейшие осложнения. То, что установлено основными законами, не могло быть изменено волею государя. Отречение в том виде, как оно произошло, стало концом династии, а вместе с тем и исчезновением верховной власти.

Вместе с монархом, при отсутствии законных его преемников, исчезла та власть, которая опиралась на исторические традиции, связанные с трехсотлетием династии, с привычной для народных масс и, что не менее важно, для народностей многонациональной России, формой правления, которая объединяла сложную иерархию всевозможных властей. Вместе с падением монархии, прекратилось существование Государственного Совета, наполовину составленного из назначенных государем сановников. Одно из двух законодательных учреждений прекратило таким образом свое существование, а другое — Государственная Дума — тем самым осталась только частью законодательного органа власти и, при том, с истекшим сроком полномочий. Еще существенней то, что все высшие административные лица, назначенные на их должности государем, также утратили свои права. Министры и их заместители, директора департаментов, генерал-губернаторы и губернаторы — все эти административные лица сошли одновременно со сцены. Директора департаментов, назначавшиеся государем, также должны были покинуть свои посты, так как исчезла власть, призвавшая их. Утратили свои полномочия послы и посланники, командующие армиями и генералитет вообще, поскольку назначивший их государь, глава армии и флота, отрекся от своей власти.

Верховная власть была вручена Временному Правительству. Но кем? Было ли компетентно то совещание случайного состава, которое установило состав первого Временного Правительства? Можно ли, однако, вообще обсуждать подобные вопросы с формальной юридической точки зрения, когда речь идет

о революции? Конечно, можно считать подобный подход излишним. Но революция в первые дни марта 1917 г. была только в начале своего развития и в те дни можно было проявить больше осторожности. К тому же настоящая статья вовсе не ставит своей целью обсуждать то, что можно было бы сделать. Это было бы совершенно бесплодным занятием. Задачей автора является выяснить последствия того, что произошло в той форме и в той последовательности, как это совершалось.

Русская монархия объединяла множество народностей. Единство империи создавалось двумя силами: прежде всего — царствовавшей династией, которая исторически распространяла свою власть на присоединившиеся территории и народы, включая в титул государя соответствующие указания: «царь польский», «великий князь финляндский» и т. д.; а во-вторых — русской культурой в широком смысле слова, хозяйственной, научной и духовной во всех ее проявлениях. Отречение монарха и падение династии, без формально бесспорного и авторитетного по способам установления заместительства, — дало народам России повод претендовать на самоуправление, а некоторым и на восстановление независимости.

Наконец, отметим, что с падением монархии исчезло фактически основание для назначения обер-прокурора Святейшего Синода, ибо эта должность была создана в связи с попытками некоторых высоких иерархов конкурировать с светской властью царей.

Что же представляло собой Временное Правительство? Оно состояло из вполне компетентных лиц, несомненно представлявших прогрессивную, демократически-настроенную русскую интеллигенцию: политических и общественных деятелей, членов Государственной Думы и земцев, нескольких лиц с административным и деловым опытом. Их было всего девять человек, если не считать государственного контролера и обер-прокурора Св. Синода. Эти девять человек: кн. Г. Е. Львов, председатель и министр внутренних дел, П. Н. Милюков, министр иностранных дел, А. И. Гучков, министр военный и морской, Н. В. Некрасов, министр путей сообщения, А. И. Коновалов, министр торговли и промышленности, М. И. Терещенко, министр финансов, А. А. Мануйлов, министр народного просвещения, А. И. Шингарев, министр земледелия и, наконец, А. Ф. Керенский, министр юстиции. Из всех этих лиц наименее дело-

вым казался Керенский, который оказался, однако, наиболее энергичным и быстрее других приобрел популярность в широких кругах населения.

Монарха заменил коллектив. Вместо одного лица — девять. Для верховной власти это наиболее сомнительное с точки зрения прочности и авторитетности установление. К тому же Временное Правительство было составлено по принципу коалиции, представлявшей разные партии, преимущественно партию конституционно-демократическую, возглавлявшуюся П. Н. Милюковым, профессором русской истории и опытным политическим деятелем, наиболее подготовленным к государственной работе. Кроме членов его партии, в составе правительства были: октябрист Гучков; не вполне определившийся прогрессист Коновалов и более левый, трудовик (позднее объявивший себя социалистом-революционером) Керенский.

Если коалиционное правительство было вообще мало подходяще для сложившихся обстоятельств, то коалиция, не представлявшая более левых партий, не могла вообще рассчитывать на авторитет для политических кругов, фактически делавших революцию. К тому же коалиция, составленная из одних только представителей основной русской народности, не могла рассчитывать на поддержку других народностей при развитии революции. Наконец, возглавление коалиционного правительства мягким по характеру, очень привлекательным пожилым князем Львовым, лишало Временное Правительство волевого руководителя, который мог бы выступать, как объединяющий правительство руководитель и ответственный его представитель. Львов, в качестве уважаемого земского деятеля и активного руководителя работы объединения земств и городов в деле помощи действующим армиям, был очень известным и уважаемым лицом, но в качестве председателя Всероссийского Правительства ничем себя не проявил. Смена им, как министром внутренних дел, всех губернаторов и замена их председателями земских управ, а где таких не было — комиссарами Временного Правительства, была мерой не из удачных. В составе местной администрации было немало очень компетентных и даже популярных лиц, а среди председателей земских управ были и непопулярные деятели.

Как-то в марте 1917 года, в здании Министерства Земледелия, где я тогда имел свой кабинет, как юрисконсульт Осо-

бого Совещания по продовольствию, я увидел проф. Л. И. Петражицкого, бывшего члена Госуд. Думы первого созыва. Как прив. доц. Петроградского университета и последователь учений Петражицкого, я был в близких с ним отношениях и спросил его, зачем он пришел? «Правительство ничего не делает, чтобы создать себе популярность в стране, сказал он, и я пришел посоветовать Андрею Ивановичу выехать из Петрограда и выступать в провинции». А. И. Шингарев последовал совету Петражицкого, но из его поездки ничего не вышло. Между тем популярность Керенского возрастала. С первых же дней революции он установил контакт с Советом Рабочих и Солдатских Депутатов, произносил речи, обсуждал текущие вопросы; был то здесь, то там, и его имя произносилось чаще чем где бы то ни было из имен членов правительства.

Но население уже знало и чувствовало с первых же дней революции, что в стране установилось двоевластие: — Временное Правительство и Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. При чем Временным Правительством ничего не было сделано, а может-быть и не могло быть сделано, после первых же неудачных актов, чтобы это двоевластие устранить. Вскоре стало известно, что в Россию из Швейцарии, через Германию, возвращается Ленин. Для таких лиц, как пишущий эти строки, который вообще был чужд политической деятельности и какой-нибудь партийности, Ленин был загадочной и мало понятной личностью. В студенческие времена 1904-1909 г.г. приходилось много слышать от товарищей о «большевиках» и «меньшевиках», но социализм казался мне столь нереальным, что я, сочувствуя прогрессивным социальным реформам, не интересовался социалистическими партиями и, в частности, Лениным, как наиболее крайним из русских лидеров социализма.

Но вот Ленин приехал. Это было 3-го апреля. Встречу ему устроили его последователи грандиозную. Ленин прибыл со своими сторонниками, на подобие штаба и секретариата. Официальных лиц на Финляндском вокзале, насколько помню, не было, но кто-то из сторонников правительства и умеренной политики сказал несколько приветственных слов, высказав надежду на приемлемость политики правительства Ленину. От этого Ленин просто отмахнулся, ничего не показав, кроме полного невнимания к подобным речам.

Поразило многих и, в частности меня, что правительство

предоставило в распоряжение Ленина особняк балерины М. Кшесинской, находившийся в одной из лучших частей города, на Каменоостровском проспекте, вблизи Невы. С балкона этого дома открывался вид на набережную с рядом дворцов. Эта перспектива незабываема по красоте. Указывая рукой на дворцы, Ленин в одной из своих речей, которые он произносил с балкона, спрашивал толпу: «Чьи они?» И сам отвечал: «Ваши!» — «Наши!» — вторила ему довольная толпа.

Не знаю, на каком основании правительство овладело частным домом, но еще больше недоумеваю, почему врагу правительства были предоставлены такие удобства для его выступлений против политики этого же Временного Правительства, которая встречала сочувствие со стороны умеренных социалистов, членов Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

Кстати сказать, Ленин бросил вызов и одной, и другой из организаций, составлявших «двоевластие». Его преимущество, которое сразу же выявилось, было в его независимости от всяких коалиций. Он действовал как единый руководитель партии социал-демократов, большевиков. Его другое преимущество было в способности организовать революционное движение, и в его подготовленности к пропаганде, благодаря заранее обдуманной программе действий в целях борьбы за власть.

До и после приезда Ленина среди новых членов Продовольственного Совещания то и дело слышались замечания: «Ну, теперь он себя покажет!» «Теперь держись, они будут действовать!» «Ленин недаром проехал через Германию!» и т. д. И Ленин действительно скоро себя показал и сразу начал действовать. Говорил с балкона толпе, которая собиралась чуть ли не ежедневно на площади перед домом Кшесинской. Вскоре он успел побывать и в Москве; посещал собрания; устраивал конференции членов своей партии, и последствия его энергичной работы сказались уже через две недели после его приезда, 18 апреля. По новому стилю это был день 1-го мая, день мирового рабочего движения — день идеалов социализма.

На Марининской площади, перед обширным зданием Мариинского дворца, где помещался раньше Государственный Совет и заседал Совет Министров, была сооружена трибуна для ораторов, и мы наблюдали из окон Министерства Земледелия, как сходились на площадь колонны рабочих и солдат с красными знаменами, с плакатами, на которых можно было

прочсть: «Долой войну» — «Мир без аннексий и контрибуций» — «Долой Милюкова» и т. п. Ораторы говорили о немедленном заключении мира, о прекращении ненужной бойни, ведущейся, по их словам, в интересах «буржуазии и империализма».

Первый и наиболее сильный удар, который нанес Ленин Временному Правительству и, как оказалось, рикошетом — Совету Рабочих и Солдатских Депутатов, где преобладали меньшевики и эсеры, — был призыв к немедленному заключению мира. В результате демонстрации 18 апреля из состава правительства вышли Милюков и Гучков и вступило несколько социалистов: — меньшевики: И. Г. Церетели (министр почт и телегр.) и М. И. Скобелев (министр труда), глава партии социалистов-революционеров В. М. Чернов, близкий к эсерам П. Н. Переверзев (министр юстиции) и член партии народных социалистов А. В. Пешехонов (министр продовольствия). А. Ф. Керенский стал военным и морским министром вместо Гучкова, а Терещенко — министром иностранных дел вместо Милюкова.

От этих перемен авторитет Временного Правительства, конечно, не повысился. Наоборот. Стало ясно, что это не цари. Временное Правительство явно переставало быть «верховой властью». В то же время Совет Рабочих и Солдатских Депутатов, включив в состав Временного Правительства нескольких своих видных членов, с одной стороны, демонстрировал свое влияние на ход событий, а с другой — консолидировался с правительством и принял на себя в известной доле ответственность за последующее.

### **Революция, война и союзники**

Как уже было отмечено, наиболее чувствительный удар нанесла Временному Правительству пропаганда Ленина в пользу немедленного прекращения войны. Уставшее от войны население и, в особенности солдаты, с особой охотой подхватывали лозунги, направленные в пользу мира. На фронте начиналось «братание». Немцы не наступали. Им было выгоднее сосредоточить свои силы на западном фронте: на два фронта их уже не хватало. А затишье на фронте располагало к миру. В своих выступлениях Милюков подчеркивал необходимость выполнения обязательств по отношению к союзникам. И они, со своей стороны, желали получить подтверждение, что Россия

будет продолжать войну. Ленин же подчеркивал, что союзники такие же империалисты и капиталисты, как и немцы, и его призыв к немедленному прекращению войны звучал для масс убедительнее, чем призывы к войне «до победного конца». Обещанием «Константинополя и проливов» соблазнить народные массы было очень трудно. Им было бы понятнее, если бы нужно было **защищать** родину. Защита родины — общая и всем понятная необходимость. В начале войны, в июле 1914 г., эта необходимость не подвергалась сомнению. Народные массы привыкли верить своему правительству, а солдаты — выполнять свой долг, повинаясь дисциплине. Но во время революции этот национальный лозунг оказался недейственным.

### **«За что боролись?»**

В 1905 году, когда университеты были закрыты властями, в связи с революционными выступлениями, я поехал домой в Бессарабию. В Москве мои друзья приняли меня очень гостеприимно и предложили поехать с ними на секретное собрание. Это было очень интересное собрание в большом частном особняке. Артист Качалов читал там только что законченный Леонидом Андреевым и тогда еще не напечатанный рассказ «Так было, так будет». В большой гостиной собралось человек сорок. Качалов читал прекрасно и мне на всю жизнь запомнилась фраза, несколько раз повторявшаяся в рассказе. Содержание его приблизительно таково: на часовой башне в Париже во время французской революции часовщик и сторож переживают события революции, а часы невозмутимо и настойчиво повторяют свое тиканье и в нем слышится: «так было, так будет!»

И еще из этой поездки запомнился мне разговор с крестьянином на какой-то маленькой станции. Поезд был товаропассажирский, медленный, стоянки были длительные. В вагоне было накурено махоркой (я ехал в третьем классе). Захотелось подышать свежим воздухом. Я вышел на станции. Какой-то крестьянин начал со мной разговор. Тогда шли толки о возможности всеобщей забастовки. Он интересовался для чего, «чего ждать можно?» Я стал излагать ему идеи конституции и парламентаризма, но... он наморщил лоб и спросил «а чего же дадут деревенским?» Это был хороший политический урок.

В 1917 году мне пришлось вспоминать и «так было, так будет!» и «а чего же дадут деревенским?» После революции

городское население, главным образом его культурные слои, было в массе довольно обновлением государственного строя, отставшего от времени и нужд страны. Но революция всколыхнула народные массы. Мужичек на станции, вероятно, опять спрашивал проезжавших горожан — «а чего же нам-то дадут?» Рабочий ждал мира и улучшения условий труда. Ленин не жалел обещаний: крестьянам он отдавал всю землю, рабочим все фабрики и заводы. «Чье это?» — «Наше!», отвечали ему довольные слушатели.

Коалиционное Временное Правительство не обладало такой же свободой решения важнейших проблем и, как всякое ответственное правительство, не могло давать неисполнимых обещаний. С другой стороны, оно не могло оставлять и без внимания наболевшие проблемы и уже 21 апреля было опубликовано Постановление «Об учреждении земельных комитетов». В первой статье этого постановления говорилось: «Для подготовки земельной реформы и для разработки неотложных временных мер, впредь до разрешения земельного вопроса Учредительным Собранием, образуются главный и местные (губернские, уездные и волостные) земельные комитеты, состоящие в ведении Министерства Земледелия».

Но в то время, когда происходили выборы в эти комитеты и обсуждались подготовительные меры их работы, Ленин принял на себя разрешение земельного вопроса в самом его упрощенном виде, а именно — в поощрении захватов частных имений. Ленин принял на себя функции Учредительного Собрания. Временное Правительство издало 12 июля новое постановление «Об ограничении земельных сделок», позднее дополненное (Собр. уз. № 276, стр. 2035), но в это время нужно было уже считаться с фактом самовольного разрешения земельного вопроса.

Из всех проблем внутреннего значения земельный вопрос был, конечно, наиболее сложным, наиболее спорным с точки зрения целесообразности. Но Ленин не задумался предложить решение, которое, кстати сказать, меньше всего соответствовало его собственной программе: пусть крестьяне захватят землю и поддержат большевизм, а что будет дальше, выяснится после перехода власти к Ленину и его партии.

Нет надобности разбираться в других вопросах. Законодательство Временного Правительства было продуктивно. Мно-

гие реформы, в частности судебные и административные, были образцовы и могут быть полезны для будущего. Но Временное Правительство должно было вести две войны: одну против Германии, другую против врага внутреннего и очень опасного, против большевизма. А победить мог только тот, кто привлекал на свою сторону массы.

### **Русское правительство многонационального государства**

Как я уже говорил, при обсуждении вопроса об организации Временного Правительства, принималось во внимание существование разных политических партий, но никто не подумал о возможности претензии национальностей России на их представительство. Династия Романовых представляла власть, создававшую многонациональную империю. Поэтому в титул императора и входили упоминания: царь польский, великий князь финляндский и пр., и пр.

Государственная Дума тоже могла бы рассматриваться как орган общероссийского значения и так первоначально и предполагалось. Государственная Дума первого созыва включала немало представителей разных народностей России. Но избирательный закон затем дважды изменялся и в третьей и в четвертой Думах национальное представительство почти исчезло. Поэтому и Временное Правительство, избранное составом почти исключительно русского большинства, должно было встретиться с вопросом о национальном представительстве или о национальном самоопределении.

Проще всего этот вопрос разрешился в отношении Польши. Еще до революции было предreshено дать возможность польскому народу восстановить независимое польское государство в его исторических границах. В одном из актов военного времени было упомянуто о «разорванном на куски живом теле Польши». Осуществить существовавшее намерение возможно было только в случае победы, но после революции Польша была сразу признана независимым государством. Сложнее был вопрос с Финляндией. Сложность создавалась спорностью ее будущих границ. Выборгская губерния была присоединена к России до того как Швеция уступила России свои верховные права в отношении Финляндии, но император Александр I, принимая на себя верховные права от Швеции, присоединил к территории Финляндии и ранее завоеванную

территорию, граница которой проходила вблизи столицы России.

Однако, претендовать на самоопределение могли и балтийские народы и некоторые народы Кавказа, главным образом, конечно, Армения и Грузия, сохранявшая свою историческую территорию. Но самым неожиданным оказалось националистическое движение на Украине. Ответом на такого рода движения явился лозунг — «Единая, неделимая Россия». Существовало и примирительное мнение, допускавшее возможность самоопределения, но в известных границах и на известных условиях. Отношение Временного Правительства к стремлениям отдельных народностей к самоопределению не встречало ни решительного отпора, ни поддержки.

Ленин же и в этом случае встал на крайнюю, демагогическую позицию поощрения сепаратизма. Его формула «самоопределение вплоть до отделения» осталась в силе и после октябрьского переворота, но на практике, как и многие другие формулы, она осталась «национальной по форме, социалистической по содержанию». Национальные движения были объявлены «буржуазными» и преследовались. Особенно жестоко расправлялся с националистами Сталин. Но в период борьбы с Временным Правительством лозунг Ленина сыграл такую же роль, как его обещание земли крестьянам. Он привлек на сторону большевиков многочисленных сторонников в лице представителей национальных меньшинств России.

### **Временное правительство и армия**

Военная власть является обыкновенно наиболее сильным орудием в руках всех правительств. При наличии популярных командиров и привычной дисциплины, армия может остановить революцию. Но не исключается возможность и поддержки ею революции или контр-революции; а перевороты, по инициативе командиров, происходили и продолжают происходить в настоящее время, свидетельствуя о важности того, кто руководит военной силой.

Неудивительно поэтому, что после февральской революции, еще раньше чем сформировалось Временное Правительство, Совет, организовавшийся из людей, самовольно объявивших себя «депутатами рабочих и солдат», обратился к армии с «Приказом № 1». Его основными инструкциями были:

отмена установленных приветствий солдат, при встрече с офицерами; передача в руки солдат контроля над вооружением; организация солдатских комитетов, в качестве органов контроля над распоряжениями командного состава. Соблюдение этого приказа не могло бы не разрушить в корне военную дисциплину. Все меры к тому, чтобы «приказ» не получил широкого распространения были командным составом приняты; но солдатские комитеты все же создались и дисциплина, если и не была совершенно разрушена, то была во всяком случае очень сильно поколеблена.

Все же многомиллионные армии, действовавшие на фронте, не могли быть полностью разложены. Многие воинские части, командиры которых завоевали уважение и доверие своих подчиненных, сохраняли дисциплину. Яд разрушительной пропаганды не заразил все воинские части. Временное Правительство могло бы найти опору в командном составе и восстановить дисциплину. Взаимное доверие между правительством и командным составом армий, а через него и с солдатской массой, во время революции было особенно важно. Но война крайне осложняла положение правительства.

Вслед за сменой всей верхушки административного аппарата страны не могло последовать смены командного состава армий. Для этого вряд ли было возможно найти подходящий состав, а командиры не могли уйти по своей инициативе: долг службы требовал от них прежде всего выполнения их воинского назначения. Между тем у правительства и командного состава не могло быть и взаимного доверия. Правительство сомневалось в лояльности генералов по отношению к революционной власти, а командный состав был потрясен Приказом № 1 и зависимостью правительства от Совета Депутатов, который этот приказ опубликовал.

Вступление А. Ф. Керенского в апреле на пост военного и морского министра, вместо А. И. Гучкова, усилило подозрительность командного состава. Керенский не был крайним в своих политических взглядах и настроениях, но в составе правительства, возглавлявшегося кн. Львовым, он служил посредником между правительством и Советом, опубликовавшим Приказ № 1. Командный состав армий не мог проникнуться доверием к такому военному министру, особенно в виду того, что Ленин продолжал подрывать основы дисциплины своей

пропагандой немедленного окончания войны, ведущейся, как он утверждал, в интересах «капиталистов и империалистов». Усиление представительства социалистических партий в составе Временного Правительства, происшедшее в мае, еще более подорвало у командного состава веру в возможность оздоровления политической обстановки и в возможность плодотворного сотрудничества с Временным Правительством.

Однако, Керенский, став военным и морским министром, решил действовать энергично и настоял на возобновлении активных операций на фронте. Июньское наступление (18-го июня), продолжавшееся около десяти дней, окончилось неудачей. Судить о том, кто в этой неудаче виноват, можно было бы только после специального изучения этого вопроса, но это и едва ли нужно. Важно, что неудача подорвала престиж правительства, вместо того чтоб его усилить. Ленин же, наоборот, воспользовался этой неудачей и усилил активность большевиков. 4-го июля в Петрограде состоялась манифестация рабочих, солдат и кронштадтских матросов; главным лозунгом демонстрантов был: «Вся власть советам!» Демонстрация была разогнана. Организация ее вызвала отрицательную реакцию не только со стороны военных, но и со стороны всех умеренных политических партий, включая меньшевиков и эсеров. М. Горький писал об этой манифестации: «На всю жизнь останутся в памяти отвратительные картины безумия, охватившего Петроград днем 4-го июля».

После неудачи июльского большевистского выступления можно и нужно было немедленно расправиться с его организаторами, с Лениным и его штабом. Но этого своевременно сделано не было. Ленин успел скрыться, а штаб большевиков продолжал свою подрывную работу.

Попытка июльского восстания вызвала взрыв негодования в кругах, поддерживавших Временное Правительство, и сплотила умеренных социалистов с либеральными кругами. Керенский, сознавая свою ответственность за мягкое отношение к большевикам, поставил вопрос о своей отставке, но согласия на это не последовало. Его, наоборот, уполномочили составить новый кабинет министров по его усмотрению. В возглавленном им новом правительстве из 15-ти человек бывший министр путей сообщения, член к.-д. партии Н. В. Некрасов занял пост вице-председателя и министра финансов. Наряду

с Черновым в кабинет вступил другой видный с.-р. Н. Д. Авксентьев. Новое правительство решило применять по отношению к большевикам репрессивные меры.

В то же время происходило и объединение правых политических групп и возникло движение среди ответственных военных кругов в пользу создания сильной власти для оздоровления тыла. В этом движении руководящую роль стал играть генерал Л. Г. Корнилов. Для успеха намечаемой политики необходимо было создание сильной власти и возможно более тесное объединение гражданских и военных властей. Как правительство, так и военные круги, понимали эту необходимость. Надо было популяризировать предстоящую деятельность правительства, направленную против большевизма и крайностей революции. С этой целью было созвано на 12 августа в Москве Государственное совещание, на котором выступили и Керенский, и Корнилов.

На Государственном совещании Керенский решительно высказался против большевизма, но подчеркнул, что не допустит и низвержения революционной власти при помощи штыков. Представители военных подчеркивали, главным образом, необходимость крутых мер против нарушения дисциплины и подрывной работы. После окончания заседаний Государственного совещания был создан Предпарламент и, казалось, что возможность восстановления твердой объединенной власти и порядка становится осуществимой.

В конце августа я выехал в командировку в Одессу. И в Одессе узнал, что ген. Корнилов арестован и обвиняется в подготовке мятежа и захвата власти. Попытка какого-то сговора не удалась. На обратном пути в Петроград я вышел пройтись на станции Могилев, где наш поезд был задержан без объяснения причин. На перроне было много солдат, бродивших группами и в одиночку. Вдруг послышался шум приближавшегося курьерского поезда из Петрограда. Поезд подошел, и из роскошного вагона, украшенного красными флагами, вышел сравнительно молодой человек в галифе и быстро прошел по перрону. Стоявший возле меня солдат спросил другого, кто это? «Керенский!» — ответил тот. «Керенский!» — с удивлением повторил спрашивавший и дальше он употребил выражение совершенно неприличное в отношении такого высокого лица, каким должен бы был быть для рядового солдата Председатель Временного

Правительства. Ничего подобного раньше быть не могло. Керенский быстро прошел мимо и я видел на другой стороне вокзала автомобиль, так же как и вагон, украшенный красными флагами: Керенский приехал ликвидировать заговор в ставке.

В Петрограде я узнал, что Корнилов намечался его сторонниками в диктаторы и этого Керенский допустить не мог. Но после того, что я видел и слышал в провинции, я не мог поверить и в успех диктатуры, не мог представить себе, какими же мерами Корнилов рассчитывал восстановить порядок и дисциплину. Керенский тоже хотел решительных мер, но хотел осуществлять их постепенно, что тоже представлялось сомнительным с точки зрения осуществимости.

### **На ком вина?**

В советских изданиях, посвященных событиям 1917 года, много говорится о «корниловщине» и «керенщине». Ленин после ликвидации восстания Корнилова указал на «обреченность, безнадежность компромиссов с меньшевиками и эсерами»: все они, по его словам, готовы были продать революцию. «Середины нет, писал он, либо вся власть Советам, либо корниловщина», т.-е. диктатура и подавление революции.

Как много позднее сообщали газеты, А. Ф. Керенский на вопрос, что он сделал бы, если бы снова пришел к власти, имея уже тот опыт, который он приобрел в 1917 г., ответил: «Прежде всего не допустил бы керенщины». Что сам Керенский подразумевает под «керенщиной» не знаю. Но можно предполагать, что это та двойственность, которая характеризовала его позицию. Он был введен в состав правительства, как «заложник демократии», как человек «середины», и это характеризовало его поведение. Он был близок к социалистам, но уважал и либералов, членов кадетской партии. Он понял в июле необходимость твердой власти, но диктатура «при помощи штыков» была для него тоже неприемлема.

Но Керенский был не один в составе Временного Правительства и не он один несет ответственность за то, что явилось результатом той нерешительности по отношению к экстремистам, за те колебания и неустойчивость, которые проявились в период марта-июля, и которые приписываются обычно одному Керенскому.

Наиболее существенными причинами всех осложнений

были, как мне кажется, две: неожиданное отречение монарха и вызванное этим разрушение всех высших учреждений империи, а также — неудачная форма нового коалиционного правительства. Оно было лишено единства воли в лице полноправного главы и не имело опоры в виде представительного органа, который должен был быть одновременно составлен. В силу отсутствия такого органа, который мог быть составлен совещанием членов Думы и представителями политических партий, правительство и попало в зависимость от Совета Рабочих и Солдатских Депутатов — детища первой революции 1905 года.

В дальнейшем последовала непонятная и непростительная предупредительность по отношению к Ленину и частые перемены в составе Временного Правительства. Все это предreshило усиление большевизма. Характер Ленина, его независимость, как не имевшего соперников лидера, и его подготовленность к роли революционного вождя, как человека, много лет занимавшегося революционной работой и выработавшего программу действий для достижения поставленных им целей — обеспечили ему успех. Он прибыл из Швейцарии с рядом соблазнительных для масс, подкупающих и обманчивых лозунгов. Не встретив противодействия своей пропаганде, он уже в июне создал критическое положение и выйти из него слабому правительству не удалось.

К осени 1917 года нетрудно было заметить, как пропаганда классовой борьбы разожгла злобные чувства по отношению не только ко всем имущим, но и к интеллигенции, к людям в «белых воротничках».

В августе в Петрограде были организованы бесплатные лекции для населения, в связи с выборами в городское управление и с предстоящими выборами в Учредительное Собрание. Меня просили прочесть несколько лекций и я выступил впервые с лекцией на тему о парламентаризме и ответственном министерстве. Слушателей было немного. Когда я вышел на улицу, ко мне подошел прохожий со злобным выражением в глазах и сказал: «Эх ты, мордой бы тебя в грязь!» Это было так неожиданно, что я как-то застыл и, видно, обидевший меня человек почувствовал, что я не обозлился, а был только поражен. Он пошел своей дорогой.

Во время выборов дворник нашего дома спросил меня, за

кого лучше голосовать, за меньшевиков или большевиков? Я стал объяснять ему различия программ. Но он прервал меня, проговорив: «Все-таки лучше голосовать за большевиков: они обещают **больше** дать».

Как же все-таки случилось, что выдающиеся политические деятели не сумели ни оказать противодействия, ни найти выхода из создавшегося положения? Ссылок на неожиданность и прочее — недостаточно. Очень существенно и то, что Россия отстала в своем политическом развитии. Многие необходимые реформы были задержаны. У интеллигенции не было делового опыта государственной работы. Население не привыкло к самодеятельности. Конечно, все это было связано и с многими другими проблемами, разбираться в которых не составляет задачи настоящей статьи.

*Г. Гинс*

## ИЗ ГЛУБИНЫ\*

Книга «Из глубины» («De Profundis») — единственная, парадоксальная и пророческая. Ее содержание так же необычно, как и ее судьба. Напечатанная в Петрограде летом 1918 года, она достигает своих читателей только через 49 лет, будучи вторично изданной в Париже, и, несмотря на это, ее голос звучит убедительно, как если бы она была написана в наше время и ее авторы были бы нашими современниками.

Для того, чтобы объяснить происхождение и значение сборника «Из глубины» необходимо вернуться к началу нашего столетия, к тому возрождению религиозно-философской мысли и искусства, которое тогда охватило интеллектуальную элиту наших обеих столиц. После неожиданной смерти Владимира Сергеевича Соловьева в возрасте 47-ми лет в 1900 году, начался глубокий сдвиг внутри русской интеллигенции, открывший так называемый Серебряный Век русской культуры.

Мыслители, поэты, художники, композиторы, захваченные этим подъемом творческих сил, оказались в остром конфликте с традиционным мировоззрением русской интеллигенции, которая продолжала жить в атмосфере шестидесятых годов с их позитивизмом, народничеством и наивной верой во всеобщий прогресс человечества. Утилитаризм, господствовавший в философии и в искусстве искажал понимание литературы и живописи, которые оценивались не с точки зрения их художественных достоинств, а с точки зрения их пользы в политической борьбе. Основоположники интеллигенции — Чернышевский (1822-89), Добролюбов (1836-61), Писарев (1840-68), Михайловский (1843-1904) считались незыблемыми авторитетами, мнения которых принимались, как последнее слово мудрости и знания. Провинциальная молодежь начала века еще увлекалась этими публицистами, но в столицах уже начался перелом. Прос-

---

\* Сборник статей о русской революции. Москва-Петроград, 1918. УМСА, Париж, 1967.

нувшаяся молодежь оказалась охваченной предчувствиями и ожиданиями грядущих грозных событий. Творческая энергия бурно прорывалась через устаревшие шаблоны. Среди записок современников есть несколько свидетельств этого пробуждения новой жизни в России.

Так, например, Александр Блок (1880-1921) на одной из своих лекций в 1920 году так говорил о начале столетия: «Владимир Соловьев занимал совершенно особое положение. Он играл роль, смысл которой далеко еще не вполне определен. Он скончался в июле 1900 г., т.-е. за несколько месяцев до наступления нового века, который сразу обнаружил свое лицо, новое и не похожее на лицо предыдущего века. Я позволю себе сегодня чисто догматически, без всякого критического анализа, в качестве свидетеля, не вовсе лишенного слуха и зрения, и не совсем косного, указать на то, что уже январь 1901 г. стал под знаком совсем иным, чем декабрь 1900 г., что самое начало столетия было исполнено существенно новых знамений и предчувствий». (А. Блок. Сочинения. Госуд. изд. Москва. 1946, стр. 490).

Андрей Белый (1880-1934) всецело подтверждает описание начала XX столетия, данное Блоком. Он пишет: «Для многих стиль нового века значительно отличался от века отошедшего; так в 1898 и 1899 годах прислушивались к переменам ветров психической атмосферы; до 1898 г. дул северный ветер, под сереньким небом. В 1898 г. подул иной ветер; почувствовалось столкновение ветров северного и южного, и, при смешении ветров, образовались туманы, — туман сознания. В 1900-1901 годах очистилась атмосфера; под южным ласкающим небом начала двадцатого века увидели мы все предметы иными». (А. Белый. «Эпопея», № 1, Берлин. 1922, стр. 131).

Еще определеннее об этом духовном сдвиге говорит Н. Бердяев (1874-1948): «Я погрузился в очень напряженную и сгущенную атмосферу русского культурного ренессанса начала XX века.... В эти годы России было послано много даров. Это была эпоха пробуждения в России самостоятельной философской мысли, расцвет поэзии и обострение эстетической чувствительности, религиозного беспокойства и исканий, интереса к мистике и окултизму. Появились новые души, были открыты новые источники творческой жизни; видели новые зори, соединяли чувство заката и гибели с чувством восхода и с на-

деждой на преобразование жизни». (Н. Бердяев. «Самопознание». Париж. 1949, стр. 149).

В этой атмосфере отказа от старых трафаретных установок и лозунгов и напряженного искания нового осмысления жизни произошло обращение от марксизма к христианству четырех выдающихся представителей русской радикальной интеллигенции. Ими были: Петр Бернгардович Струве (1870-1944), Сергей Николаевич Булгаков (1871-1944), Николай Александрович Бердяев (1874-1948) и Семен Людвигович Франк (1877-1950). Каждый из них шел своим путем, каждый из них был яркой творческой личностью, и, вместе с тем, все они проделали ту же эволюцию от атеизма к христианству и сделались вождями духовного обновления русского православия.

Одной из особенностей этой замечательной четверки была их связь с различными социальными слоями, из которых вербовалась русская интеллигенция. Петр Струве происходил из немецкой обрусевшей семьи, занимавшей видное место в петербургской бюрократии, Сергей Булгаков, сын священника, был из семинаристов, Николай Бердяев был дворянин, аристократ, Семен Франк был из ортодоксальной еврейской семьи.

В 1909 г. эти бывшие марксисты приняли участие в известном сборнике «Вехи», целью которого было предостеречь интеллигенцию от той гибели, которую она готовила себе безответственным призывом масс на бунт против церкви и государства.

Идея этого сборника принадлежала Михаилу Гершензону (1869-1925), выдающемуся литературному критику и оригинальному мыслителю, еврею по происхождению, славянофилу по убеждению. Гершензон предложил назвать сборник «Вехами» и убедил его участников не читать статей друг друга до появления книги в печати. Несмотря на это необычное условие «Вехи» производят впечатление строго продуманного произведения, так как каждый автор не повторяет других, а дополняет и углубляет по своему основную тему сборника, обличение политической слепоты интеллигенции и призыв к ее духовному пробуждению и покаянию. Центральное место в «Вехах» занимали статьи: Бердяева «Философская Истина и Интеллигентская Правда», Булгакова — «Героизм и Подвижничество», Струве — «Интеллигенция и Революция», Франка — «Этика нигилизма». Кроме этих статей, «Вехи» включали: «Творческое

Самопознание» — М. Гершензона, «В защиту Права» — Кистяковского, «Об Интеллигентской Молодежи» — А. С. Изгоева (Ланге).

Появление «Вех» всколыхнуло всю читающую публику в России. С. Л. Франк так описывает впечатление, произведенное этой книгой: «Вехи» имели шумный и сенсационный успех. Они были главной литературной общественной сенсацией 1909 г. В течение полугода они выдержали 5 изданий (первое — 3.000 экземпляров, последнее, помнится — 5.000). К последнему изданию был приложен, составленный Гершензоном, большой библиографический список журнальных статей и газетных откликов на нее. Успех этот был по существу успехом скандала». (Франк. «Воспоминания о Струве». Нью Йорк. 1956, стр. 83-84).

«Вехи» оказались подобны разорвавшейся бомбе, так как их авторы, известные представители интеллигенции, дерзнули восстать против основного догмата русской радикальной интеллигенции: веры в спасительность революции.

Одной из самых характерных статей «Вех» была статья Булгакова — «Героизм и Подвижничество», в которой он доказывал, что победа революционных партий в России приведет не к свободе, а к деспотизму и беспощадному террору, направленному в первую очередь против либералов и социалистов. Это парадоксальное утверждение, шедшее вразрез со всеми надеждами радикалов на немедленное установление свободы, равенства и братства после падения монархии, автор основывал на продуманном анализе интеллигентской психологии, а интеллигенции он придавал решающее значение для будущего страны. Он писал: «Душа интеллигенции, этого создания Петрова, есть ключ к грядущим судьбам русской государственности и общественности. Худо ли это или хорошо, но судьба Петровской России находится в руках интеллигенции» (стр. 25). И дальше: «Нельзя понять также основных особенностей русской революции, если не держать в центре внимания отношение интеллигенции к религии» (стр. 27).

В дальнейшем Булгаков подчеркивал крайнюю утопичность русских радикалов и их веру в возможность социального чуда, которое перенесет в мгновение ока страну из царства необходимости в царство свободы. Эта сила веры, унаследованная русскими социалистами от своего православного прош-

лого, заключала в себе огромную опасность, так как они видели в терроре и насилии кратчайший путь к достижению всеобщего благополучия. На этом основании Булгаков предсказывал, что, в случае победы революции, победителем окажется не только самый крайний из революционных утопистов, но и самый жестокий, который не побоится приступить немедленно к уничтожению всех своих противников. И, конечно, особенно опасны для него будут его бывшие соратники слева, так как, провозгласив себя единственным спасителем человечества, он не сможет допустить даже малейшей критики своей политической платформы. В русской интеллигенции, по словам Булгакова, существует культ героизма. «Герой», пишет он, «ставящий себя в роль провидения, благодаря этой духовной узурпации, присваивает себе бóльшую ответственность, нежели он может понести и бóльшие задачи, нежели человеку доступны» («Вехи», стр. 48). Герой неизбежно презирает толпу, которую он хочет облагодетельствовать, он смотрит на нее сверху вниз и требует от нее беспрекословного подчинения своей воле. Сопоставляя социалистического героя с христианским подвижником, Булгаков подчеркивает, что подвижник относится критически не к другим, а к самому себе и влияет на других не принуждением, а своим примером и братской любовью. Под конец своей статьи Булгаков задает вопрос, обращенный к интеллигенции; он убежден, что от ответа на него зависит будущее всей страны. Он пишет: «Из противоречий соткана душа русской интеллигенции, как и вся русская жизнь, — нельзя ее не любить и нельзя от нее не отталкиваться».

«Интеллигенция отвергла Христа. Она отвернулась от Его лика, но, отказываясь от Христа, она носит печать Его на сердце своем и мечется в бессознательной тоске по Нему, не зная утоления своей жажды духовной. А, между тем, Он стоит и стучится в это сердце гордое, непокорное, интеллигентское сердце... Будет ли когда-нибудь услышан стук Его» (стр. 68-69). Так заканчивает Булгаков свою пророческую статью.

Другие авторы развивали мысли, созвучные булгаковской критике интеллигенции. Бердяев указывал, что русская радикальная интеллигенция не интересуется поиском истины, ее занимает только вопрос: полезна или нет данная философия для дела свержения существующего строя. Он оканчивает

свою статью словами: «Мы освободимся от внешнего гнета лишь тогда, когда освободимся от внутреннего рабства, т.е. возложим на себя ответственность и перестанем во всем винить внешние силы. Тогда только народится новая душа интеллигенции» (стр. 22).

В своей статье Струве также подчеркивал безответственность интеллигенции и ее легкомысленное поощрение анархических тенденций народа, ее веру, что бунт может привести к совершенному политическому строю без перевоспитания широких масс, и без пробуждения в них чувства государственности. Он писал: «В безрелигиозном отщепенстве от государства русской интеллигенции — ключ к пониманию пережитой и переживаемой нами революции» (стр. 135).

Франк в своей статье «Этика нигилизма» вскрыл противоречия интеллигентского мировоззрения, верующего в механико-рационалистическую теорию счастья, которая обещает облагодетельствовать человечество равным распределением материальных благ. В то же время, интеллигенция презирает буржуазное благополучие и проповедует своеобразный аскетизм, оторванный от реального подхода к человеку. Он заканчивал свою статью призывом к интеллигенции «отречься от непроизводительного противокультурного нигилистического морализма и перейти к творческому созидающему культуру религиозному гуманизму» (стр. 181).

Радикальная пресса тогда яростно обрушилась на участников «Вех», обвиняя их и в мракобесии, и в обскурантизме, и в клевете на интеллигенцию, и в отступничестве от высоких идеалов Освободительного Движения. Противники «Вех» были искренне оскорблены утверждением авторов сборника, что революционная власть угасит свободу слова в России и будет более деспотичной, чем самодержавие. Левая общественность была поражена и неожиданностью нападения из своего же лагеря. Ведь суровая критика ее привычных установок делалась людьми, к голосу которых прислушивалась вся свободолюбивая Россия.

П. Н. Милюков (1859-1943), лидер конституционных демократов (к.-д.), предпринял тогда лекционную поездку по главным городам России, выступая против «Вех». В своих выступлениях Милюков призывал русских либералов оставаться непоколебимо на своих позициях. Кроме многочисленных жур-

нальных и газетных статей, в 1909 и 1910 г.г. вышел и ряд сборников, направленных против «Вех».\*

Особенно непримиримо напали на «Вехи» социалисты-революционеры. Так, один из них — Ракитников — писал: «Мы верим в доброту человеческой природы. История показывает, что, когда человек находится в условиях, благоприятных для своего развития, он быстро и неизбежно созревает и умственно и морально». («Вехи, как знамение времени», стр. 249).

Для Ракитникова влияние христианства было вредоносно, потому что оно учило о греховности человеческой природы и отрицало насилие, как путь к лучшей жизни. Социал-революционеры не предполагали тогда, что не только церковь, но и их партия окажутся гонимы после революции.

Только немногие из среды прогрессивной общественности прислушались к голосу «Вех». Таким, например, был И. В. Гессен, видный кадет, редактор газеты «Речь» (1865-1943). В своей автобиографии «Два Века», написанной в 1919 г., он писал: «Успех 'Вех' был разителен. Не было ни одного журнала, который бы не реагировал на «Вехи». Интеллигенция защищалась с ожесточением. Но два сборника, которые написаны на «Вехи», — «По Вехам» и «В защиту интеллигенции» не произвели значительного впечатления. Я был глубоко взволнован «Вехами». В первый раз я понял, что наша эпоха подходит к концу. Я видел, что «Вехи» отчеканили лозунги для будущего. Даже наука начала возвращаться к метафизике». («Два Века». Берлин. 1927, стр. 266).

Но «Вехи» были не только суровым обличением безответственности радикальной интеллигенции. Они не только предсказали путь, по которому пошла русская революция, но они также призывали либералов и социалистов к некому духовному покаянию и творческому пересмотру своих позиций. Они указывали дорогу к подлинной свободе, основанной на уважении к христианскому образу человека.

«Вехи» в настоящее время находятся под запретом в Советской России, но они являются историческим документом

---

\* «На Переломе», «Вехи, как знамение времени». М. 1910, «По следам Вех». М. 1910, «Интеллигенция в России». СПб, 1909. Они были составлены как социал-демократами и социал-революционерами, так и умеренными либералами.

исключительного значения. Несомненно они станут в будущем одним из основных источников для изучения тех факторов, которые спаяли в причудливое целое социализм с страшным красным террором в России.

Трудно сказать какое влияние могли бы оказать «Вехи» на судьбы России, не случись войны 1914 года. Но когда революция произошла и участники «Вех» увидели выполнение своих предсказаний, они не захотели оставаться безмолвными свидетелями грозных событий и летом 1918 г. подготовили материал для нового сборника, названного ими «Из Глубины». Им удалось эту книгу напечатать. К осени 1918 г. удушение свободы слова и свободы печати достигло такой силы, что выпустить книгу в продажу оказалось уже невозможным. Так она и осталась похороненной в подвалах издательства. Ни один из типографских работников не выдал ее чекистам. Она пролежала в полной неизвестности до 1921 г., когда во время восстания кронштадтских матросов, вспыхнула на мгновение надежда на освобождение России. Тогда кое-кто из типографских рабочих попробовали распространять запретную книгу. Но к этому времени аппарат секретной полиции был уже настолько совершенен, что книга была сразу обнаружена и тут же уничтожена. Все же несколько ее экземпляров уцелело. Один из них случайно попал в руки иностранцу, который вывез эту библиографическую редкость за границу. Теперь, в 1967 году, в Париже нашлись средства для ее переиздания. Так эта книга ожила через столетия.

Какова же ее ценность для нас в настоящее время? Может легко показаться, что все ее значение теперь чисто библиографическое. Но, в действительности, эта замечательная книга не устарела. Наоборот, она проливает новый свет на ряд характерных свойств советского строя, вскрывая его глубокие основы.

Читая ее, видишь как многое воспринималось в начале большевистской диктатуры острее и правильнее, чем в последующие годы, когда реакции людей притупились, когда десятилетия страха, физических лишений и упорной пропаганды лишили людей прежней самостоятельности мысли и непосредственности чувств.

Ценность «Из Глубины» заключается и в том, что ее сотрудники были участниками бурных лет начала революции и

писали свои статьи в то время, когда они были вовлечены в этот мутный революционный поток, не зная еще на какой берег он выбросит свои жертвы.

Они вместе с тем не были пассивными созерцателями постигнутого их крушения. Они смело боролись с победоносным деспотизмом Ленина и Троцкого. Они были тем гласом вопиющего в пустыне, который не был услышан русской интеллигенцией, но который прозвучал в то время, когда еще быть может была последняя возможность предотвратить катастрофу.

Об этом с исключительной силой пишет в предисловии к книге редактор «Из Глубины» — Петр Струве: «Сборник 'Вехи', вышедший в 1909 г., был призывом и предостережением. Это предостережение, несмотря на всю вызванную им, подчас весьма яростную, реакцию и полемику, явилось на самом деле лишь робким диагнозом пороков России и слабым предчувствием той моральной и политической катастрофы, которая разразилась в 1917 году. История отметит, что русское образованное общество в своем большинстве не вняло обращенному к нему предостережению, не сознавая великой опасности, надвигавшейся на культуру и государство.

Большая часть участников «Вех» объединилась теперь для того, чтобы в союзе со вновь привлеченными сотрудниками высказаться об уже совершившемся крушении не поодиночке, а как совокупность лиц, несмотря на различие в настроениях и взглядах, переживающих одну муку и исповедующих одну веру».

Это предисловие, написанное в июле 1918 г., устанавливало органическую связь между «Вехами» и «Из Глубины». То, о чем предупреждали «Вехи», совершилось. Сборник «Из Глубины», как и «Вехи», является памятником духовного прозрения их авторов. Они не только предвидели кровавый характер русской революции, но и разгадали подлинный лик ленинизма с первых же шагов установления его власти над Россией. Для этого им было достаточно прожить всего несколько месяцев под диктатурой коммунистов.

Сотрудники «Из Глубины» распадаются на две группы: старые авторы «Вех» и вновь привлеченные. Среди последних особенно выделяется Аскольдов (псевдоним Сергея Алексеевича Алексеева. 1870-1945), замечательного философа, умершего в Берлине. Он оставался в Советской России до 1941 г. и боль-

шую часть своей жизни провел в тюрьмах и ссылках. Его статья в сборнике «Из Глубины» полна предчувствия той Голгофы, которая выпала на его долю и на долю бесчисленного числа русских. На ней и на статье Бердяева я хотел бы остановиться. С содержанием других статей теперь может легко ознакомиться каждый интересующийся читатель. Я ограничусь лишь перечислением заглавий других статей: Вячеслав Иванов (1886-1949) — «Наш язык». С. А. Котляревский — «Оздоровление». В. Н. Муравьев — «Рев Племени». П. Н. Новгородцев (1866-1924) — «О путях и задачах русской интеллигенции». И. А. Покровский — «Перуново Заклятие». С. Н. Булгаков — «На пиру Богов». П. Б. Струве — «Исторический смысл русской революции и национальные задачи». С. Л. Франк — «De Profundis».

Аскольдов озаглавил свою статью «Религиозный смысл русской революции». Он начинает ее с очень оригинального анализа русской психологии. Он различает в каждом человеке три элемента: звериность (не в плохом смысле этого слова), человечность и святость. В русских средний человеческий элемент менее развит, по его мнению, чем два остальных. Поэтому так легки переходы у русских от добродушия к ярости, от покорности к бунтарству, от благоговейного преклонения перед святынею к кощунственному попиранию ее. Аскольдов убедительно доказывает, что Ленин, с первого дня своего приезда из заграницы на родину, сознательно и неуклонно стремился пробудить злого зверя в душе русских людей, и это удалось ему в полной мере. Одним из средств для этого было поругание христианства, всего святого, чем веками вдохновлялся народ, и что подымало его над его животными инстинктами.

Аскольдов ставит основной вопрос для всей русской революции: чем руководился Ленин в своем безоглядном стремлении к власти, чем он оправдывал свой обман народа, свою безжалостность к своим противникам, на чем строил свою уверенность, что именно он призван вести человечество в (страну обетований) обетованную землю. Ответ Аскольдова радикален: он заключается в одном слове: «Богоборчество». Ленин — фанатик, богоборец. Он одержим идеей, что он — спаситель человечества. Аскольдов утверждает, что обещание земного счастья и материального благополучия были лишь приманкой, скрывавшей истинные пружины ленинского динамизма. Им дви-

гало желание победить христианство, доказать человечеству, что Бога нет и ему, Ленину, принадлежит заслуга освобождения людей от этой вековой иллюзии. Аскольдов верно определил не только пафос ленинизма, но также и все значение для него сознательного обмана масс, известного под именем «пропаганды». Он пишет, что самое страшное в ленинизме не террор и физическое уничтожение невинных людей, а ложь и обман, сознательно проводимые. «Они делают долговечными факторами будущих беззаконий. Слова, в конце концов, связывают больше, чем дела» (стр. 92).

Последнее утверждение, которое идет вразрез с общераспространенной недооценкой силы слова, объясняет те огромные средства, которые советская власть тратит на пропаганду. Липкий покров «пропаганды» окутывает всех людей, вовлеченных в эту политическую систему. Яркой иллюстрацией этому служат слова доктора Живаго, обращенные к своим друзьям и написанные через 30 лет после статьи Аскольдова.

«От огромного большинства из нас требуется постоянное, в систему возведенное, криводушие. Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь, распинаться перед тем, что не любишь, радоваться тому, что приносит несчастье. Нашу душу нельзя без конца насильствовать безнаказано» (Б. Пастернак. «Доктор Живаго», стр. 495). Аскольдов был одним из первых, кто вскрыл внутреннюю органическую связь между ленинским богоборчеством и систематической борьбой советского строя с свободой слова и мысли.

Статья Бердяева «Дух Русской Революции» созвучна в своем анализе выводам Аскольдова. Ссылаясь на предвидение Достоевского, Бердяев пишет: «Духовная основа безбожного социализма — отрицание бессмертия, пафос социализма, желание устроить Царство Божие на земле без Бога, осуществить любовь между людьми без Христа, источника любви». («Из Глубины», стр. 62).

Знаменательно в статье Бердяева его ощущение хлестаковщины в стихии русской революции. Он пишет: «В ней обнаруживается колоссальное мошенничество, бесчестность, как болезнь русской души. Вся революция наша представляет торг, торг народной души и народного достоинства» (стр. 46).

Нет лучшего подтверждения этой стороны коммунизма, от-

меченной Бердяевым, чем слово «блат», которое выражает с предельной краткостью и цинизмом эту неприглядную сторону советской системы. Хлестаковщина, очковтирательство, всяческий блеф стали неотъемлемой частью советской действительности. Как на один такой разительный пример, можно указать хотя бы на постройку на севере Сибири железной дороги, длиной в 1000 километров, стоявшей жизни тысяч заключенных и огромных народных средств, по которой никогда не прошел ни один поезд, так как она оказалась непригодной для эксплуатации.\*

Не все, конечно, в «Из Глубины» выдержало испытание временем. Некоторые заключения авторов были сделаны поспешно. Многим из их надежд не суждено было осуществиться, но все это касается второстепенных сторон революции. В общем диагноз ее, поставленный видными представителями религиозного возрождения через 6 месяцев после победы ленинизма, оказался правильным. Люди, написавшие эту книгу, обладали даром пророчества. В 1909 году они предсказали торжество деспотизма в случае падения империи, в 1918 году они смогли точно описать основные черты только что возникшего советского строя. Это знание далось им не случайно. Оно родилось из их понимания тех религиозных глубин, которые придали ленинизму его мировое значение и сделали русскую революцию переломным событием истории.

Вражда к христианству, упорное желание доказать правоту атеизма и безусловная вера в непогрешимость Ленина также характерны для русского коммунизма в 1967 г., как они были характерны в 1918 г.

Конфликт между церковью и новой властью, вспыхнувший сразу после октября, остается и теперь. Его решающее значение сознавали авторы «Из Глубины», и вот почему их книга так современна, так много говорит своим читателям после полустолетнего молчания, наложенного на нее коммунистической цензурой.

*Оксфорд*

*Н. Зернов*

---

\* См. «Новый Мир», № 8. 1964 г. А. Побожин. «Мертвая Дорога»; также статья Ф. Искандера «Созвездие Козлотура», «Новый Мир», № 8. 1966 г.

## КНИГА СВЕТЛАНЫ\*

Естественно, что эту небольшую книгу берешь в руки с волнением. Дочь Сталина о Сталине и Советском Союзе. Судьба автора. Драматический побег. К тому же советское правительство своими протестами, нажимами против ее появления, присылкой за границу каких-то проходимцев, дабы хоть как-нибудь сорвать ее выход — сделало книге небывалую рекламу. И вот — книга в руках. Книга прочтена. И невольно задаешь себе вопрос: в чем же дело, почему правительство лилипутов-раб-факовцев так взволновалось? Ведь никаких сенсаций в книге нет. Ничего, как будто, подрывающего основы режима. В этом смысле книгу Светланы нельзя и сравнивать с книгами — В. Кравченко, Артура Кёстлера, Виктора Сержа, Бубер-Нейман, А. Орлова, И. Солоневича, А. Бармина, Ю. Марголина, Е. Гинсбург и с многими другими. И уж, конечно, не сравнить с речью Никиты Хрущева на 22-м съезде партии, опубликованной на Западе на всех языках и нанесшей международному коммунизму сокрушающий удар.

Книга Светланы не ставит себе целью, выражаясь поэтически, — «Рассказать обо всех мировых дураках / Что судьбу человечества держат в руках / Рассказать обо всех мертвецах-подлецах, / Что уходят в историю в светлых венцах» (Георгий Иванов). Это — искренне, просто написанная автобиография. Не совсем обычная по форме. 20 писем к другу. Лирический репортаж. Семейная хроника — о детстве и отрочестве автора, об ее отце, Иосифе Сталине, о матери, Надежде Аллилуевой, о близких. И тем не менее Косыгины правы. Чем-то подспудным эта книга должна быть им крайне неприятна. Прежде всего, разумеется, тем, что с молодых ногтей воспитанная на идеологии Маркса-Ленина-Сталина, член КПСС (но представитель молодого поколения, что правительству особенно неприятно,

\* Светлана Аллилуева. Двадцать писем к другу. Hutchinson of London. 1967 (стр. 222).

а нам особенно ценно!), дочь самого создателя «социализма в одной стране» — бежит от этого чингисханского социализма куда глаза глядят. А глаза глядят на свободные страны и прежде всего на страну «капиталистов, расистов и поджигателей войны» — США. Этот свободный голос молодого члена КПСС — Светланы Сталиной — публично отказывающейся от марксизма, как идеологии, говорящей о своей религиозности, о вере в Бога, в добро, в человека, в свободу его творчества и утверждающей, что ее взгляды **типичны** для многих из ее поколения, это, конечно, для лилипутов-рабфаковцев — большая неприятность.

Чего же не хочет и чего хочет поколение Светланы? Светлана говорит: «Страшно невежество, полагающее, что на сегодняшний день уже **всё** достигнуто и что ежели будет в пять раз больше чугуна, в три раза больше яиц и в четыре раза больше молока — то вот, собственно, и будет тот рай на земле, о котором мечтает это бестолковое человечество». — «Хочется культуры, знаний, хочется чтобы жизнь стала епейской накопец-то и для России; хочется говорить на всех языках мира; хочется повидать все страны, жадно, скорей, скорей!..» Как подтверждение этому «страшно» и этому «хочется», всякий вспомнит открытые письма А. Солженицына, Л. Чуковской, А. Вознесенского, трагические судьбы И. Бродского, А. Синявского, Ю. Даниеля.

Несколько первых писем Светланы — биография дедушки Аллилуева (многое уже известно тем, кто читал воспоминания самого дедушки), некоторые лирические описания природы, описание госдач сталинских вельмож — не очень увлекательны. И сначала книга как будто разочаровывает. Но как только Светлана переходит к описанию своих отношений с отцом, к описанию черт его характера, его повседневных привычек, перемежая это рассказом об облике матери и о трагическом браке Надежды Аллилуевой со Сталиным, — от книги трудно оторваться. Светлане веришь. Ее книга войдет в литературу о Сталине, заняв в ней особое место.

Ленин хорошо знал Сталина и говорил, что «сей повар любит готовить только острые блюда». Хорошо знал Сталина и Троцкий, в своих заграничных писаниях давший исчерпывающую характеристику Сталина-партийца и политика. Кое-что он

рассказал и о Сталине-человеке. Например, — как Сталин, Дзержинский и Каменев где-то сидели, отдыхали, болтали, предаваясь приятельским разговорам. Собеседники задались вопросом: что самое приятное в жизни? Дзержинский и Каменев сказали что-то тривиальное. Сталин же дал сильную формулу. Он сказал: «Самое приятное в жизни, это хорошо отомстить и пойти спать». Многолетний полпред СССР в Берлине Н. Н. Крестинский, старый большевик, тоже хорошо знавший Сталина, говорил о нем: «плохой человек с желтыми глазами». Вероятно, помимо всего прочего, и за это определение Крестинский заплатил «человеку с желтыми глазами» своим позором на московском процессе, где Сталин заставил его «признаться» в том, что он иностранный шпион и «враг народа». Но этого мало. В лубянском подвале Крестинский получил еще пулю в затылок. А его жена и дочь пошли куда-то в Сибирь. Сталин же «пошел спать».

За рубежом России литература о Сталине — громадна. Воспоминания бывших товарищей Сталина по начальной революционной работе на Кавказе, когда он был еще «Кобой», воспоминания видных советских бывших коммунистов и крупных чекистов, рисующих Сталина, уже стоящего у власти в СССР. Есть много интересного и в книгах и в воспоминаниях иностранцев: у Милована Джиласа, у де Голля, у Черчилля, у многих других. Характерную подробность «стиля Сталина» рассказывал своим друзьям первый американский посол в советской Москве Вильям Буллит. Желая обласкать просоветский тогда настроенного Буллита, Сталин пригласил его как-то в свою ложу в Большом театре и там во время балета шепнул ему: «Выберите себе любую, какая вам нравится, и она придет к вам вечером». Это был циничный «ход конем». Но Сталин не «допонял», что это предложение потрясет западника Буллита и станет его начальным отталкиванием от страны «победившего социализма». Думаю, Буллит все-таки не понимал, что в ложе с ним сидит вовсе не «глава государства», а — подпольщик, заговорщик, Петр Верховенский (пусть не столь диалектически блестящий). Иностранцы ведь до сих пор «бесовщины» большевизма не понимают. Они думают, что когда Хрущев стучит грязным ботинком по пюпитру в зале Объединенных Наций, это всего-навсего невоспитанность. Нет, это целая программа. Это нормальный жест того низменного. хам-

ского нигилизма, которым пропитана вся эта ленински-нечаевская КПСС.

Жуткую подробность о жестокости Сталина рассказывает в своей книге бывший видный чекист Александр Орлов (псевдоним). В 1936 году на банкете (Светлана называет эти сталинские «пиры» — застольями, и говорит, что они правильно описаны Милованом Джиласом в его «Разговорах со Сталиным»), — так вот, на таком застолье чекистов во главе со Сталиным, один из близких к Сталину чекистов, Паукер, когда все пировавшие были уже в сильном подпитии, симпровизировал перед «отцом народов» сцену, как Григория Зиновьева тащат чекисты на расстрел, в подвал, и как Зиновьев, беспомощно повиснув на руках своих конвоиров, жалостно кричит, призывая на помощь старого еврейского Бога. Над импровизацией Паукера Сталин хохотал до упаду. Но это не помешало ему через два года расстрелять и этого самого (бывшего парикмахера) вельможу-чекиста Паукера, окрестив его «немецким шпионом».

Характеристика Сталина-тирана, залившего Россию кровью (по пути к «социализму», конечно!), установившего на шестой части земли небывалую систему террора (по численности убитых Сталин во много раз превзошел Гитлера!), эта характеристика на Западе давно установлена и неоспорима. Но вот перед нами книга его любимой дочери. Противоречит ли она этому установившемуся облику Сталина?

Нет. Напротив, некоторыми подробностями эта книга даже подчеркивает уже известные нам характерные черты Сталина. Та же — жестокость. Сталин не любил своего сына Якова (от первой, рано умершей жены, Сванидзе) и своим жестоким обращением довел Якова до попытки самоубийства. Яков стрелялся. Но в сердце не попал, остался жив. Как же к этому отнесся его отец? Светлана пишет: «Доведенный до отчаяния отношением отца ... Яша выстрелил в себя у нас на кухне, на квартире в Кремле. Он, к счастью, только ранил себя — пуля прошла навывлет. Но отец нашел в этом повод для насмешек: 'Ха, не попал! ..' — любил он поиздеваться». А когда во время войны Яков попал в плен, Сталин приказал арестовать его жену Юлию. Светлана пишет: «У него зародилась мысль, что этот плен неспроста, что Яшу кто-то умышленно «выдал» и «под-

вел» и не причастна ли к этому Юлия?» И Юлия ни с того ни с сего пробыла два года в тюрьме. Кстати, Юлия была еврейка. Светлана пишет, что Сталин был недоволен тем, что его сын женился на еврейке. О некотором антисемитизме Сталина было давно известно. Но Светлана пишет даже о его «ненависти к евреям». Стало-быть между расистом Гитлером и марксистом Сталиным разница не так уж велика.

Вот еще черта полной бесчеловечности Сталина. В 1937 году, известный вельможа-чекист, сподвижник Дзержинского, Станислав Реденс подвернулся Сталину «под руку» во время «великой чистки» (Берия подставил Реденсу ножку) и Сталин его безжалостно «шлёпнул». Реденс был свояк Сталина, он был женат на Анне Аллилуевой, сестре Надежды. Светлана весьма нежно описывает эту «святую дурочку» Анну, обожавшую своего Стаха и всегда волновавшуюся по всяким добрым «малым делам». Эта «христианка» (по мнению Светланы) считала своего мужа-чекиста «самым лучшим, самым справедливым и самым порядочным человеком на земле». Естественно, что такая Анна раздражала Сталина, он называл ее «дурой», говорил, что ее «доброта хуже подлости», и когда Анна никак не могла поверить, что «самый порядочный человек на земле», ее Стах, расстрелян (в том же подвале, где по его приказам расстреливали тысячи людей), это неверие Анны настолько взбесило Сталина, что он, как говорит Светлана, «сам безжалостно сообщил ей об этом». А в 1948 году эту самую «юродивую Анну» Сталин приказал арестовать и она пошла в Сибирь вместе с женой ближайшего сталинского друга Молотова — Жемчужиной. В тюремной одиночке Анна провела шесть лет, кончив шизофренией. После смерти Сталина ее освободили.

Из книги Светланы я беру только два примера жестокости Сталина, которые вполне соответствуют сложившемуся у нас образу этого, конечно, — человеко-чудовища. Но было бы неумно со стороны читателя ждать от Светланы каких-то «разоблачений» Сталина в стиле Троцкого. Во-первых, Светлана не политик, во-вторых, в самый разгар террора она была ребенком, она многого не знала и не могла знать. А главное, Светлана — **родная дочь** Сталина, которую он в детстве и отрочестве нежно любил, носил на руках, баловал, целовал. Сталин не переносил светланиных слез и ее детских огорчений, Сталин

был добрым отцом. (Говорят, что Химмлер был примерным семьянином). Как же может Светлана выбросить из своего сердца, из воспоминаний детства и отрочества эту любовь отца и свою любовь к нему? Она ее, естественно, и не выбрасывает.

В 1938 году, в разгар страшнейшего террора, когда тюрьмы, изоляторы, концлагеря были переполнены ни в чем неповинными, оговоренными людьми, которых чекисты пытали и убивали, Сталин писал своей дочери «Сетанке» (так он ее ласкательно называл) полные любви и заботы письма:

«Здравствуй моя воробушка! Письмо получил. За рыбу спасибо. Только прошу тебя, хозяйюшка, больше не посылать мне рыбы. Если тебе так нравится в Крыму, можешь остаться в Мухолатке все лето. Целую тебя крепко. Твой папочка» (7 июля 1938 года).

«Моей хозяйюшке — Сетанке — привет! Все твои письма получил. Спасибо за письмо! Не отвечал на письма, потому что был очень занят. Как проводишь время, как твой английский, хорошо ли себя чувствуешь? Я здоров и весел, как всегда. Скучновато без тебя, но что поделаешь — терплю. Целую мою хозяйюшку» (22 июля 1939 года).

Светлана хорошо описывает свои чувства при вечном расставании с отцом, с этим, как она сама пишет, «ужасным человеком»: — «Как странно, в эти дни болезни, в те часы, когда передо мной лежало уже лишь тело, а душа отлетела от него, в последние дни прощания в Колонном зале — я любила отца сильнее и нежнее, чем за всю свою жизнь... В те дни, когда он успокоился, наконец, на своем одре и лицо стало красивым и спокойным, я чувствовала, как сердце мое разрывается от печали и от любви... Я смотрела в красивое лицо, спокойное и даже печальное, слушала траурную музыку (старинную грузинскую колыбельную народную песню с выразительной грустной мелодией) и меня всю раздирало от печали. Я чувствовала, что я — никуда негодная дочь, что я никогда не была хорошей дочерью, что я жила в доме как чужой человек, что я ничем не помогла этой одинокой душе, этому старому, больному, всеми отринутому на своем Олимпе человеку, который все-таки мой отец, который любил меня — как умел и как мог — и которому я обязана не одним злом, но и добром... Принесли носилки и положили на них тело. Впервые увидела я отца нагим — красивое тело, совсем не дряхлое, не стариковское. И меня

охватила, кольнула ножом в сердце странная боль — и я ощутила и поняла, что значит быть 'плоть от плоти'...»

Эта отринутость одинокого на своем Олимпе человека, эта шекспировская тема одиночества тирана, одиночества Сталина, если и не дана полностью в книге Светланы, то очень ярко намечена. В этом смысле характерен даже стиль личной жизни Сталина — он любил жить в очень большой, почти пустой комнате. «Никакой роскоши там не было — только деревянные панели на стенах и хороший ковер на полу были дорогими», пишет Светлана. В мрачной, громадной комнате — обязательный камин (Сталин любил огонь), диван, на котором он спал и стол, где работал. В таком пуританском стиле, на мой взгляд, больше вкуса, чем в роскоши буржуазных особняков, куда после отъезда настоящих владельцев въехали коммунистические нувориши — Микоян и Ворошилов — в особняки нефтепромышленника Зубалова, Крыленко — в особняк купцов Морозовых и т. д. и т. п. На своей Ближней даче в Кунцево в полупустых громадных комнатах, в полном душевном одиночестве жил этот тиран, создавший небывалую в истории террористическую систему, в которой, как пишет Светлана, «он сам задыхался от безлюдья, от одиночества, от пустоты». — «Он был предельно ожесточен против всего мира. Он всюду видел врагов. Это было уже патологией, это была мания преследования — от опустошения, от одиночества... Отец не выносил вида толпы, рукоплещущей ему и орущей «ура»... «Разинут рот и орут, как болваны», говорил он со злостью». Такого вполне зловещего облика Сталина никто еще не давал. «Вокруг отца, как будто, очерчен черный круг — все, попадающие в его пределы, гибнут, исчезают из жизни».

Сталин губил не только миллионы неизвестных ему людей, но и самых близких к нему, ибо в предельном одиночестве подозрительность тирана с годами становилась маниакальной. Образ Сталина под пером его дочери — убедителен. Но есть в книге Светланы утверждения, с которыми трудно согласиться. Прежде всего — со «злым влиянием» Берия на Сталина. Светлана пишет, что это злое влияние «не прекращалось до самой смерти. Я говорю о его влиянии на отца, а не наоборот, не случайно. Я считаю, что Берия был хитрее, вероломнее, коварнее, наглее, целеустремленнее, тверже — следовательно сильнее, чем отец... он знал, слабые струны отца — уязвленное самолю-

бие, опустошенность, душевное одиночество и он лил масло в огонь и раздувал его сколько мог и тут же льстил с чисто восточным бесстыдством». Такой портрет «маршала от НКВД» Лаврентия Берия нам кажется правильным. Начавший чекистскую карьеру с двадцатилетнего возраста Берия, конечно, был моральным идиотом, преступником и прохвостом. И Светлана убедительно рассказывает, как Берия боролся со всеми в окружении Сталина, кто ему казался, или был ему опасен. Он «устранил» многих из самых близких к Сталину людей. Известна борьба Берия с Ежовым, из которой Берия вышел победителем. Все это так. В борьбе чекистских «пауков в банке» Берия, разумеется, наушничал Сталину, составлял доносы, «легенды», «признания», «показания». Но ведь такой Берия у Сталина был не один. Таких Малют у Сталина было несколько: Поскребышев, Ягода, Маленков, Микоян, Хрущев и другие. Все это были «мелкие бесы», выполнявшие грязные и кровавые поручения «отца народов». Совершенно неубедительно выделять из них Берия и говорить о его «злом влиянии». На общую политику Сталина никто влиять не мог. Это была **его** политика. Для такого влияния Берия, как и другие Малюты, был слишком мелкотравчат, что и доказал его быстрый конец, как только он остался без Сталина. При Сталине, обороняя чужими смертями свою карьеру, Берия, как и Ягода, был всего навсего — сохраняя все пропорции исторических фигур — Фушэ при Наполеоне. Ведь сама же Светлана пишет, что Сталин «был поразительно чуток к лицемерию, перед ним невозможно было лгать». Уже это одно уничтожает возможность такого влияния Берия, о котором она говорит.

Столь же неубедителен отвод от Сталина вины в убийстве Кирова. «Отец любил Кирова, он был к нему привязан», пишет Светлана, «в причастность отца к **этой** гибели я не поверю никогда». Но «любовь Сталина» — довод крайне зыбкий и неубедительный. Сталин убил многих из тех, кого он «любил». Светлана и в этом убийстве хочет видеть руку Берия. Но тогда ведь не Берия, а верный пес Сталина — Генрих Ягода — был всемогущим начальником НКВД? И все, что мы знаем на Западе об убийстве Кирова говорит только об одном: Кирова убило НКВД (во главе с Ягодой) — стало-быть по прямой директиве Сталина.

Есть в книге и иные утверждения и мысли, с которыми

трудно согласиться. Так, говоря об окружении Сталина — о «высшем свете» Кремля, о старых большевиках, которых в таком количестве перестрелял Сталин, Светлана впадает в чрезмерно (как мне кажется) патетический тон, вполне понятный в СССР, но непонятный свободному человеку, защищающему свою свободу и свободу своих ближних. Об этом «цвете» партии Светлана пишет: «Какие это были люди! Какие цельные, полнокровные характеры, сколько романтического идеализма унесли с собой в могилу эти ранние рыцари Революции — ее трубадуры, ее жертвы, ее ослепленные подвижники и мученики».

Кто же они, эти «рыцари», «трубадуры», «подвижники», «мученики»? Это та старая гвардия большевиков, которая поддержала Ленина в его каиновом деле — гражданской войны, физического истребления миллионов людей, в искалечении русской духовной культуры. Читая эти страницы книги Светланы, удивляешься. Неужто же она, отрекаясь от марксизма-ленинизма, как догмы, от насилия, от террора, не понимает, что именно эти «светлые личности» большевизма, эти «трубадуры», «рыцари» и «подвижники» наиболее повинны во всей этой человеконенавистнической системе, что существует уже полвека? В том зле, которое принесла всей России (без различия классов и национальностей) эта заговорщическая, антинародная, преступная и похабная октябрьская революция, повинны именно «рыцари» и «трубадуры». Сталин не вышел из «пены морской», он верный сын партии, истый ленинец, совершенно закономерное явление в развитии большевистской террористической диктатуры. И если он оказался не только убийцей миллионов ни в чем неповинных людей, но и неким Возмездием для собственной партии, то в этом есть своя справедливость.

Когда-то в 1917 году, перед захватом власти большевиками, я был в Пензе на большом митинге рабочих и крестьян (все они тогда были в солдатских шинелях). Митинг ревел. Митинг неистовствовал. И вот на красную трибуну, увитую кумачем, поднялся старенький меньшевичек. Похаживая по этому красному помосту, он в своей речи предупреждал «товарищей слева», большевиков, от захвата власти. Грозя куда-то в пространство стареньким, сухеньким пальцем, старичек-меньшевичек слабым голосом постоянно повторял такой рефрен: — «Помните, товарищи, история злая старушка... Помните, товарищи,

история злая старушка...» Меншевичек-старичек был, конечно, и умен, и образован, и к тому же с интуицией. Тогда, в Пензе он был пророком. Старушка-история в России оказалась особенно зла. Перестреляв видимо-невидимое количество людей, она наконец — «в развитии революции» — подкралась и к самой партии большевиков в лице Сталина, как великое Возмездие. К этому Возмездию ни «теория классовой борьбы», ни «железные законы экономики» были уже непреложимы. Тут должны были прилагаться какие-то иные, пожалуй, мистические измерения. «Злом злых погублю». Ведь когда в те же самые чекистские подвалы те же самые большевики-чекисты волокли Зиновьевых, Каменевых, Рыковых, Бухариных, Крестинских, Раковских, Реденсов, Сокольниковых, Пятаковых, Ягоду, Ежова и тысячи других, это было справедливое и необходимое Возмездие, осуществляемое полубезумным в своей мании, Сталиным. Смерти «трубадуров», «рыцарей», «подвижников», «мучеников» были нужны жизни, ибо были омыты кровью миллионов людей. И вряд ли стоит этих «трубадуров» хотя бы как-то оплакивать. В своих тюремных воспоминаниях польский писатель Александр Верт рассказывает, как перед смертью в саратовской тюрьме умный, старый большевик Ю. М. Стеклов (Нахамкес) сказал ему: — «у всех у нас руки в крови». Эти слова были, как предсмертная исповедь. И напрасно так патетически (а потому и нехорошо) Светлана пишет о Сванидзе, Реденсе, Павле Аллилуеве, Бухарине, Енукидзе. Пусть в частной жизни все они были милые и хорошие люди. Мы это знаем, в это верим. Но ведь именно они делали самую жестокую, самую кровавую в мире революцию и злая старушка история была права, когда взяла их за горло, ибо их вина — нáбольшая, они — «трубадуры» — были мозгом, совестью и моральным капиталом партии. Одни «рукастые» (по выражению Ленина) большевики никогда бы не могли ни захватить, ни удержать власть. К несчастью России (и всего мира!) это сделали «несгибаемые большевики», интеллигенты, «рыцари» и «подвижники».

Вспоминаю, как покойный друг, профессор Н. Е. Ефремов, рассказывал мне об одном поразительном случае из его тюремных скитаний во время ежовщины. В камере с ним сидел бывший матрос, бывший чекист. Никаких иллюзий относительно своего конца у матроса не было. Он про себя все что-то шептал. «Может-быть, молился», сказал Ефремов. И этот матрос в своей

потребности какого-то покаяния рассказывал Ефремову, как в свое время в Черном море они топили белых офицеров, привязывая их живыми к рельсам и с этими рельсами выбрасывали в море. Когда час этого чекиста-матроса настал и за ним пришли, вызвав «с вещами», он встал, перекрестился мелким крестом, и прощаясь с Ефремовым, шепнул ему: — «Вот они рельсы-то когда выходят...»

«Рельсы выходят». К сожалению, не всегда во время, но все-таки часто «выходят». И в убийствах Урицкого, Войкова, Воровского, Кирова, Троцкого, Берия, в расстрелах старой большевистской гвардии Сталиным, в самоубийствах Гитлера, Геринга, Геббельса, Химмлера, в повешении Айхмана, Риббентропа, Розенберга, — это все одни и те же «выходящие рельсы», которые **должны** «выходить», иначе бы жизнь стала еще страшнее.

А. Орлов, со слов уже упоминавшегося чекиста Паукера, в свое время бывшего начальником личной охраны Сталина, рассказывает об одном остром столкновении Надежды Аллилуевой с своим мужем в Кремле. Мать Светланы, будто бы, закричала Сталину: «Ты мучитель, вот ты кто! Ты мучишь своего родного сына, ты мучишь жену, ты мучишь весь народ!»

Это очень похоже на Аллилуеву по всему тому, что мы о ней знаем. Не выдержав этого «всеобщего мучения» она застрелилась. Для честного человека-большевика, осознавшего во что превратилась их революция, это был естественный выход.

В своей книге Светлана рассказывает, как любивший ее в детстве и отрочестве отец, позднее стал постепенно от нее отходить, охладевать и наконец отошел вовсе. Почему? Когда Светлана кончила среднюю школу, Сталин настоял, чтоб она пошла на исторический факультет, чтобы стать серьезно-образованным марксистом. Естественно, он хотел видеть в дочери **свою** Светлану, такую же, как он, «несгибаемую большевичку». Но судьба судила иное. Светлана пошла не по пути отца, «несгибаемого большевика», а по пути трагически умершей матери. Сталин с годами это, вероятно, чувствовал. Чувствовал, что любимая им дочь становится, в сущности, таким же «врагом народа», каким оказалась Надежда Аллилуева. И вот теперь, если бы Сталин был жив в дни побега Светланы из страны его чингисханского социализма, построенного на миллионах трупов и миллионах искалеченных жизней, он должен бы был воспри-

нять этот побег как **ответ** ему мертвой Надежды Аллилуевой.

Побег Светланы и «Двадцать писем к другу» — это ответ не только Сталину, это ответ всему режиму, всем большевикам, 50 лет душившим живую Россию. Это ответ еще живой России.

*Роман Гуль*

## Г. В. ВЕРНАДСКИЙ

В августе этого года исполнилось 80 лет выдающемуся русскому историку, профессору Георгию Владимировичу Вернадскому. Г. В. родился 20 августа 1887 г. в Петербурге. Детские и юношеские годы провел в Москве, где отец его, Владимир Иванович Вернадский, был профессором Московского университета, позже — академиком, известным ученым в области минералогии и биохимии.

В 1905 году Г. В. Вернадский окончил классическую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Но в бурную осень 1905 г. занятий в университете фактически не было, и Г. В. уехал в Германию, где слушал лекции на философском факультете Фрейбургского университета. Осенью 1906 г. Г. В. возвратился в Московский университет, который и окончил в 1910 году. Будучи студентом, Г. В. женился на Нине Владимировне Ильинской, которая стала верной спутницей всей его жизни и усердной помощницей в трудах.

В 1913 г. Г. В. сдал магистерские экзамены при Петербургском университете (по русской истории его экзаменатором был глава «петербургской школы» русских историков, профессор С. Ф. Платонов) и получил звание приват-доцента по кафедре русской истории. В Петербурге Г. В. Вернадский читал курс лекций, вел семинар по русской истории на историко-филологическом факультете и готовил магистерскую диссертацию: «Русское масонство в царствование Екатерины II»; диссертация эта вышла из печати весной 1917 г.; в октябре 1917 г. состоялась ее публичная защита и Г. В. получил степень магистра русской истории.

В 1917 г. Г. В. был избран профессором по кафедре русской истории в новооткрытом Пермском университете. Весной 1918 г. Вернадские переехали из Перми в Крым, в Симферополь, где открылся новый университет — Таврический. Здесь Г. В. преподавал русскую историю и принимал деятельное участие

в работах Таврической Ученой Архивной Комиссии. После поражения Белой армии, в ноябре 1920 г., Вернадские эвакуировались с армией сначала в Константинополь, а потом переехали в Афины, где прожили около года. Здесь Г. В. усиленно занимался изучением источников и литературы византийской истории.

В начале 1922 г. Вернадские переехали в Прагу. Там, по инициативе профессора П. И. Новгородцева, открылся Русский юридический факультет, и Г. В. Вернадский был приглашен читать лекции по истории русского права. В пражский период своей жизни Г. В., между прочим, подготовил и издал «Очерк истории права русского государства XVIII-XIX вв.» (1924), а затем специальное исследование о составленном Новосильцевым, по поручению Александра I, проекте конституции для России: «Государственная уставная грамота Российской империи 1820 года» (Прага, 1925); впоследствии это исследование было издано по-французски. В Праге Г. В. близко сошелся с знаменитым археологом и историком византийского и древне-русского искусства Н. П. Кондаковым, который пробудил в нем интерес к изучению древнейших периодов истории русской равнины и ее дославянского населения; после смерти Н. П. Кондакова (в 1925 г.) Г. В. принимал деятельное участие в работе т. наз. «Кондаковского института».

В Праге ряд книг Г. В. вышли тогда в «евразийском книгоиздательстве», они содержат обзор истории «России-Евразии», ее политического и культурного развития. В первой из них: «Начертание русской истории», ч. I (1927), Г. В. утверждает во введении: «Нет 'естественных границ' между 'европейской' и 'азиатской' Россией, следовательно, нет двух России 'европейской' и 'азиатской'. Есть только одна Россия — 'евразийская' или 'Россия-Евразия'». В 1934 г. вышла книга Г. В. «Опыт истории Евразии с половины VI века до настоящего времени». «Русская история, — говорит Г. В., — есть история русского народа в рамках Евразии, которые постепенно русским народом осваиваются. История Евразии есть история сообщества различных народов на почве евразийского месторазвития, их взаимных между собою притягиваний и отталкиваний и их отношения вместе и порознь к внешним (вне-евразийским) народам и культурам. Русская история и история Евразии должны взаимно дополнять друг друга, но обе одинаково имеют право на существование».

В 1938 г. вышла книга Г. В. «Звенья русской культуры», ч. I (до половины XV века), охватывающая хозяйство, общество, власть и управление, право и суд; здесь автор выясняет и подчеркивает влияния Византии и Востока в различных областях древне-русской жизни.

Летом 1927 года Г. В. Вернадский получил приглашение от Йельского университета на должность **Research Associate in History** и переехал в США, поселившись в Нью Хэвен. В 1946 г. Г. В. был назначен профессором русской истории в Йельском университете; неоднократно он читал курсы лекций в других американских университетах и принимал участие в ряде исторических конгрессов в США и в Европе. С июля 1956 г. Г. В. — в отставке по предельному возрасту, но продолжает неутомимо заниматься научной работой.

За американский период своей жизни Г. В. подготовил к печати и издал ряд ценных книг по русской истории характера монографий и университетских учебников. Уже в 1929 г. вышла в свет его **“A History of Russia”**, которая получила широкое распространение в университетах США и была переведена на несколько иностранных языков.

Весьма ценной является вышедшая в 1936 г. книга Г. В. **“Political and Diplomatic History of Russia”**. Снабженные библиографическими и предметными указателями, книги Г. В. могут служить надежными и удобными справочниками для тех, кто интересуется русской историей. Назовем еще несколько отдельных монографий Г. В. Вернадского. В 1931 г. вышла его большая книга **“Lenin, Red Dictator”**; в заключительной главе автор дает обоснованную характеристику Ленина, как политического вождя. В следующем, 1932 г., вышла **“The Russian Revolution, 1917-1932”**. В 1941 г. вышла книга Г. В. **“Bohdan, Hetman of Ukraine”**. В 1947 г. в книге **“Medieval Russian Laws”** Г. В. дал английский перевод древних памятников русского права, «Русской Правды» и Псковской и Новгородской «судных грамот».

Но всем вышесказанным далеко не исчерпывается научная работа Г. В. Вернадского. Самым главным его трудом является многотомная история России, из которой до сих пор появились в печати три тома: **“Ancient Russia”** (1943), где автор описывает исторические судьбы Русской равнины до конца IX века, основываясь на источниках не только славянских и византийских,

но также арабских, персидских, китайских, армянских, грузинских и сирийских. Вторым томом этого капитального труда является **“Kievan Russia”** (1948), третьим **“The Mongols and Russia”** (1953); в последней книге Г. В. излагает историю монгольско-татарского периода, рассматривая русские княжества этого времени как провинции великой Монгольской империи (каковыми они формально и были) и указывая на монголо-татарские влияния в разных сферах русской жизни. Во всех названных книгах, как и в общем курсе русской истории, Г. В. Вернадский дает не только политическую, социальную и экономическую историю России, но стремится охватить в своем изложении все стороны духовной русской культуры. В 1959 г. вышел 4-й том «монументальной» истории Г. В. под заглавием: **“Russia at the Dawn of the Modern Age”** (охватывающий историю XV-XVI вв.) и в этом же году вышла его монография: **“The Origins of Russia”**. В настоящее время Г. В. закончил и сдал в печать 5-й том своей **“History of Russia”**, охватывающий историю XVII века.

Приведенный список трудов Г. В. Вернадского содержит только его книги (и то не все), но совершенно не касается множества статей, напечатанных им в различных журналах.\* В частности, в «Новом Журнале» Г. В. напечатал ряд работ: «Милюков и месторазвитие русского народа» (по поводу выхода за границей «Очерков по истории русской культуры» П. Милюкова), «Повесть о Сухане» (по поводу книги советского историка В. И. Малышева), «Из древней Евразии» (по поводу книги советского историка Л. Н. Гумилева), «Человек и животный мир в истории России», «Усть-Цилемские рукописные сборники» и др.

В связи с 80-летием Георгия Владимировича мы шлем ему наши искренние пожелания здоровья и дальнейшей плодотворной творческой работы.

*Редакция*

---

\* Краткие биографические сведения о Г. В. и полный список его печатных трудов см. в книге: **Essays in Russian History. A Collection Dedicated to George Vernadsky.** Edited by Alan D. Ferguson and Alfred Levin. Archon Books. Hamden, Conn. 1964.

## БИБЛИОГРАФИЯ

SIMON KARLINSKY. *Marina Cvetaeva, Her Life and Art*. Berkeley and Los Angeles. University of California Press. 1966, vii + 317 pp.

Habent sua fata libelli, гласит пословица; и можно прибавить, что судьба авторов этих «книжек» часто бывает печальнее судьбы их книг. А в наш двадцатый век, среди русского поколения, бессмысленно «растратившего» своих поэтов, судьба этих поэтов нередко была и глубоко трагической. «Век» поэтов, как предсказал Гумилев, был часто «короткий» и почти всегда «горький».

Теперь, со смертью Анны Ахматовой, блестящее поколение русских поэтов первой половины двадцатого века уже совсем отошло в прошлое, и можно подводить итоги. Но какие ужасные итоги! С одной стороны, — блестящие творческие достижения; с другой, — страшные человеческие трагедии: аресты, расстрелы, самоубийства, ссылки в концлагеря, замалчивания, поругания.

Крупный русский поэт, Марина Цветаева, прожила почти всю свою творческую жизнь за рубежом, вне досягаемости советских притеснителей. Но и в эмиграции ее жизнь и творчество претерпели многое от неблагодарности своего поколения. В своей независимости, в своей верности собственному таланту, Цветаева просто не умела подчиняться чуждым ей литературным заповедям. В тридцатых годах она почти не печаталась; критика или замалчивала ее или порицала; жила она чуть ли не в нищете, почти без помощи и защиты. И наконец, отчаявшись, одинокая, надеясь все-таки найти в СССР своего мужа (на самом деле уже расстреленного, несмотря на его «заслуги» перед НКВД), Цветаева вернулась в 1939 году в Россию. Но там, после двух невыносимых лет жизни в атмосфере подозрительности и открытой вражды, и опять в крайней нужде, Марина Цветаева покончила с собой.

Знаменательны простые библиографические данные: сборник «После России», опубликованный в 1928 году, был последним при жизни поэта; после этого в эмиграции не появилось ни одного сборника стихов Цветаевой, хотя она написала много. Многое осталось неизданным, а много прекрасных произведений Цветаевой печатались только в журналах и газетах, включая поэмы «Крысолов», «Лестница», «Попытка комнаты», «Поэма воздуха», «Автобус», пьесы «Фортуна»,

«Феникс», «Тезей», «Федра», и др. Странно, но сейчас единственно доступные издания Цветаевой это именно *советские* издания 1961 и 1965 г. Но издания эти «робкие», как их недавно охарактеризовал А. Солженицын,\* — неполные, стихи выбраны тенденциозно и часто даны в искаженном виде; но все-таки эти издания существуют, а эмигрантских, к сожалению, нет.\*\* Те же сборники стихов Цветаевой, которые были изданы в эмиграции в 20-х годах, стали давно библиографической редкостью.

Странно и то, что *первая* обстоятельная книга о Цветаевой появилась не на русском, а на английском языке. Правда, она написана американцем русского происхождения, проф. Калифорнийского университета Симоном Карлинским. Книга эта — большой и серьезный труд. Проф. Карлинский поставил себе три цели. Во-первых, он должен был написать «защиту» Цветаевой, то-есть установить и обосновать заслуженное ею положение среди первоклассных поэтов нашего времени, поставить ее наряду с Хлебниковым, Маяковским, Гумилевым, Мандельштамом, Ходасевичем, Пастернаком, Ахматовой. Во-вторых, проф. Карлинский, поскольку это теперь возможно, попытался написать и *биографию* Цветаевой. Это была трудная работа, ибо существующие источники о жизни Цветаевой чрезвычайно скудны. Большинство близких Цветаевой людей уже умерло, почти ничего о ней не написав. Но с необычайной тщательностью проф. Карлинский все же собрал очень много данных по первоисточникам, и даже сделал интересные открытия. Несмотря на пробелы в источниках он сумел создать удивительно полную картину жизни Цветаевой от начала до ее трагического конца. Здесь не только факты, но и настоящее восстановление личности поэта, ее внутренней духовной жизни.

В этой попытке проф. Карлинский — совершенно правильно, на мой взгляд — старается воздерживаться от слишком смелых психологических гипотез. Он поставил себе задачей, главным образом, констатировать факты, показать «что» было, но не «почему». Надо

---

\* «Первое робкое напечатание ослепительной Цветаевой лет десять назад было объявлено грубой политической ошибкой». (Письмо А. И. Солженицына Четвертому съезду советских писателей, перепечатанное в «Новом Русском Слове» 18 Июня 1967 г.) Солженицын очевидно имеет ввиду те стихотворения Цветаевой, которые появились во время «оттепели», 1956, в сборниках «Литературная Москва» и «День поэзии».

\*\* Ради точности надо отметить, что один сборник ранее неизданных стихов Цветаевой появился в Мюнхене в 1957 г. («Лебединый стан», стихи 1917-21 гг.).

отметить и то, что, до известной степени, первая цель Карлинского, «защита» Цветаевой, не полностью гармонирует со второй. В пылу своей защиты Карлинский иногда теряет свою научную объективность и несколько «смягчает» характер Цветаевой, в котором для многих несомненно были и непривлекательные стороны.

Третья цель проф. Карлинского — литературный анализ творчества Цветаевой. Здесь автор стремится проследить развитие ее тем и стилей, установить ее отношение к литературным течениям своего времени. Это, конечно, очень большая задача и, я думаю, что Карлинский вовсе и не претендует на то, что он ее выполнил исчерпывающе. Но Карлинский первый начал ту работу, которая несомненно продолжится в последующих исследованиях творчества Цветаевой.

Существует традиция, по которой надо закончить свой отзыв каким-нибудь придирчивым замечанием об ошибках или пробелах рецензируемой книги. Я это тоже сделаю. Так, в главе посвященной «технике» стиха Цветаевой Карлинский ставит много интересных вопросов и делает много тонких наблюдений. Но все-таки это, на мой взгляд, самая слабая часть книги. Может-быть, это результат широты охвата темы. Отчасти же это происходит от некоторой шаткости лингвистических и литературно-критических формулировок автора и от некоторой небрежности его английского языка.

По-моему, недостаток труда Карлинского в некоторой торопливости, в отсутствии ясного и обстоятельного изложения многих проблем. Но несмотря на эти (в конце концов небольшие) недостатки, книга Карлинского заслуживает и внимания литературоведов и благодарности любителей русской поэзии.

*Хью Маклейн*

**SIMON KARLINSKY. *Marina Cvetaeva. Her Life and Art.* University of California Press. Berkeley and Los Angeles. 1966.**

Постепенно на книжных полках библиотек западного мира появляются книги, о которых десять лет тому назад мы не могли и мечтать. Книги В. Сечкарева об Анненском, К. Брауна о Мандельштаме, В. Маркова о Хлебникове, С. Карлинского о Цветаевой. Впереди нас ждут книги о Белом, о Гиппиус, о Ходасевиче. Они вырастают из диссертаций в больших американских университетах. Если это не всегда «окончательные» работы, если их авторы не всегда исчерпывают материал, то во всяком случае они значительны и необходимы, они восполняют пустоту в русском литературоведении и вызывают к жизни «бессмертных забытых» и «великих запретных». Книга Карлинского среди этих изданий — одна из

лучших: она одна из тех, которые — так, по крайней мере, мне кажется — исчерпали материал. Она дает окончательный анализ поэзии Цветаевой и собирает в фокус данные ее трагической жизни.

Цветаева любила судьбы необыкновенные, смелые жесты, звонкие, протестующие голоса: от Лермонтовского стиха, «налитого горечью», до угрозы Маяковского запустить в врагов сто томов «своих партийных книжек». Она до конца считала, что мир, в котором она родилась, безумен, и находила для него только один ответ — «отказ».

Это был романтизм, детская болезнь, которая свела ее в могилу, при котором портрет царской семьи, куст рябины, сказочный облик царь-девицы и старая орфография были образами России, ее России. Парадокс сейчас ясен: Цветаева жила и осталась жить в благородном обществе гениев, не принявших этого мира, но с громадной творческой силой повлиявших на него. Она осталась с Ван Гогом и Лотреамоном, с Новалисом и Рэмбо, с теми, кто вернул билет, но кто, независимо от этого жеста, остался с нами.

Собственное детство очень рано было ею признано как период жизни во всем совершенный. Уже в стихотворении «Из сказки в сказку» (1912) она обещала своему мужу остаться навеки маленькой девочкой и научить и его быть ребенком. Детство было идеальной страной, где все было всегда прекрасно. Отсюда — зрелость, как изгнанничество в жизнь, и обособленность поэта не только от «мещан», но и от всех людей вообще, не-поэтов: я — сирота, урод, пасынок, отщепенец, юродивый. В вечном детстве остаются дети в ее поэме «Крысолов», и она сама — во всех ее книгах. Но был и другой уровень символического отражения, и еще в Москве, в годы революции, она нашла для себя литературный образ: Катерину Ивановну Мармеладову. Иногда кажется, что и жизнь, и творчество Цветаевой имели одну тайную задачу: связать вместе образ Катерины Ивановны, Федры и ученика-андрогина, и чудо произошло — эти три символа, на которых она себя построила, теперь слиты воедино, и ее горечь, ее гордость и ее жадность оказались соединены в неповторимой и единственной гармонии. И сила этой удачи такова, что мы, хоть и знаем, что мечты о возврате в пастушеский период человечества всегда прежде всего несбыточны, захвачены этой силой и ставим этого поэта в первые ряды нашего столетия.

Книга Карлинского построена так, что покрывает и жизнь, и творчество поэта, и в главах о творчестве он тщательно, но без педантизма, разделяет лирику и драматические произведения, прозу и длинные поэмы. В главах, посвященных биографии, впервые собраны факты, до Карлинского полностью не проясненные, которые дают теперь более или менее полную картину личной и политической

драмы Цветаевой в последнее десятилетие ее жизни: роль Сергея Ефрона (ее мужа) в убийстве Рейсса; судьба дочери Али (она была, по возвращении в СССР, сослана); отношения Цветаевой с ее сыном в Елабуге, и то, что произошло в Чистополе, перед самым самоубийством (свидание с Асеевым).

Эмиграция — явление всегда политическое. И каким бы он ни был эскапистом, эмигрантский поэт (и русский поэт в особенности) никогда не может (или может быть — не смеет) забыть об этом. Никогда ничто не проходит ему даром. Все оставляет след, всякое увлечение, всякая даже малая минута безответственности. От него жизнь требует в сто раз больше, чем от «обыкновенного» изгнанника. Евразийцы, с одной стороны, и трагедия Перекопа, возведенная в миф — с другой, были, по-моему, тем, что с первых лет эмиграции начало разрушать — не талант Цветаевой, конечно, но ее восхитительный, нежный, особенный, непрочный, детский внутренний мир.

*Н. Берберова*

В. ВЕЙДЛЕ. *Рим. Из бесед о городах Италии.* Париж. 1967.

Книга В. В. Вейдле входит в традицию произведений таких русских писателей, как Гоголь и Вячеслав Иванов, «шошломленных Римом». В. В. делится своими впечатлениями, он передает *настроение*, «возвышенные чувства», которые не всегда ценятся. Так, советский критик В. Кирпотин как-то писал, что Достоевский в шестидесятые годы «не посетил Рима. Он игнорировал впечатления, зависевшие от настроения, от случая».

В. В. показывает, что настроение это вещь не случайная, а осмысленная. Он как и Г. П. Федотов в своем «Ессе homo» *реабилитирует* настроение, возвращает жизни ее музыку. Красота Рима для него сама жизнь искусства, именно, как он выражается — «вещь». Этим словом В. В. переводит латинское «res», в котором, как он пишет, есть... «многообъемлющий смысл, но не облачный и уж вовсе не заоблачный. Все значения объединены трезвостью всем им общей. Недаром от этого слова происходят наши, неизвестные древним, «реальность» и «реализм». Но тут не мелочный реализм...», — а, прибавим мы, реализм в высшем смысле.

Говоря о действительности переживаний В. В., уже нельзя пользоваться словом «эстетика», ибо оно часто связывается с каким-то случайным развлечением, прихотью, эскапизмом. Для В. В. Рим это сама жизнь, он им «пропзен». Ему здесь место, как его жителю Трастевере, «где он от земли не оторван, где небо от него не спрятано, и где величие построенного людьми, природу не зачеркивает и

остаётся человечным...» — «чужеземец не чувствует себя здесь чужим или по крайней мере не должен чувствовать. Мы наследуем здесь всем нам общее наследство».

Это наследство является для В. В. Вейдле чем-то существеннейшим. В таком случае нужно без ложного стыда «эстетства» думать о том, как бы «от уродства ограждать себя мечтой». Если машины на площади Св. Марии препятствуют, их можно «мысленно устранить». В. В. не стыдится своих чувств, своего сердца. Здесь он поставил на весы себя, а не свои научные исследования. Монтень писал, что эссе *«рассказывает о человеке»*.

Основы этой жизни, которой в каком-то смысле В. В. отдал себя, находятся, я думаю, в подземном Риме. Он нам объясняет, что беспомощное искусство катакомб учит нас тому, что *смерти нет*. «Христиане 3-го века... в искусстве отвергают искусство. Очень скоро оно у них будет, но им пока не до него. Пока у них есть другое, чего потом у них будет меньше...» Эта почва питает искусство. «Город с землей неразлучен». В идолопоклонстве *искусству* таится опасность. Можно было бы по этому поводу сказать, что те «препятствия», которые В. В. замечает в обрамлениях сводов Сикстинской Капеллы, те преграды движению, поставленные Микеланджело, означают трагедию жизни, пожертвованной искусству — правилам формы. Но «искусство», которое еще спорило с Микеланджело, совершенно победило и впоследствии сломило, кстати, русского римлянина Н. В. Гоголя. Теме «Гоголь в Риме» В. В. посвящает последнюю главу отчетной книги.

Здесь, на виа Феличе «был завязан решающий узел в трагической судьбе Гоголя». В своей повести «Рим» (да и в своем Плюшкинском саду) Гоголь соблазнился возвышенностью, увлекся, можно сказать «ложно-классическим». Это «подслащиванье», эти разговоры о «южной красе», уже говорят об иссякновении его творческих сил. «Нет уж увольте! Все эти 'античные линии, гибкие пантеры'... Если что погубило итальянскую повесть Гоголя, то это именно такая претящая самой своей красотой, красовитая, разукрашенная 'красота'».

Можно сказать, что Гоголя соблазнил ни змий, а рай, райская роскошь. Уже в молодости он писал:

Италия — роскошная страна!  
Она вся рай, вся радости полна...  
Земля любви и море чарований!  
Блистательный мирской пустыни сад.

Может-быть лучше бы было Гоголю — как гениальному подпольному человеку Достоевского — остаться со своей мечтой в Пе-

тербурге. Но Гоголь осуществил свое «озеро Комо» с «виллой Боргезе» и «сценой в кустах». Он попал в Рим, убежал от «мокрого снега». И тут райские сады и все роскоши искусства в конце концов заслонили собой ту свойственную ему «красоту уродливого и безобразного». Как-то американский критик Л. Триллинг правильно заметил, что самые великие писатели последнего времени *избегают рая* отталкиваются от “Specious good”. Подлинная жизнь не в том, чтобы срывать цветы удовольствия. Гоголь говорил о «величественно-степенной идее» Рима, но так и не обрел здесь «дела» и «задачи». Все же он поставил проблему «истории и современности», и его римские размышления повлияли на ту традицию русской литературы, которая мучилась по высокому и прекрасному. Своей книгой В. В. Вейдле показывает, что эти вопросы насущны.

*Иельский университет*

*А. Небольсин*

СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. *Б. Л. Пастернаку*. США 1967 (15 стр.)

Эту книжку в 15 страниц читаешь с живым интересом и некоторым литературным удивлением. С интересом потому, что это яркий человеческий документ, навеянный прочтением Светланой Аллилуевой (в первые дни на Западе) романа Б. Пастернака «Доктор Живаго». С литературным же удивлением потому, что дивишься, что же это за литературный жанр? И вдруг понимаешь, да ведь это же — «плач», народное крестьянское причитанье, как воп на похоронах. Своему чувству отчаяния автор дал эту невольную форму «плача», когда говорит о любимых им людях: о детях, о друзьях (напр., об Андрее Синявском), и в особенности о недавно умершем муже, индийце Брайеш Синге, который, будучи болен, не уехал из суровой, холодной Москвы из-за любви к Светлане и там сознательно умирал, чтобы только не оставить Светлану одну в ее «невольном заточении».

Все эти чувства — и обращение к детям: «Моя Катенька, кровиночка моя, рябиночка моя стройная, вишенка моя сладкая, что же я с тобой сделала?!»; и к Синявскому: «Почему ты стоишь у меня перед глазами, Андрюша, босой, с ведрами холодной воды в руках, нечесаный, оборванный, мученик мой бедный...»; и к умершему мужу: «Как ты лежал в гробу в холодном нашем московском крематории... И все не могли оторваться от твоего лица... оно было значительно и прекрасно. Бедный друг мой, бедный мой рыцарь! Ведь ты отдал всю свою жизнь за меня...» — все это дано именно в стиле вопля, народного причитания. И при этом — ни фальшивого слова, все очень по-русски, по-женски хорошо.

Только прочтя другую книгу Светланы — «Двадцать писем к другу» — понимаешь исток этого обращения к Пастернаку в стиле пу-

тивльского «плача Ярославны». Такой неотрывной любовью к России, к народу, к народному слову Светлана обязана своей обожаемой ею няне, о которой она пишет в последнем 20-м письме к другу: «Всю жизнь мою была рядом со мной няня моя Александра Андреевна. Если бы эта огромная добрая печь не грела меня своим ровным постоянным теплом — может быть давно бы я уже сошла с ума. И смерть няни, «бабуся», как мои дети и я звали ее, была для меня первой утратой действительно близкого, в самом деле глубоко родного, любимого и любившего меня человека». В былой дореволюционной жизни няни, эти «Арины Родионовны», во многих русских семьях играли большую роль. Сейчас они остались наперечет, только в «высшем свете» Кремля, в семьях коммунистических вельмож. Но вот и тут, в семье Сталина, «Александра Андреевна» сыграла свою роль — душевно связав Светлану с подлинной народной Россией. Отсюда, я думаю, и этот «плач по России».

В смысле литературном отчетная небольшая книжка написана, по-моему, сильнее, смелее и свободнее, чем «20 писем к другу», написанные в СССР. Но обе книги Светланы — ценное приобретение русского литературного зарубежья.

*Р. Гуль*

**ЮРИЙ ИВАСК.** «Хвала». Стихи. Изд. кн. маг. В. Камкина. Вашингтон. 1967.

Стихи Юрия Иваска до крайности своеобразны, ни на чьи другие не похожи. Если допустить, что в эмиграции возник некий общий поэтический стиль, или даже какая-то «школа», то Иваск во всяком случае остался самим собой, может-быть и сочувствуя тому или иному поэту, но ничьему влиянию не поддавшись.

Однако уловить это можно только читая его сборник «Хвала» подряд, страницу за страницей, одно стихотворение за другим, и мысленно объединяя их во внутренне-цельную поэму. Только при таком чтении станет ясно и название книги. Отдельное, случайно выхваченное стихотворение может показаться несколько манерным, чуть-чуть слишком витиеватым, и лишь закрыв книгу, отложив ее, — и как советовал Лев Шестов, постаравшись забыть все дословно в ней сказанное, — именно лишь тогда чувствуешь органичность этих намеков, недомолвок, прерывистых восклицаний, этих игривых стилистических завитушек и причуд. Иваск повидимому чрезвычайно любит жизнь и готов без конца восхищаться созданиями природы и человека. Но любит он эти создания и самоё жизнь по своему, привязываясь охотнее всего к тому, чего другие пожалуй и не заметили бы. Правда, в том поэтическом путеводителе, который в трех четвер-

тях своего содержания представляет собой «Хвала», мелькают и Акрополь, и Рим, и Венеция, т.е. имена и названия в таких случаях обычные. Но и здесь, вглядываясь в то, что тысячи раз было описано и «воспето», Иваск различает черты как бы впервые открывшиеся или, вернее, лишь в его сознании отразившиеся. А когда поэт-путешественник, поэт-обозреватель попадает в страны полу-экзотические, вроде Мексики, он откровенно радуется освобождению памяти от литературных реминисценций и дает волю своему неутоlimo-восторженному воображению.

Нередко, читая книгу, думаешь, какой эпитафия мог бы в двух-трех словах выразить ее сущность. Для «Хвалы» естественнее всего было бы обратиться к Библии: «Всё добро зело». Иваск знает, конечно, во что люди превратили жизнь, и нет-нет в его стихи да и пробьется шемящий, меланхолический звук. Как бы ни казалось голословно такое утверждение, самые его гимны земле и нашему земному существованию подернуты грустью и ею облагорожены. Но радости и эстетико-морального упоения все же больше, и возникает радость по самому неожиданному поводу, при воспоминании о смешных мелочах или даже при фантастических выдумках, вроде «бантика-бабочки» и «фалдочек» Хлестакова. Читатель вправе удивиться, остаться при ином мнении, спросить: что же в образе Хлестакова, — этого петербургского «милого Лея» по Иваску, — столь очаровательно? Но читателю трудно отделаться от зависти к автору, наделенному редкой способностью очаровываться в нашем житейском окружении всем, на чем нет налета грубости, тьмы и злобы. Именно это и есть основная тема, основное лирическое утверждение Иваска: хорошо, «добро зело» всё то, где грубость, тьма и злоба полностью отсутствуют. Каждый человек, будь он поэт или заурядный обыватель, находит в жизни то, чего ищет — и в конце концов даже то, чего заслуживает.

Иностранные имена, преобладающие в «Хвале», не заглушают ее основной тональности, по существу очень русской. Иногда Иваск откровенно об этом говорит. Ему чудится в мексиканской деревушке

Что-то псковское, мило-никчемное,  
Незавидное, незабвенное...

«Русь мешается в памяти с Мексикой», тут же заключает он. Показательны для его духовной настроенности и некоторые другие строки, — например, риторический, к самому себе обращенный вопрос: «Я ли Дон Кихоту изменю?» Нет, Иваск бедному сервантесовскому рыцарю не изменит, изменить не в силах. На том смешении восхищения и печали, порыва и задумчивости, иллюзий и зоркости,

которым проникнута «Хвала», несомненно лежит далекий отсвет книги, которую Достоевский не без основания признал величайшим созданием человеческого гения.

И этот отсвет — лучшая ее особенность.

Георгий Адамович

ZINAIDA SCHAKOVSKOY. *La folle Clio*. Ed. Presse de la Cité. Paris. 1967.

Клио — муза Истории у древних греков. Сумасшедшая Клио. Трудно придумать более удачное название для времени, описываемого Зинаидой Шаховской. Чего только не довелось пережить автору за четыре с половиной года второй мировой войны. И сколько пришлось увидеть античеловеческого в эти апокалиптические годы. В это античеловеческое были брошены миллионы простых людей, еще веривших в человека, еще веривших в Бога, ищущих смысла в мировой бессмыслице. Книга Шаховской об этом.

«Сумасшедшая Клио» начинается со «странной войны» (как говорили французы), то-есть, с сентября 1939 года, когда нормальные люди еще не могли поверить в настоящую войну, до тех пор пока в мае 1940 года немецкие «панцер-дивизионы» не перешли бельгийскую границу и безумие превратилось в реальность.

В сентябре 1939 года во Франции люди как бы сошли с ума, началось какое-то коллективное безумие: шпиономания, мания преследования, слежка, доносы.

Русская по происхождению, бельгийская подданная, Зинаида Шаховская хотела поступить сестрой милосердия в военно-полевой госпиталь. Персонала в госпиталях не хватало. Но поступить удалось лишь после нескончаемых мытарств и унижительных допросов: — «не шпионка ли?»

«Сумасшедшая Клио» — простой (потому и страшный) рассказ о хождениях по мукам человека, который хотел самого минимального: исполнить свой человеческий долг. Но что такое «человеческий долг»? Шаховская рассказывает, как во время исхода, точнее стихийного бегства от немецких «панцер-дивизионов», в ресторанчике какого-то захолустья, соседи по столу тоже сетовали, что не смогли исполнить свой долг: одному пришлось оставить в погребе бутылки драгоценного бургундского и оно «досталось бошам», другой не успел взять деньги из сберегательной кассы и они «конечно, пропали», третий, прослышав, что с немцами можно делать золотые дела, проклинал друзей, уговоривших его бежать из Парижа. И так всюду: в полевом госпитале, в грузовике с беженцами, в очереди за колбасой, в оккупированных неприятелем городах, потом в «свободной

зоне», потом в Испании, в Португалии и, наконец, в Лондоне, в свободном, не сдающемся врагу, Лондоне.

Шаховская думала, что в Лондоне она наконец сможет служить делу, которое считала правым: включиться в антигитлеровскую борьбу. Переправа из Лисабона в Лондон в разгар магнетических мин и авиационных бомбежек оказалась не из легких. Немцы топили все подозрительные суда. «Баторий» (так звали польский пароход доставивший Шаховскую и других беженцев — французов, бельгийцев, поляков, евреев — в Англию), благополучно вошел в лондонский порт. Наконец-то! Англичане по крайней мере сумеют понять пережитые испытания и опасности, оценить подвиг, заставивший людей всё бросить, и рискуя жизнью, присоединиться к борющейся со страшным врагом Великобритании. Но вместо человеческой встречи, которую по наивности ожидала автор «Сумасшедшей Клио» — подозрительные взгляды, медицинский осмотр, обыски и полгода карантина «санитарного» лагеря.

Но кончилось и это. Вот наконец — свобода! Правда, уже без иллюзий и с заботой успеть укрыться от бомбардировок, а главное найти какую-нибудь возможность существовать, т.е. работать. Шаховская знает в совершенстве четыре языка. Но здесь последнее: из разговоров с французами — а где ей было работать, как ни у них, воплощавших «свободную Францию»? — очень скоро выяснилось, что ссылка на призыв 18 июня не рекомендация. В Лондоне, сговорившегося с немцами Петэна уважали больше, чем непримиримого де Голля. Бессмыслица? Что делать!

В «Сумасшедшей Клио» подкупает предельная простота рассказа, иногда горький юмор. И уверенность, что разум человеческий часто бывает «мерзостью перед Господом» и правда Его — не человеческая правда.

«Сумасшедшая Клио» третья книга воспоминаний З. Шаховской. Первая — «Свет и тени» (конец царствования Николая II, революция и школьные годы в Константинополе); вторая — «Жить по-своему» (время эмиграции — между двумя войнами). Все три книги З. Шаховской вышли по-французски.

*К. Померанцев*

ИВАН ЕЛАГИН. *Косой полёт. Стихи.* Изд. Нового Журнала, Нью Йорк 1967.

«Косой полёт» — новый сборник стихов Ивана Елагина. Автор его, как поэт, известен. В сборнике виден большой опыт упорной работы. Ритмический рисунок стихов Елагина упругий, темпера-

ментный. Язык смелый. Тут и новая научная терминология и слова сегодняшней улицы.

Чтобы стих по-степному был дик,  
Как душа, был широких размахов —  
Напусти в него слов-забулдыг,  
Слов-отверженцев, слов-вертопрахов.

Но в чем Елагин поистине блестящ, это в красозвучиях стиха. Его яркие рифмы и ассонансы почти всегда построены на различных грамматических формах. Он широко пользуется не только мужскими и женскими красозвучиями, но и дактилическими. В данном сборнике встречаются даже и супердактилические: конченное—всклоченное.

Строфика у Елагина значительно беднее его ритмов. В книге по преимуществу даны двустушия или катрэны. Что само по себе никак нельзя поставить в вину автору. Но не допуская никаких погрешностей в метрике, Елагин весьма небрежно относится к какой-либо закономерности в чередовании окончаний стиха.

В основном сборник состоит из новых стихов; лишь в конце его даны избранные стихи из книги «По дороге оттуда» и семь стихов из «Отсветы ночные». Сборник производит впечатление пестрое. Здесь представлены разнообразные поэтические жанры, более всего сатирического плана. Иногда сарказм, юмор и чистая лирика сожительствуют в одном и том же произведении.

Кое-где в стихах Елагина звучит явная дидактика. Как, например, в заключительных строфах стихотворения «Ниагара». В некоторых длинных стихах утомительны нарочитые повторы, варианты. Это эффектно в эстрадном чтении, но не в книге. И потому наиболее привлекательны в сборнике небольшие вещи. Подлинным лиризмом проникнуты стихи о душе:

Я решаю вопрос большой —  
Что мне делать с моей душой?

Мне то что, я пойду на снос,  
Вот с душою как быть — вопрос.  
Как помочь разорвать ей круг  
Этих вечных блаженств и мук.  
Что же будет с моей душой?  
Вечность все-таки срок большой!

Очарователен нежно-лукавый женский образ в стихотворении

«У вас в глазах». Лаконично и резко очерчены взаимоотношения поэта с «человечеством» в стихотворении «Я с вами проститься едва ли успею»:

И вот среди звездной сверкающей пыли  
Уже я лечу небосводом ночным,  
Как будто меня ослепительно вбили  
В ворота вселенной ударом штрафным!

Удачно у Елагина и его артистическое озорство: — Вот и мыслью ошарашен я, / Чтобы ветер дул раскрашено. — Встречаются в сборнике подлинные стилистические находки:

И дрожит над своими пожитками  
Море, шитое белыми нитками.

Или, о поэте:

Он удивлен. И слышно,  
Как дышет четверостишно.

Немудрено указать на основные влияния в поэтической родословной Ивана Елагина. Тут и Блок, и Мандельштам, и Пастернак, и Маяковский. Но определять место и значимость стихов Елагина в русской поэзии, по-моему, еще рано. Если в стихотворной поступи Елагина чувствуется уверенность и сила, то в раскрытии своей основной темы, он продолжает как-то метаться между эстрадным пафосом и неизбежным для поэта одиночеством. Иногда Елагин не столько сам удивляется окружающему миру, сколь пытается поразить, огоршить, во что бы то ни стало, читателя. А круг читателей, слушателей и поклонников у Елагина уже не малый; и с каждым новым сборником круг этот ширится. Мне думается, что в своих творческих поисках Елагин всё ближе подходит к распутию, где надлежит сделать окончательный выбор: — либо просторная дорога широкой известности, либо тернистая тропа — к высотам русского Парнаса.

*Глеб Глинка*

Louis Pedrotti. Józef-Julian Sękowski: The Genesis of a Literary Alien. University of California Publications in Modern Philology, vol. 73. University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1965.

В своей книге профессор Педротти не старается дать ни исчер-

пывающей биографии, ни полной оценки литературной деятельности О. И. Сенковского. Он считает известного редактора «Библиотеки для чтения» и популярного беллетриста 1830-х гг. загадкой, и его цель, как он говорит в предисловии, — разгадать странное явление, известное в русской литературе под именем Барона Брамбеуса (наиболее известный псевдоним Сенковского). Ключ к загадке, по его мнению — польское происхождение и университетское образование писателя.

В книге тщательно собраны важнейшие данные о занятиях Сенковского в Виленском (Вильнюсском) университете: охарактеризованы его главные профессора, как например филолог Годфрид Гроддек, историк Иоахим Лелевель, врач и химик Енджей Снядецкий; описана общая атмосфера города и университетской среды. Особое внимание уделено литературному обществу «шубравцев» (т. е. «бездельников»), к которому Сенковский принадлежал как студент, а также сатирической газете «вядомosci бруковы» («Уличные Ведомости»), издававшейся этим обществом. Судя по названиям глав, с первого взгляда кажется, что вся книга посвящена юности писателя. Но на деле, биографические данные приводятся только в начале каждой главы, а на остальных страницах обсуждается вопрос, как черты характера и мировоззрения, усвоенные Сенковским в Вильне, отразились на позднейшей его литературной деятельности в России. Перед читателем открывается целая панорама русской журнальной и литературной жизни тридцатых годов.

Но несмотря на несомненную ценность книги, богатой литературно-историческим материалом, не может не возникнуть сомнение насчет основного приема и проводимой автором главной идеи. Нельзя оспаривать, что университетские годы повлияли на Сенковского — ведь среда оказывает влияние на каждого человека, — но сомнительно, что их значение было так велико, как утверждает автор. Известно, что Сенковский позже сам отрекся от своего польского прошлого и сознательно перестроил себя «на русский лад». Можно ли поверить, что Лелевель, польский радикал-патриот, участник восстания 1830-1831 гг., осуждаемый Сенковским, все-таки продолжал оказывать влияние на своего бывшего ученика? Верно ли, что общество «бездельников», членом которого молодой студент состоял только пятнадцать месяцев, так повлияло на него, что Сенковский руководился его принципами в течение последующих сорока лет? Могла ли сатирическая польская газета, которую Сенковский сам не редактировал, так запечатлеться в его памяти, что он по ее образцу основал «Библиотеку для чтения» — журнал совсем другого содержания. Едва ли.

Слишком настойчивое подчеркивание университетского прошлого писателя б. м. не было бы значительным недостатком книги, если

бы не приводило к искаженному понятию о роли Сенковского в русской литературе 30-х гг. Читая книгу можно подумать, что сатиры и юмора в русской журналистике до появления Сенковского почти совсем не было. На стр. 92 говорится, что «успешность этого типа косвенной сатиры (т. е. сатиры Сенковского) была засвидетельствована подражаниями ей в журналах-конкурентах. В 1836 г., напр., «Московский Наблюдатель» старался отплачивать Сенковскому той же монетой...» и т. д. Но ведь до этого «Московский Наблюдатель» уже два года сражался, косвенным и не таким уж косвенным образом, не только с Брамбеусом, но и с «Телескопом» и его критиком, Белинским. Тот же сатирический тон, который профессор Педротти приписывает Сенковскому как особое достижение, употреблялся «С патриарших прудов», т. е. Н. И. Надеждиным, в рецензиях на пушкинские произведения лет семь-восемь перед тем; не говоря уже о тоне статей самого Пушкина-публициста, писавшего для «Литературной Газеты» и для «Телескопа» под псевдонимом Феофилакта Косичкина. Традиция этого типа сатиры восходит, вероятно, к кружку «Арзамас», о котором, к сожалению, профессор Педротти не говорит ни слова.

Благодаря преувеличению влияния студенческих лет на будущего писателя, его художественные произведения тоже представляются в искаженном виде. Утверждается, что он принес с собой от своих бывших профессоров вкус классицизма: романтиков вроде Гоголя терпеть не мог; и что его художественные произведения — суть пародии на романтизм. На стр. 124 говорится, что грубо-натуралистические подробности в «Фантастических Путешествиях Барона Брамбеуса» и в «Большом Выходе у Сатаны» — карикатуры на «грязную действительность», изображаемую Гоголем. Но оба эти произведения были опубликованы в 1833 г. А Гоголь до этого напечатал, за исключением нескольких незначительных вещей, только свои «Вечера на хуторе близ Диканьки» — рассказы, совсем еще далекие по стилю от зрелых его произведений. «Вечеров» даже Булгарин и Полевой не называли «грязными», хотя они им и не очень нравились. Первое гоголевское произведение, названное Сенковским «грязным», была повесть о двух Иванах, а она впервые появилась в 1834 г., в сборнике «Новоселье». Да и не только не могли «Фантастические Путешествия» быть пародиями на Гоголя, но они вообще не оказываются более пародийными, чем заурядные вещи большинства модных писателей той эпохи. Романтический гротеск и полу-пародия культивировались и Погорельским (см. его «Двойник»), и В. Ф. Одоевским («Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту», «Насмешка мертвеца» и т. п.), и Николаем Полевым («Новый живописец»). Сам Пушкин не без пародийной насмешливости любовался романтизмом таких своих героев как Сильвио, гробовщик

Андрян Прохоров, даже Гринев; а вся сущность искусства Гоголя — в пародии на романтизм. Дело в том, что романтизм в России, не считая таких прямолинейных романтиков как Загоскин или Лажечников, вообще часто появлялся как пародия. Поэтому нет основания назвать Барона Брамбеуса менее романтическим чем другие его современники-пародисты. Сенковский опять не вводил в русскую литературу новое, а сам усваивал господствующее в ней течение. Его популярность в 30-е годы объясняется именно тем, что он ловко пошел вместе с модным течением, и если отличался чем-нибудь, то тем, что писал крикливее и пошлее других. Даже в эпоху Булгарина, мало кто мог так картинно расписываться в пошлости, как Барон Брамбеус. Естественно, что Полевые, Булгарины и Сенковские потеряли свою популярность, как только выросло новое поколение читающей публики, воспитанное на Пушкине, Гоголе, Лермонтове.

Классический вкус Сенковского подлежит сомнению и в отношении его критической деятельности. Правда, он положительно оценивал Пушкина-прозаика, но этот единственный его критический успех кажется почти случайным, так как взгляды двух писателей на прозу значительно расходились. Как А. Лежнев отлично показал, Пушкин не боялся ни славянизмов, ни архаизмов, ни простонародных выражений, умеренно пользуясь каждым стилистическим слоем языка. Сенковский же непрестанно ратовал против всех «оных», «сих», «младых», и против языка Даля и Вельтмана. Его стилистическим идеалом был не пушкинский, а скорее «павловский» язык: он больше всего хвалил вылощенный, чопорный, салонный стиль третьестепенного писателя Н. Павлова (см. «Библиотека для чтения», 1835, № 9). Перечитывая его рецензии в «Библиотеке для чтения», можно легко убедиться, что он хвалил или поносил авторов не по принципам классицизма, а по требованиям дня, всегда предпочитая модную в данную минуту посредственность вроде Загоскина, Кукольника, Булгарина, действительно великим представителям русской литературы этого периода.

Все эти возражения относятся, однако, только к выводам и заключениям профессора Педротти, а не к точности и верности собранных им фактов. В книге, основанной на таком громадном материале, можно, конечно, отыскать некоторые фактические ошибки — напр. знаменитое письмо Пушкина к редактору появилось не во втором, а в третьем номере «Современника» за 1836 г. (стр. 127); «Московский телеграф» был закрыт не в 1830, а в 1834 году (стр. 151) — но таких ошибок мало. Как добросовестный ученый, профессор Педротти приводит все нужные факты, не умалчивая даже о тех, которые не поддерживают его теорию. Странно только, как он мог прийти к своим заключениям вопреки фактам, им же самим приведенным. Но даже не соглашаясь с выводами автора, надо при-

знать его книгу ценным вкладом в историю литературной жизни 1830-х годов.

Tulane University New Orleans

*П. Дебрецени*

Н. И. УЛЬЯНОВ. *Происхождение украинского сепаратизма*. Нью Йорк, 1966, стр. 278.

О национальном вопросе в России пишут с каждым годом все больше, и за последние десять лет на английском, французском и немецком языках появилось не менее сотни книг посвященных проблемам народов России. Например, только с 1960 по 1967 год на английском языке вышло около пятнадцати книг о тюркских меньшинствах Советского Союза и их прошлом. Не мало книг написано на языках народностей России, в которых наряду с очень полезной информацией нередко даются самые фантастические версии их включения в Русскую империю и их сожительства с русскими. К сожалению русская эмиграция мало интересуется этим важным вопросом. Поэтому выход книги проф. Н. И. Ульянова, который с присущим ему литературным талантом разбирает «происхождение украинского сепаратизма», представляется заслуживающим внимания. Автор, видимо, посвятил не мало времени изучению прошлого украинского сепаратизма и подходит к рассматриваемому вопросу во всеоружии источников. Ему удалось открыть не мало неизвестных или прочно забытых известий об украинском движении.

Состоящая из девяти глав книга может быть в основном разбита на три части: сепаратистские настроения в казачестве семнадцатого века, возрождение украинофильских настроений в начале прошлого столетия и оформление или, как говорят в Советском Союзе, становление украинского политического самостийничества в конце последнего и начале этого столетия.

Указание автора, что первые семена украинского сепаратизма начали созревать как раз во время присоединения Малой Руси к России, конечно не парадокс. Думается, что автор прав отмечая, что произрастание этих самостийнических семян было связано с самой природой казачества. Почти что тридцатилетняя анархия на Украине, начавшаяся в первый же год восстания Хмельницкого и окончившаяся только после капитуляции «турецкого» гетмана Дорошенки, конечно, не была случайным явлением. В течение этих трех десятилетий враждовавшие между собой гетманы, полки, старшина [так называлась украинская войсковая администрация] беспрерывно переходили от Москвы к Польше, от Польши к Турции и обратно к России и Речи Посполитой. В этих переменах политической ориентации и междуусобицах сказались две характерные черты украин-

ского казачества: неумение признавать никакого, даже собственного государственного авторитета и неспособность к компромиссу ни с какой из этих трех держав, доминировавших тогда на юго-востоке Европы. Но здесь необходимо прибавить, чего автор к сожалению не делает, что анархичность природы казачества вовсе не была чисто украинским явлением. Совсем недавно, Уильям Х. МкНил, один из наиболее проницательных американских историков изучающих прошлое Европы в своей новой книге «Степная граница Европы», очень метко указал, что вся кочевая юго-восточная часть Европы, тогда простиравшаяся от ворот Вены до Волги, была в политически неустойчивом состоянии, и анархии, набеги, захват пленных для продажи на невольнических рынках, смена ориентаций и правителей были общим характерным явлением для всей этой полосы. Кроме того Н. И. Ульянов не прав, часто подводя под общий знаменатель все казачество: и верховодов старшин, и рядовых казаков, вчерашних крестьян, которые только шли на поводу у первых.

Простой, неграмотный и все еще довольно дикий казак или повстанец-крестьянин воевали вовсе не за политическую независимость, а просто за свое освобождение от тяжелого ярма польских и ополяченных западно-русских панов. Крепостное право Польши было еще тяжелее московского и при этом осложнялось национальным и религиозным антагонизмами. Рядовой казак и крепостной, конечно, ничего не понимали в политической игре своих необузданных и анархичных вождей, которые, как отмечает и автор, со своей стороны мечтали не о защите религиозной и национальной свободы, а просто о превращении предводимых ими казаков и крестьян в своих собственных крепостных, т.е. просто о закабалении своих воинов. И как только это им удалось, а они преуспели в этом уже в начале восемнадцатого века, то сами они и превратились в весьма лояльных подданных Санкт-Петербургской империи.

Возрождение сепаратистских, вернее «противо-москальских», настроений произошло уже в царствование Александра I, когда дух свободолюбия пробудил умы русской и малороссийской политической элиты. Результатом этого движения умов, как напоминает Ульянов было и создание так называемой «Истории Русов» или «Летописи Конисского», весьма талантливой но злостной исторической фальшивки, в которой под видом «веденной с давних лет в моголевском кафедральном монастыре» летописи излагалась история Малой Руси [слово Украина в ней еще не применялось]. Можно только сожалеть что многие украинские историки позднейшей поры использовали фантастические «факты» и схемы этой поддельной летописи. Эта фальшивка произвела значительное впечатление на тогдашних патриотов «русов» запорожско-казачьей традиции. Шевченко широко использовал это материал о героических подвигах атаманов и

гетманов. Значительно позже Грушевский взял из «Истории Русов» основные вехи своей исторической концепции.

Все же первое поколение украино-, или вернее малороссофилов, хотя и подготовило материал для дальнейшего развития украинизма, но не перешло на позиции самостийничества или враждебного отношения [за исключением Шевченко] к «Московии». Костомаров, Кулиш и другие члены созданного в 1846-1847 годах Кирилло-Мефодиевского братства были регионалистами или федералистами либерально-академического типа, а не врагами России. Такая же умеренность характеризовала и следующее поколение, представленное Драгомановым и Антоновичем, группировавшимися в 1870 годах вокруг «Громады». Но вскоре уже наметилось и другое направление.

Последний идеологический этап формирования специфически украинского политического самосознания проходил уже не столько на Наднепррянской Украине, сколько в австрийской Галиции. Идеологами этого движения в 1860-х годах были поляк Франциск Духинский, галицийский русин-украинец О. Огановский и — позже, приехавший из России, историк Мих. Грушевский.

Н. Ульянов проделал ценную работу для выяснения основных тем украинского национального движения и создания идеологии самостийничества. Но он все же не обратил внимания на один очень важный фактор в развитии сепаратизма; на выяснение психологических и социальных корней движения. Конечно украинский сепаратизм долго опирался на весьма фантастические исторические схемы и весьма вольные истолкования истории. Но чисто исторические писания не всегда ведут к процветанию национальных движений. К сожалению, в дореволюционной России, (а в еще более значительной степени в Советском Союзе), было не мало причин для недовольства государством и центральной властью. Эти, уже скорее социальные, экономические и психологические причины позволили развиваться украинскому национализму, для обоснования которого были придуманы исторические легенды и сильно приправленные фантазией события прошлого. Но без вскрытия этих причин весьма трудно понять развитие и успех украинской пропаганды, и поэтому приходится сожалеть, что автор этого интересного исследования не обратил на них внимания.

Как уже отмечалось, книга Н. И. Ульянова написана очень живо, с присущим автору литературным талантом. Все же иногда литературная обработка материала и живость изложения, переходящая местами в полемический или обличительный задор, несколько вредят книге, особенно в описаниях украинского прошлого и в характеристиках казачьей среды, старшин и украинских помещиков. Эти характеристики м.б. художественно и удачны, но порой они отдают гротеском, что в некоторых случаях сказывается и в подборе цитат.

Кзаки и помещики гетьманщины в описаниях автора всегда смешны, грубы и безответственны, но читателю не всегда легко поверить, что эти черты неизменно характерны только для изображения украинской среды. Жаль что стараясь произвести литературный эффект и увлекаясь обличительным пылом, Н. Ульянов нарушает в таких случаях научную объективность изложения и этим подрывает ценность своей книги, в которой он проделал серьезную работу по изучению прошлого украинского сепаратизма. Тем не менее, несмотря на эти недочеты, труд Н. Ульянова заинтересует каждого для кого интересно и значительно прошлое нашей страны, и читатели несомненно будут благодарны автору за разработку этого важного вопроса.

*Сергей А. Зеньковский*

G. V. FLOROVSKY. *His American Career (1948-1965)* by George Huntington Williams in "The Greek Orthodox Theological Review", vol. XI, No. 1, Summer 1965, pp. 7-107.

Джордж Уильямс, профессор церковной истории в Гарвардском Университете, дает в своей пространной статье обстоятельную и подробную характеристику своего коллеги по кафедре о. Георгия Флоровского. Статья содержит больше, чем обещает заголовок. Профессор Уильямс не ограничивается только «американской фазой» ученого пути о. Флоровского, но прослеживает развитие его мысли с первых этапов его научной работы. Он подчеркивает неожиданное многообразие исследовательских интересов о. Флоровского и вместе с тем внутреннее единство и последовательность в выборе тем и заданий. Первая работа о. Флоровского была опубликована в 1912 году. В 1919 году он начинает свою преподавательскую деятельность в Новороссийском Университете, в Одессе, в качестве приват-доцента по кафедре философии. В это время его интересовали преимущественно проблемы философии и методологии точных наук. Занимался он и экспериментальной работой, и его исследование по физиологии было напечатано, по представлению И. П. Павлова, в изданиях Академии Наук, в 1917 году. Но и в это время о. Флоровский был богословом по призванию. Н. О. Лосский назвал однажды Флоровского «самым православным из всех русских мыслителей последнего времени». Для Флоровского характерно, что он никогда не переживал религиозного кризиса и как-то органически совмещал твердость веры с напряженным поиском в разных областях культуры. Он всегда подчеркивал неразрывную связь «предания» и «творчества».

В двадцатые годы, уже в эмиграции, сперва в Софии и затем в Праге, о. Флоровский переходит к темам историческим, и отчасти

к публицистике. В то же время он начинает свою работу в области святоотеческого богословия и в 1926 году становится профессором патрологии в только что основанном Богословском Институте в Париже. В начале тридцатых годов он издает часть своего курса по патрологии, в двух томах : «Восточные отцы IV века» (1931 г.) и «Византийские отцы, V-VIII вв.» (1933 г.). О. Флоровский не был и в это время только историком святоотеческой мысли. В те же годы он издает свои первые опыты того, что он сам называет «нео-патристическим синтезом»: изложение основных догматов христианской веры в категориях церковного, или святоотеческого предания, но с учетом философского опыта современности. Два очерка, «Тварь и тварность» (1928 г.) и «О смерти крестной» (1930 г.), были напечатаны в первых двух выпусках «Православной Мысли», издававшейся Парижским Богословским Институтом. В то же время о. Флоровский становится постоянным сотрудником «Пути», выходявшего под редакцией Н. А. Бердяева. В 1937 году выходит его книга «Пути Русского Богословия». В действительности это скорее история русской религиозной культуры в широком смысле, от начала христианства в России до революции. Для русского читателя это, может быть, самый значительный труд о. Флоровского. Книга поражает своей эрудицией и вводит в оборот много свежего, или забытого, материала. Вместе с тем это книга острая, волнующая, заставляющая мыслить. В настоящее время готовится ее новое издание в английском переводе, в переработанном и дополненном виде. Подготавливается и немецкое издание.

В тридцатые годы начинается экуменическая работа о. Флоровского, сперва в области «диалога» между православными и англиканами, позже в движении «Веры и Церковного Устройства» и «Всемирного Совета Церквей», где многие годы о. Флоровский был самым заметным представителем восточной православной традиции. Он становится международной фигурой, uomo universale, как выражается профессор Уильямс. С конца тридцатых годов о. Флоровский пишет и печатает главным образом по-английски, и на других языках. Еще в 1937 году он был избран почетным доктором богословия старейшего шотландского Университета St. Andrew's а позже получил почетный докторат от Бостонского Университета (1950 г.), от Аристотелевского Университета в Салониках, (1959 г.), и недавно степень доктора прав от Университета Нотр-Дам (1966 г.).

В 1956 г. о. Флоровский был приглашен в Гарвард и в 1957 году избран профессором Истории Восточной Церкви. Профессор Уильямс подчеркивает его влияние, как преподавателя — он создал свою школу и подготовил ряд учеников, специализировавшихся на изучении отцов церкви, преимущественно греческих. В пятидесятые

годы о. Флоровский опубликовал ряд специальных работ. Он является одновременно историком строгой школы и богословом, открывающим новые пути. В последние годы своего пребывания в Гарварде о. Флоровский преподавал и на Славянском отделении Университета.

В июне месяце 1965 года Афинская Академия избрала его своим членом (вместе с доктором Альбертом Швейцером и кардиналом Авг. Беа) и в том же месяце о. Флоровский был избран членом Брюссельской Международной Академии Религиозных Наук. Последнее учреждение занимается изучением экуменизма.

В краткой заметке нельзя пересказать богатого содержания работы профессора Уильямса, посвященной о. Г. Флоровскому. Написана она в духе симпатии и признательности. Русский читатель должен быть благодарен автору за его блестящую характеристику выдающегося русского ученого и культурного деятеля.

Томас Е. Бирд

F. SCHATTEN. *Communism in Africa*. Praeger. New York. 1966.

После второй мировой войны в Африке произошла и продолжается одна из крупнейших революций в истории человечества. Но добившись государственной независимости, народы целого континента оказались перед более трудной задачей: построение государства и модернизация политической, культурной и экономической жизни, в которой еще живы традиции племенного строя, феодализма и примитивного хозяйства. Дальнейшее развитие африканской революции может оказать серьезное влияние на политическую историю нашего времени. И это, а также естественные богатства Африки вызывают и в западном и в коммунистическом мире стремление привлечь симпатии африканских народов. Книга Шаттена является исследованием роли коммунизма в африканской революции.

Свой анализ прошлых успехов и поражений коммунизма в Африке Шаттен строит на основании обильного информационного материала и отчасти на наблюдениях, собранных за годы жизни в Африке. Он описывает трудности, с которыми малоопытным африканским лидерам приходится бороться из-за происходящего в Африке разложения старого политического и экономического строя. Развитие хозяйства страдает от малоразвитого внутреннего рынка, отсутствия капиталов для индустриализации, от колебания цен на главный местный продукт-сырье и от быстрого роста населения, поглощающего плоды хозяйственного роста. Результаты: — высокие цены, высокие налоги и недовольство населения, которое питало преу-

величественные надежды на то, что освобождение от колониального господства приведет к немедленному улучшению условий жизни.

В социальной области сближение с Западным миром — теперь уже на равных началах — разбило былую гармонию племенного строя. Прежде единое общество раскололось на несколько меньшинств с особыми групповыми интересами, с разными требованиями, с сильно развитым национальным чувством и нередко с враждой к своему правительству. Эту вражду стараются использовать и Москва, и Пекин, и свои доморожденные компартии, в большинстве нелегальные и ничтожные по числу членов, но достаточно организованные.

Характерно, что большинство африканских вождей политически выросли не в государственной или классовой борьбе, а в суровой школе национального движения против колониализма. У них нет еще нужных знаний и опыта, которые помогли бы им преодолеть стоящие перед ними трудности. Поэтому их былой престиж часто падает и их власть слабеет. В некоторых африканских странах, как указывает Шаттен, например, в Кении, Уганде, Танзании оппозиция против правительства носит серьезный характер. В течение последних двух лет в девяти из африканских стран произошли военные перевороты.

Шаттен подчеркивает, что главным тормозом социальной и политической модернизации африканских стран является недостаток интеллигентных сил — агрономов, врачей, учителей, государственных служащих и техников. Он считает, что для народов, состоящих на девять десятых из людей неграмотных, культурная помощь развитых стран даже важнее, чем экономическая, и что западные страны, в своей африканской политике, недооценивают этот факт.

Исторический опыт показывает, что освобождение от иностранного господства легче чем построение собственного государства — особенно если это государство должно быть и независимым и свободным. Негритянские вожди, ранее ведшие борьбу за свободу от иностранного господства, придя к власти, начинают склоняться к деспотизму во внутренней политике. В борьбе с оппозицией они применяют авторитарные методы. Так начинается процесс развития диктатуры, вырождающийся в применение голого насилия, в подавление оппозиции тюрьмами и казнями, как это было при режиме друга коммунистов Кваме Нкрума в Гане, который называл себя «идеологическим марксистом». Бесславное падение этого вождя иллюстрирует и другую сторону политического процесса, происходящего в Африке: неустойчивость диктатур и зарождение демократических сил. Таков вкратце тот общий фон, который обуславливает в Африке нынешнее политическое развитие.

Во вновь возникших независимых государствах сложились выгодные для коммунизма условия. Западная литература давно отмети-

ла, что в Африке большое психологическое влияние имеет тот факт, что у нынешних коммунистических стран никогда не было колоний в Африке и в этом их преимущество перед бывшими западными колонизаторами. В хозяйственном и военном развитии Советского Союза и коммунистического Китая некоторые африканцы видят пример того, как может быть осуществлена их заветная мечта — быстрая индустриализация и выход отсталых стран на международную арену.

Китайские доктринеры появились в Африке в неожиданной роли реалистов. Они поняли, что смогут установить твердые базы в африканских странах, только тщательно скрывая поддержку, которую они будут оказывать местным повстанцам, устанавливая в то же время дружественные отношения с существующими правительствами. Они ухаживали за придворными в Эфиопии, за предпринимателями в Танзании и мусульманскими иерархами в Судане. Резко осуждая советское правительство за его дипломатические и торговые связи с антикоммунистическими правительствами в Африке, пекинцы заключили торговые соглашения с расистскими правительствами в Родезии и Южной Африке. Но в последние годы, когда в Африке начался отлив коммунизма, Пекин, в результате его двойственной игры, потерпел большие потери чем Москва.

Симпатии к советскому и китайскому коммунизму стали ослабевать, когда африканские правительства и народы увидели, что дружба к ним коммунистических, как и других, государств вызвана не бескорыстными чувствами, а их собственными интересами. К тому же коммунисты делали серьезные ошибки в своей африканской политике. Советские вожди, по мнению Шаттена, переоценили свою силу и влияние в Африке, недооценили африканцев и часто ставили в Африке не на ту карту, как, например, в Конго. Они пытались внедрить в Африке свою классовую теорию и практику, не понимая, что африканцев интересуют прежде всего их собственные трудные дела, а не проблемы международного пролетариата. Советы не учли силы африканского национализма и думали отделаться от него, посылая на афроазиатские съезды не русских, а азербейджанцев. Они не понимали, что такие элементы их идеологии как материализм и особенно атеизм либо чужды либо враждебны традиционным взглядам африканцев, для которых религия является одним из устоев их общества.

Из обильной информации, содержащейся в книге Шаттена автор делает осторожные выводы. Он думает, что раньше существовавшие объективно-благоприятные условия для проникновения коммунизма в Африку существуют и теперь. Но эта мысль автора вызывает сомнения: по мере того как колониализм уходит в прошлое, главный лозунг коммунистов — антиколониализм — тоже теряет

силу. К тому же нынешний разброд в международном коммунизме роняет его престиж. И сам Шаттен вынужден признать, что дальнейшее отступление коммунизма в Африке неизбежно, если его вожди не изменят в корне свою политику, что мало вероятно. Но это не значит, что влияние западных демократий автоматически вырастает. Рядом с этим влиянием будет действовать национализм и стремление к полной независимости и нейтралитету, основанное на собственной традиционной идеологии, которую в Африке называют «африканизмом» или «негризмом».

С. Волин

FELIX PHILIPP INGOLD. *Schwarz auf Schnee*. Zurich, Arche Verlag, 1967.

Черным по снегу (как черным по белому!), так я перевел бы название этого сборника стихов. Эпиграф из Анненского (и дается он без перевода на немецкий язык): «У раздумий беззвучны слова, Как искать их люблю в тишине я!» Тишина — основная тема поэзии Ингольда. Автор — молодой швейцарский поэт из Базеля, славист, пишущий книгу об Анненском; бывал в России. В сборнике немало русских образов — московские Чистые пруды, пушкинский дом на Мойке, каторжанин Достоевский, Офелия-Цветаева («Она хотела быть легкой, как падающий камень»). Немало мотивов связанных с западным искусством, с западной культурой (Шуман, Шопен, Дебюсси, рисунок Кокто, Св. Франциск, Дон Жуан, Икар и др.). Темы, мы сказали бы, «акмеистические», но все высокое, прекрасное Ингольд умело снижает прозаизмами, той будничностью, которую «насаждал» Анненский.

Все свои впечатления, настроения, иногда зыбкие, неясные, Ингольд стремится вместить в короткие стихи — в лирические афоризмы. Приведу два примера. *Моцарт*: Он перенес свою резиденцию на солнце, чтобы не видеть собственной тени. *Гильотина*: Утро рвется ввысь в петушином крике. Молчание разрубается топором — на твое и мое.

Западные поэты теперь часто пишут «темно и вяло», и эта поэзия давно уже никого не только не удивляет, но наводит скуку. Повидимому, Ингольд, в поисках выхода из этого тупика, стремится к четкости, к сжатости, к динамическим формулам.

Ю. Иваск

RICHARD F. GUSTAFSON. *The Imagination of the Spring: The Poetry of Afanasy Fet. To (Professor) Leon Stilman. Foreword of Professor V. Erlich.* Yale University Press, 1966, pp. 264.

ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ. *Предисловие к Лирике А. А. Фета.* Художественная Литература, 1965 стр. 5-15.

Английская монография Ричарда Густафсона, очерк поэта Евгения Винокурова, отзывы в сборнике «День Поззии, 1966» свидетельствуют о возрождении Фета в наши 60-ые г.г.

Проф. Густафсон говорит о «весеннем воображении» Фета, о его образе цветущего сада, о мотивах «пламени и полета», о его метафорах и прозаических описаниях, об импрессионизме и музыкальности фетовской поэзии. Природа отражена в поэзии Фета, но, по существу, его поэтический мир — замкнутый, субъективный, утверждает Р. Густафсон и далее разъясняет: хотя в некоторых фетовских стихах и есть «адресат», но на самом деле поэт говорит преимущественно о себе — и не в плане биографическом, а в плане лирическом; он — творец — живущий в пределах сотворенного им мира; это роднит его с Маллармэ и с многими западными поэтами XX-го в., напр. с Йитсом или Т. С. Элиотом. В этом смысле, утверждает Густафсон, Фет ближе современному Западу, чем Пушкин, Лермонтов или Некрасов.

Евгений Винокуров пишет: «Через все творчество Фета, — то затихая, то громче звуча, — проходит одна отчаянная рыдающая нота, одна звонкая трагическая доминанта...». Но сильнейшая сторона Фета — это «преодоление трагедии, сублимация ее в радость», он — «...один из самых солнечных поэтов мира». Здесь Винокуров с Густафсоном совпадают. Винокуров также говорит и о фетовских стихах-монологах, о замкнутости его поэтического мира, но менее отчетливо, чем Густафсон.

Отзывы о Фете в «Дне Поззии, 1966» — наивные: В. Ланина только восторженно комментирует очерк Винокурова, а Николай Рыленков заявляет — пусть реакционер Фет — «несимпатичный нам человек», но все же «по музыкальности, по богатству и разнообразию красок Фет имеет мало соперников в мировой поэзии».

В мире Фета часто сияет солнце и, при этом, именно весной, но Густафсон и Винокуров как-то не замечают, что некоторые солнечно-весенние стихи его могут восхищать преимущественно гимназистов или учеников десятилетки, как, напр., знаменитое — Я пришел к тебе с приветом, / Рассказать, что солнце встало... Оба они также утверждают, что в фетовских стихах рассыпаны меткие наблюдения, но, добавим и поэтические шаблоны. В стихотворении «Опять весна» поэт заметил дрожание листов — С концов берез и на макушке ивы... но уже в следующей строфе расхолаживает газетный прозаизм: Весна!

Весна! о, как она крепит, / *Как жизненной нас учит силе* (курсив мой).

У Фета не только весеннее солнце, но и ночные звезды, что, конечно, Густафсон и Винокуров знают и пишут об этом, но все же подчеркивают преимущественно солнечно-весенние качества фетовской поэзии. У Фета также — глубокое отчаяние, которое далеко не всегда сублимируется «в драматическую радость», как думает Винокуров. Это отчаяние вызвано совсем не трагической смертью Марии Лазич, а сознанием безвыходности: поэт *задышался* в созданном им замкнутом мире, в красоте и дневной, и ночной. Это хорошо подметил Осип Мандельштам:

И всегда одышкой болен  
Фета жирный карандаш.

Только две строчки, но их можно было бы комментировать в целой монографии!

Густафсон прав, иногда Фет только статически созерцает свой мир. Но в нем не было эстетической самоудовлетворенности Маллармэ; и он не пытался объективно уравнивать свои сомнения и верования, как Т. С. Элиот. Эстетика его пусть и замкнутая, но и взрывчатая. Фета обуревало отчаяние, особенное «динамическое» отчаяние, напр., в этих стихах: Измучен жизнью, коварством надежды... Густафсон высоко расценивает это гениальное стихотворение, подробно его разбирает, но не замечает прерывистого ритма астматических паузников — «одышки» Фета (а Винокуров почему-то не включил его в избранный томик фетовской «Лирики»).

Фет часто, очень часто сладко или даже слащаво воспевал весну и солнце, но и отчаивался, задышался, и, при этом, выигрывал, как художник, напр. в стихотворении «Никогда», где так потрясающе описан апокалиптический зимний пейзаж остывшей и вымершей земли — мертвый лес *торчит* и церковь с ветхой колокольней тоже *торчит* «в безоблачной дали», а воскресший мертвец проклиная весь мир:

А ты, застывший труп земли, лети,  
Неся мой труп по вечному пути!

Сила и даже мощь страстного, воинственного отчаяния Фета, все его неистовое богоборчество, свидетельствуют о тех огромных требованиях, которые предъявляли к жизни, к Богу, к человеку не только он, но такие разные писатели, как Толстой, Достоевский, Тютчев, Случевский, Анненский, Блок (это тот их «максимализм», о котором теперь почему-то не принято говорить).

Однако, я не опору с современными «возрожденными» Фета.

Видно, поэту Евгению Винокурову, действительно, есть дело до фетовской поэзии. А Ричарда Густафсона радует, что Фет, по его мнению самый западный и самый современный поэт из всех русских поэтов и, поэтому, самый понятный, близкий.

Может быть, в академическом труде не следовало бы пренебрегать старой критикой, — так, фетовский импрессионизм, его эллиптичность, невнятность были отмечены еще А. Григорьевым и графом Д. Дистерло, и о них следовало бы упомянуть в английской монографии. Густафсон ссылается на замечательный очерк Эйхенбаума о Фете «Мелодика русск. лирич. стиха», однако как-то не дооценивает его тонких, хотя иногда и спорных, детальных разборов фетовских стихотворений. Но чрезвычайно интересен и его собственный подробный анализ многих стихотворений Фета и он очень удачно использовал современные методы литературоведения (напр. Льюиса Мертца или Эзры Паунда). Он также четко определяет замкнутую фетовскую эстетику и убедительно вскрывает зыбкие нюансы фетовской семантики.

Фет, в русской литературе, умер с Блоком, который, по собственному признанию был многим ему обязан, а теперь он оживает для поэта Винокурова и американский литературовед Густафсон вводит его в западный мир, ставя рядом с Маллармэ и с Т. С. Элиотом; нельзя не приветствовать этого нового, ожившего и очень изменившегося Фета!

*Юрий Иваск*

О. МАНДЕЛЬШТАМ. *Собрание сочинений*. Том II. Под ред. проф. Г. Струве и Б. Филиппова. Вступ. статья Б. Филиппова. Международное Литературное Содружество. Вашингтон. 1966. стр. 632.

Во второй том собрания сочинений Манделъштама редакторы включили ряд статей и очерков, которые не были помещены в их однотомнике 1955 г. (Чеховского изд-ва). Некоторые материалы печатаются впервые. В этом томе, наряду с прозой, опубликованы 18 стихотворений и несколько стихотворных переводов, не вошедших в первый том.

Не все поклонники Манделъштама-поэта высоко расценивают его прозу (напр. Г. Адамович, Ю. Терапиано). Действительно, в поэзии он выразил себя лучше, чем в прозе. Но правы и защитники Манделъштама-прозаика — Ахматова, молодые ленинградские поэты, проф. К. Браун, написавший вступительную статью к английским переводам прозаических очерков Манделъштама.

Из прозы Манделъштама хотелось бы выделить два очерка. Первый из них, «Разговор о Данте», уже был переведен на ан-

глийский и испанский языки, но в оригинале публикуется впервые. Мандельштам пытается освободить Божественную Комедию от скрывающей ее «школьной риторики», от многочисленных философских, исторических, филологических комментариев, писавшихся в продолжении шести с половиной веков. Мандельштамовские «анти-комментарии» обращены к структуре дантовской поэмы. Молодой советский ученый Ю. Фрейдин утверждает, что Мандельштам будто бы использовал в этом очерке лингвистические и литературоведческие идеи Соссюра и русских формалистов (Материалы XXII науч. студенч. конференции, издание Тартусского ун-та, 1967 г.). Но пусть об этом сперва выскажутся специалисты. К тому же, если бы даже Мандельштам и был знаком с методами структуралистов, то все же в «Разговоре о Данте», по-моему, его занимало другое. Некоторые его наблюдения — сомнительны. Так, можно ли всерьез говорить о дадаизме итальянского языка, как это утверждает Мандельштам. Некоторые его замечания напоминают им самим осужденные псевдолингвистические домыслы Андрея Белого. Но существенно не это: мандельштамовский разбор великой поэмы есть комментарий к его собственному творчеству и, может быть, к ненаписанной им новой Божественной Комедии... Отмечу, что о том же мечтал Т. С. Элиот. Мечты эти не осуществились, и не потому только, что великий флорентинец был «крупнее» — могущественнее этих двух поэтов XX-го века. Хотя Бердяев и предсказывал наступление «нового средневековья», все же у современников наших нет готической или ранне-ренессансной цельности, «органичности». «Время для Данте», пишет Мандельштам «есть содержание истории, понимаемой как единый синхронистический акт». Это верно, однако в наше время, едва ли и сверхгений мог бы так вобрать всю эпоху, как это сделал Данте. Но, кто знает, может быть в темных даже затемняющих комментариях Мандельштама есть пророчество о новой Божественной Комедии, которая будет написана! Может быть в искусстве реализуются его причудливые метафоры: «Если бы залы Эрмитажа вдруг сошли с ума, если бы картины всех школ и мастеров вдруг сорвались с гвоздей, вошли друг в друга, смешались и наполнили комнатный воздух футуристическим ревом и неистовым красочным возбуждением, то получилось бы нечто подобное дантовской Комедии». Это уже не псевдо-лингвистика, не поэтическая этимология, а смелое, яркое видение какого-то будущего, и, добавим, более смелое, более яркое, чем у другого — более осторожного, уравновешенного поклонника Данте — Т. С. Элиота.

Многое выясняет в мандельштамовском творчестве фрагмент, может быть даже черновик статьи, «Пушкин и Скрябин» (впервые полностью опубликованный в Вестнике РСХД, в 1964 г.). Здесь Мандельштам подводит итоги своим раздумьям о христианстве. Он

утверждает «свободное и радостное подражание Христу», «радостное богообщение» с Отцом. «Христианские художники — как бы вольноотпущенники идеи искупления, а не рабы и не проповедники. Вся наша двухтысячная культура, благодаря чудесной милости христианства, есть *отпущение мира на свободу* для игры, для духовного веселья...». Многие назовут такое радостное христианство *новым* и оно, может быть и *ново* в XX-м веке, хотя утверждается не одним только Мандельштамом. Ту же радость испытывали в готическую эпоху, — не Данте, а Франциск Ассизский — в жизни и в гимнах, а позднее — Фра Анжелико в живописи. У ангелического брата — на изображениях Голгофы и Ада тоже сияние алой и голубой красок, как и в райских сценах и, поэтому он никогда не ужасает, как Данте! Дано было ему тайное блаженное знание о том, что любовь Божия сильнее гнева Божиего, и оттого его ад походит на рай. Что-то знал об этом и старший брат Анжелико — Андрей Рублев. А свою блаженную радость о Христе Мандельштам полностью выразил не в этой статье, а в стихотворении «Вот дароносица...»:

И Евхаристия, как вечный полдень длится,  
 Все причащаются, играют и поют,  
 И на виду у всех божественный сосуд  
 Неисчерпаемым веселием струится.

Значительны и другие прозаические произведения, включенные во второй том, напр. впервые опубликованная «Четвертая Проза» (1930-31 гг.). Сколько горечи в этом признании затравленного поэта: «Я один в России работаю с голосу, а вокруг густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель! Пошли вон, дураки!». Очень интересен очерк «Буря и натиск», опубликованный в 1923 г., но забытый. Это — творческая характеристика всей русской поэзии XX-го века. Читая эту статью (да и многие другие), нужно отказаться от многих привычных нам штампов. Так, выражения «эклектик» или «вульгаризатор» считаются словами бранными! Между тем, Мандельштам говорит о сложном эклектизме Блока и о вульгаризации приемов Анненского в поэзии Ахматовой, не ставя знака минуса перед этими терминами! А Хлебников для него «идиотический Эйнштейн» — и это у него — похвала.

Споры об акмеизме и футуризме отошли в прошлое. Все же можно сказать, что Мандельштам остался верен своим юношеским архитектурным замыслам и сохранил «жизнеутверждающий инстинкт» акмеистов; но отказался от их консервативной стилистики; отказался и от «прекрасной ясности» и все более прислушивался к футуристическому вою, к «невнятице» Хлебникова... Но дело, конечно, не в одних только литературных приемах. *Темней* для читателей, Мандельштам, и в волшебной своей поэзии, и в неуклюжей

прозе, *выяснял* новые огромные темы — беседовал с мрачным Данте, утверждал радостное христианство в духе Фра Анжелико.

*Юрий Иваск*

НИКОЛАЙ МОРШЕН. *Двоеточие*. Вашингтон. Изд. Русск. книжн. дела в США, Victor Kamkin, Inc., 1967.

Свой первый сборник стихов, «Тюлень», Николай Моршен выпустил десять лет назад. Заглавие не очень поэтичное, при выходе книги кое-кого покоробившее, было выбрано удачно. Образ настороженного тюленя, проснувшего голову сквозь отдушину в полярных льдах, служил поэту метафорой существования самостоятельно мыслящего и чувствующего человека в атмосфере духовного гнета в тоталитарном государстве (в данном случае, в Советском Союзе). Политическая тема в сборнике «Тюлень» была, несмотря на ряд удачных чисто-лирических стихотворений, основной и в трактовке этой темы в таких стихотворениях, как «На Первомайской жду трамвая...» или «Как круги по воде...» Моршену удалось достичь большой впечатляющей силы и оригинальности. После выхода «Тюленя» стало очевидно, что Моршен — один из значительных поэтов русского зарубежья. Поэт мог бы удовольствоваться достигнутым и продолжать вариировать найденные и разработанные темы. Однако, стихи Моршена, печатавшиеся за последние несколько лет (гл. образом в «Новом Журнале») указывали на сдвиги в творчестве поэта. Его новый сборник, «Двоеточие», разъясняет эти сдвиги и подводит некий итог пройденному.

Если в «Тюлене» основным образом, доминантной было испуганное, озирающееся ластоногое животное, центральным лейтмотивом сборника «Двоеточие» является, мне кажется, растение, уверенно произрастающее наперекор всему и в самых неподходящих условиях. За тюленем первого сборника крылся индивидуалист-одиночка, читающий тайком Гумилева и Тютчева, не умеющий войти в коллектив и мечтающий о духовной свободе. Образ произрастающей былинки в «Двоеточии» — шире и ёмче: это символ духовного и политического освобождения человека, творческой свободы художника:

В мире тусклых надежд и бездомных собак  
По утрам расцветают цветы.  
И встает Будапешт. И ведет Пастернак  
Разговоры с бессмертьем на ты.

Возникают живые как ртуть полыньи.  
Собираются в строчки слова.  
Загораются солнца. Гремят соловьи.  
И асфальт разрывает трава.

Тема природы, переплетающаяся с темой художественного творчества: сколько, казалось бы, об этом уже хорошо и убедительно писали в русской поэзии 20-го века. Но вот Моршен находит для этого тематического узла совсем свое, глубокое решение, привлекая образы и сравнения из областей, русской поэзией до сих пор не затронутых: биологических наук (палеонтологии, геологии, ботаники), физики, кибернетики и, кажется даже, теории вероятности. Причем выходит это у него не умозрительно или чрезмерно рассудочно, а страстно, увлекательно и в очень хорошем смысле — литературно.

Читая сборник «Двоеочие» испытываешь чувство, что стены русской поэзии раздвинулись. Моршен, как поэт, очень хорошо знает, что такое отчаяние (взять хотя бы конец его изящного стихотворения «Балерине»), но он также знает и умеет выразить что такое восторг. Поэзия Моршена часто пропитана философией одного из значительнейших мыслителей нашей эпохи — Пьера Тейяра де Шардена. С этим биологом-философом связана величественная картина эволюции человечества не только в прошлом, но и в будущем в совершенно необычном для русской поэзии по теме и ее трактовке стихотворении «Клубились ночи у реки...»; по-тейяровски звучат и такие строки как:

Летит, кружит, поет Земля,  
Окутанная дымкой слова.

Как Тютчеву философская мысль Шеллинга открывала «небесный свод, горящий славой звездной», так современная научная мысль открывает Моршену и его читателям новые перспективы на мир 20-го века,

«мой мир, где рядом Планк и Блок».

Но, при всем этом, Моршен поэт лирический скорее чем философский. Давая читателю очень свое постижение триады: мир, человек, искусство и раскрывая целый ряд их взаимосвязей (а в чем если не в этом одна из основных задач поэзии?), Моршен делает это средствами поэзии лирической. Кроме философии Тейяра де Шардена в стихах «Двоеочия» плодотворно отразилось изучение поэзии (и значение личной судьбы) двух выдающихся русских поэтов 20-го века — Бориса Пастернака и Осипа Мандельштама. Есть в книге и какое-то отражение идей пантеизма, единства с природой в поздней лирике замечательного поэта Николая Заболоцкого. Можно, наконец, усмотреть в «Двоеочии» и несколько неожиданную для Моршена перекличку с Владиславом Ходасевичем: стихотворение «Балерине» кое в чем родственно «Жизели» Ходасевича, а «свихнувшийся автомобиль» в одном из наиболее трагически-окрашенных стихотворений сборника («...И развевался в отдаленьи») аналогичен «взбесившемуся автомобилю» из сходного по содержанию второго стихотворения цикла «Из окна» Ходасевича.

Приятно радуется в сборнике доверие поэта к слову и его возможностям: то есть к основному творческому материалу искусства поэзии. «Метапоэзии», поэзии о поэзии и языке посвящены некоторые самые удавшиеся вещи сборника: «У словарей», «К русской речи», «Открытие стиха». Такое доверие к слову, к поэзии, очень уместно в сборнике, в котором одной из основных тем является творчество и творческое постижение мира.

Может быть прозвучат вызовом традициям эмигрантской поэзии этот отточенный блеск, эта техническая виртуозность многих стихотворений Моршена. Доверие к литературной культуре чувствуется и в сложной системе цитат и реминисценций (отчасти восходящей к поздней лирике Георгия Иванова), которую Моршен пользуется в ряде стихотворений сборника. Тут и умное обыгрывание пословиц и поговорок («Моей горе»), перефразирование известных цитат («кролики с глазами пьяницы», «то неврастеник, то герой» и т. д.) и, наконец, умелое и уместное вкрапливание прямых цитат из русских поэтов данных в неожиданном контексте. Вершина такой «цитатной» поэзии Моршена — это ошеломляющий по изобретательности монтаж из строчек Хомякова, А. К. Толстого, Пушкина, Блока и пр., который складывается в самостоятельную зарифмованную песенку, распеваемую травами и кустарниками дикой американской природы в стихотворении «Я свободен как бродяга...»

Сборник «Двоеточие» — большая творческая удача поэта Николая Моршена и, я думаю, событие в русской поэзии. Органически вобрав в себя политические и лирические темы *Тюленя*, поэзия Моршена в новом сборнике расширила и углубила свой диапазон и в лучших вещах сборника достигла поражающей зрелости, гармоничности и философской глубины. Будет грустно, если часть зарубежной русской критики, загипнотизированная «всемирным признанием» Вознесенского и Евтушенко, не заметит какой значительный и глубокий поэт вырос и созрел в эмиграции в лице Николая Моршена.

Семен Карлинский

---

## ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Многоуважаемый г-н Гуль!

Большое Вам спасибо за ваш чудесный «Новый Журнал», который я получил от одного нового знакомого, эмигранта. Я приехал в Европу, как турист, из СССР, уезжаю обратно и увожу эти журналы № 85, 86, 87 домой. Хотя я и член партии, но ваш журнал произвел на меня ошеломляющее впечатление. Я поражен тем, что в эмиграции есть такие силы, которые нам близки по духу. Вам, конечно, странно, член партии и *близость* духа? Но поверьте, что это

так. Партия это лишь *мертвый* символ, для нас молодых. Мы тоже люди и *добро* для нас ближе, чем позолоченый труп. Очень жалею, что остаюсь анонимом — вы должны мне простить и понять.

*Читатель из СССР*

#### ПИСЬМО ПРОФ. Г. К. ГИНСА

Глубокоуважаемый Роман Борисович,

В кн. 85 «Нового Журнала» (стр. 179 и 183) в статье И. Ильина «На службе у японцев» упомянута моя фамилия. Но то, что И. Ильин написал обо мне не соответствует действительности. Он пишет: «Гинс делал все возможное, чтоб сблизиться с японцами для получения визы в Америку». Разве японцы были уполномочены выдавать визы в Америку? Он пишет далее, что Гинс писал «большие статьи в японском журнале «Луч Азии» о росте японской экономики, о могуществе Японии, о ее прогрессе во всех областях жизни».

Я очень бы хотел увидеть «Луч Азии». В таком журнале я никогда не сотрудничал. Статья «Индустриальная Япония» была написана мною в 1925 г. после поездки в Японию с экскурсией членов Харбинского Городского Самоуправления. В статье описывалась промышленная выставка и впечатление, которое она на меня произвела. Напечатана эта статья была в «Вестнике Маньчжурии», издании Кит. Вост. ж. д.

В последние годы перед отъездом в США, т. е. через 16 лет после упомянутой статьи, я написал две статьи о Японии в газете «Заря» в Харбине. Обе эти статьи: «Психология японской нации» и «Германия Востока» вошли в книгу «Quo Vadis Europa», изданную в Харбине в 1941 г. Других статей о Японии я не писал. Ильин, очевидно, что-то спутал, ничего похожего на то, что он мне приписывает, мои статьи не содержат.

Он сообщает далее: «Тем временем наступила осень. Гинс старался уверить Ниимура, что... обязательно вернется в Харбин. Ниимура поверил и содействовал тому, что Гинсов выпустили».

Если Ниимура действительно передавал Ильину о моих «заверениях», то должен сказать, что никаких «заверений» не было. Решение выехать в США я принял в марте 1941 г. В мае у меня уже была виза. В июне я заказал билеты на пароход и, получив разрешение на выезд от полиции (такова была процедура), обратился в японское консульство за визой для выхода на берег в Японию, где должна была состояться пересадка на океанский пароход. За пять дней до выезда мне сообщили в консульстве, что виза эта не может быть выдана, но не объяснили причин. Я пошел к майору Ниимура

(м.б. он был уже подполковник, как пишет Ильин) и сообщил ему о возникших затруднениях. Он сейчас же соединился с консульством и долго говорил и попросил меня придти через день. Когда я пришел, он сообщил, что все улажено и я могу получить визу в консульстве. После того как я ее получил, мне предложили посетить самого консула. От него я узнал, что причиной задержки был донос, что я везу с собой рукопись с описанием Маньчжудуго. Я объяснил, что тот, кто сделал сообщение о рукописи, не указал, что это рукопись книги «Предприниматель», вышедшей в Харбине на русском языке, и переведенной на английский, за счет соавтора книги Л. Г. Цыкмана, который и дал мне одну копию перевода.

*С почтением Г. Гинс*

#### ОТВЕТ И. С. ИЛЬИНА

Глубокоуважаемый г-н редактор,

Проф. Гинс говорит, что он не писал в журнале «Луч Азии», а писал в других изданиях. Возможно, что я ошибся, но это не меняет дела, т.к. статьи проф. Гинса имели целью показать могущество Японии и ее значение, как мировой державы, — только в этом смысле я и писал.

Относительно визы в США. Разумеется, что визу в США выдавало консульство США, но выехать из Харбина и Маньчжурии вообще, можно было только с разрешения японских властей и военной миссии, в частности, и подполк. Ниимура.

О том, что проф. Гинс обещал вернуться, мне передал подп. Ниимура, который провожал проф. Гинса. Японцы вряд ли бы выпустили проф. Гинса, когда война с США фактически была уже предрешена.

За свою ошибку относительно «Луча Азии» приношу извинения.

*Уважающий Вас И. С. Ильин*

#### О ВРЕМЕНИ НАПИСАНИЯ «ГОНДЛЫ»

Многоуважаемый г-н Редактор!

В 87 кн. «Нового Журнала» напечатана рецензия В. К. Завалишина на 3-й том собрания сочинений Н. С. Гумилева. Автор рецензии, «отдавая должное» проделанной мною, как редактором и комментатором тома, «кропотливой работе... по подготовке текстов», делает и ряд критических замечаний. Это его полное право, и я не

собираюсь вступать в спор по поводу большинства замечаний. Но в одном случае я считаю нужным отозваться, в интересах читателей «Нового Журнала» и всех тех, кто интересуется творчеством Гумилева, а также чтобы ответить на поставленный г-ном Завалишиным вопрос.

Отметив на основании моего указания, что «драматическая поэма» Гумилева «Гондла» была впервые напечатана в 1-й (то есть, *январской*) книге «Русской Мысли» за 1917 г. г-н Завалишин дальше пишет: «Но почему Г. Струве не попытался уточнить, когда же Гумилев работал над 'Гондлой' и есть ли разрыв между временем написания этой поэмы и временем ее публикации? Дело в том, что в 'Гондле' у Гумилева вырывается признание, что крушение наследственной монархии — роковая и неизбежная закономерность истории. Но это признание вырывается с горечью, и в этом крушении Гумилев видит источник тягчайших бедствий». После нескольких цитат, призванных иллюстрировать это положение, автор рецензии говорит: «Вопрос о том, написана ли эта поэма до февральской революции или уже во время революции, *остается невыясненным* (подчеркнуто мною Г. С.). А ведь это, казалось бы, — обязанность комментатора. Если эта поэма написана до февральской революции, то она выявляет в Гумилеве поэта-провидца».

Было бы вполне законно, если бы г-н Завалишин, придавая значение именно этому мотиву в «Гондле» и видя в нем «провидение», упрекнул составителей тома в том, что они это проглядели, но и в таком случае упрек его должен был бы относиться к автору вступительной статьи, проф. В. М. Сечкареву, давшему анализ и характеристику всех вошедших в третий том произведений. Я же должен заверить г-на Завалишина, что у меня, как редактора и комментатора тома, даже и не возникало вопроса о том, был ли «Гондла» написан до или после февральской революции. Даже если январская книга «Русской Мысли» вышла с некоторым запозданием (что весьма возможно), она все же вышла до февральско-мартовских событий 1917 года, на которые в ней не было никакого политического отклика. Первый такой отклик появился во второй, февральской, книге журнала в форме статьи редактора, П. Б. Струве, под названием «Освобожденная Россия», написанной в последнюю минуту и напечатанной перед беллетристическим отделом, вне обычной пагинации. Январская книга журнала составлялась и пошла в набор задолго до января 1917 года. Могу добавить к этому, что я еще в 1916 году читал в рукописи и главы «Возмездия» Блока, и «Гондлу» Гумилева.

Говорить о том, что вопрос о том, был ли «Гондла» написан до или после февральской революции, «остается невыясненным», у г-на Завалишина не было решительно никаких оснований. Самое

большее, в чем он мог упрекнуть меня, это в том, что я, как редактор, не поставил под «Гондлой» даты «1916» в квадратных скобках. Но я этого не сделал именно потому, что вопрос о том, написан ли «Гондла» в 1916 году *или раньше*, остается невыясненным и не может быть выяснен без доступа к архиву Гумилева, которого ни у меня, ни у г-на Завалишина нет.

*С совершенным уважением Глеб Струве*

#### ОТВЕТ В. К. ЗАВАЛИШИНА

Многоуважаемый редактор! Очень хорошо, что проф. Г. Струве разъяснил в своем письме, что № 1 «Русской Мысли» — январский. Известно, что в начале 1917 г. многие периодические издания в России выходили с опозданием. Было бы, разумеется, лучше, если бы автор еще в книге указал не только № 1 журнала, но и время его выхода в свет.

Уважающий Вас Вяч. Завалишин.

#### ИСПРАВЛЕНИЯ

В кн. 87 «Н. Ж.», в статье Р. Б. Гуля «Двадцать пять лет», надо исправить опечатку на стр. 20-й, 16-я и 18-я строки снизу: надо читать Панферов, а не Парфенов. Дело идет об авторе известного советского романа «Бруски» Федоре Панферове. Кроме того, постоянный подписчик «Н. Ж.» просит нас исправить ошибку в кн. 55 в статье М. Корякова, на стр. 132, 8-я строка снизу, автор, говоря об известном советском пианисте Рихтере, ошибочно называет его «Станислав», нужно, конечно, — Святослав. РЕД.

#### КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- М. БУЛГАКОВ. *Мастер и Маргарита*. Роман. УМСА-Пресс. Париж. 1967 (219 стр.).
- Н. МОРШЕН. *Двоеточие*. Стихи. Изд. русск. кн. дела в США, В. Камкина. Вашингтон. 1967 (68 стр.).
- Э. РАЙС. *Под глухими небесами*. Из дневников 1938-41 г.г. Межд. литер. содружество. Вашингтон. 1967 (113 стр.).
- Е. ЗАМЯТИН. *Мы*. Роман. Вступ. статья Е. Жиглевич. Послесловие В. Бондаренко. Междун. литер. содружество. Вашингтон. 1967 (223 стр.).

- Ю. КРОТКОВ. *Письмо мистеру Смигу. Как и почему я написал пьесу «Джон — солдат мира»*. Изд. «Нового Журнала». Нью Йорк. 1967 (стр. 46).
- ЮРИЙ ИВАСК. *Хвала*. Стихи. Изд. русск. кн. дела в США, В. Камкина. Вашингтон. (61 стр.).
- ГЕОГРИЙ АДАМОВИЧ. *Комментарии*. Изд. русск. кн. дела в США, В. Камкина. Вашингтон. 1967 (208 стр.).
- ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ. *Единство*. Стихи разных лет. Изд. «Русская книга». Нью Йорк. 1967 (52 стр.).
- ИВАН ЕЛАГИН. *Косой полет*. Стихи. Изд. «Нового Журнала». Нью Йорк. 1967 (128 стр.).
- Б. ДОМОГАЦКИЙ. *Память сердца*. Сидней. 1967 (119 стр.).
- ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ. *О духовном в искусстве*. Предисл. Н. Кандинской. Межд. литер. содружество. Вашингтон. 1967 (160 стр.).
- СЕРГЕЙ ШАРШУН. *Акафист Долголикову*. Изд-во «Вопрос». Париж. 1967 (87 стр.).
- ОЛЬГА ИОРК. *Река времен*. Роман в 4-х частях. Нью Йорк. 1967 (330 стр.).
- ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ. *Альманах V*. Редактор-издатель Р. Гринберг. Нью Йорк. 1967 (313 стр.).
- Б. ФИЛИППОВ. *Тусклое оконце*. Изд. «Русская книга». Нью Йорк. 1967.
- В. ГАЛИН. *Ближе к родине*. Лос Анжелес. 1967.
- О. МАСЛЕЙ. *Сами по себе*. Нью Йорк. 1967.
- КРИШНАМУРТИ. *Беседы в Саанене*. Париж. 1967.
- ОЛЕКСА ГРИЩЕНКО. *Роки Бурі і Натиску*. Изд. «Слово». Нью Йорк. 1967.
- ЮРИЙ ТЫНЯНОВ. *Архаисты и новаторы*. Nachdruck der Leningrader Ausgabe. Mit einer Vorbemerkung von D. Tschizevskij. W. Fink Verlag. München, 1967 (595 S.).
- АНДРЕЙ БЕЛЫЙ. *Петербург*. Nachdruck der Moskauer Ausgabe von 1928. Mit einer Einleitung von D. Tschizevskij. W. Fink Verlag. München. 1967 (269 S.).
- АНДРЕЙ БЕЛЫЙ. *Серебряный голубь*. Nachdruck der Berliner Ausgabe von 1922. Mit einer Einleitung von Anton Hönig. W. Fink Verlag. München. 1967 (246 S.).
- YURY KROTKOV. *The Angry Exile. A view of the Russian Miracle*. Heineman. London. 1967 (213 p.).
- ANDREI VOZNESENSKY. *“Antiworlds” and “The Fifth Ace”*. A Bilingual Edition. Edited by Patricia Blake and Max Hayward. With a Foreword by W. H. Auden. Doubleday. New York. 1967 (296 p.).

Окончание «Писем Ан-ского» будет помещено в кн. 89. РЕД.

---

# “Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л”

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1967 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 2 долл. 50 цент.

Во Франции — 8 франков.



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway

New York, N. Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме  
праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.

---